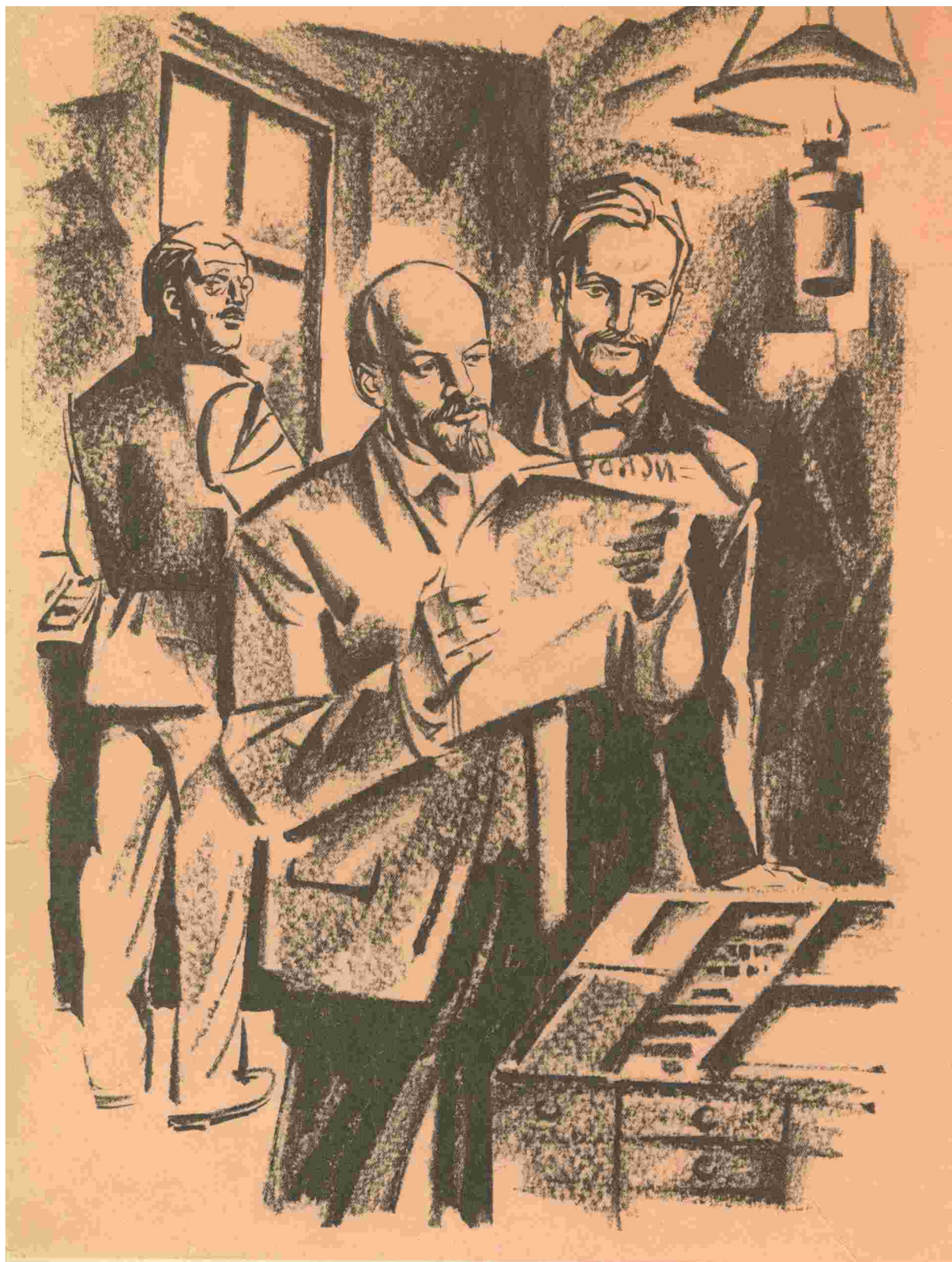




ЮНОСТЬ

3

1970



«День этот...— вежа, рубеж, некая точка отсчета... Стоя рядом с Ульяновым, Бауман вместе с ним проглядывал полосы...» (Глава 14).

Рисунок М. Лисогорского к публикуемой в этом номере повести В. Долгого «Точка отсчета».

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



3

[178]

МАРТ

1970

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА

- В. ДОЛГИЙ. Точка отсчета. Повесть . . . 5
Борис ВАСИЛЕВСКИЙ. Рассказы. 1. На дежурстве. 2. За мальчиком . . . 39
Кирилл КОВАЛЬДЖИ. Лиманские истории. Роман . . . 42

● ПОЭЗИЯ

- Назым ХИКМЕТ (Турция). Лэнгстон ХЬЮЗ (США). То ХЫУ (Вьетнам). Витезслав НЕЗВАЛ (Чехословакия). Антал ГИДАШ (Венгрия). Владислав БРОНЕВСКИЙ (Польша). Бертольт БРЕХТ (Германия). «Нет дороге для нас человека...». (Стихи о Ленине) . . . 2
Аркадий РЫВЛИН. Поэма о расстрелянной пластинке . . . 37
Леонид МАРТЫНОВ. Ночь на шхуне. Звонок из юности. Творчество. «Ко мне привязывались пьяные...». Великодержавность. Пегас. Сон. Старый бес. Неполыри. Прорицатель. Насильно мил не будешь. Небесный рокот. Закат . . . 71
Леонид ЗАВАЛЬНЮК. «Стройная береза на пути...». «Пленяет сердце ветер первых встреч...». «Веселой пляскою с притопом...». «С какой-то странною тоской...». «Вкушает бабка красоту природы...». «Портальный кран...». «Звереныш детства моего...». «Стучит судьбы соседней метроном...» . . . 73
Леонид ТЕРЕХИН. «Ищу могилу своего отца...» . . . 74

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Лев ГУРВИЧ. У Кремлевской стены . . . 75
Александр ЕГОРОВ. Цветы живые . . . 84
Сергей МУРАТОВ, Георгий ФЕРЕ. Разговор у ночного костра . . . 90

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

- А. ГУБЕР. Рафаэль. К 450-й годовщине со дня смерти художника . . . 80

● ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

- В. НОТКИН. Сердцем и именем . . . 97
Д. КРАМИНОВ. Истоки насилия . . . 98
Е. СИДОРОВ. Спешите творить добро . . . 99

● ДЕБЮТЫ

- Владимир СПИВАКОВ: «Лирическая исповедь души...» . . . 100

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- * Когда Ленин жил в Париже (Новые страницы Ленинианы) . . . 70
* Юрий ЧЕРНОВ. «Твои заветы исполним». * Генриетта АЛОВА. Тайны Меншиковского дворца . . . 102

● СПОРТ

- Анзор КАВАЗАШВИЛИ. Год из жизни вратаря . . . 104

● ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

- Юрий ЛЕОНОВ. Две юморески . . . 109
С. КОМИССАРЕНКО. На грани фантастики . . . 111
Канов вопрос — таков ответ . . . 111

На 1-й — 4-й страницах обложки рисунок Л. КАРТАШЕВА.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор Ю. А. Цишевский.

Технический редактор Л. К. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47.

Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 5/1—1970 г. А 01018. Подп. к печати 18/II—1970 г. Формат бумаги 84×108^{1/16}.
Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 1 730 000 экз. Изд. № 619. Заказ № 54.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

«НЕТ ДОРОЖЕ

Назым Хикмет

(Турция)



Коммунист!

Хочу сказать тебе два слова:
будь ты секретарь ЦК или рядовой,
будь у власти или в тюрьме закован,
нужно, чтобы Ленин, как живой,
смог войти в твой труд, в твою семью,
в жизнь твою войти,
как в жизнь свою.

Перевела М. ПАВЛОВА.

Лэнгстон Хьюз

(США)

Баллада о Ленине

Мой русский товарищ Ленин,
Ты в мраморном гробу.
Дай вместо тебя я лягу,
А ты продолжай борьбу.

Я — Иван, крестьянин,
В глине мои сапоги.
Как мне бороться дальше?
Встань, растолкуй, помоги!

Мой русский товарищ Ленин,
Ты, как живой, в гробу.
Дай вместо тебя я лягу,
А ты нас веди на борьбу.

Я — Чико, я в Африке знойной
Сахарный режу тростник.
Ты бросил луч надежды
На черный наш материк.

Мой русский товарищ Ленин,
Не место тебе в гробу.
Дай вместо тебя я лягу,
Ты встань и зови на борьбу.

Я — Чжан, шанхайский кули,
Бастую много дней.

Для дела революции
И жизни не жаль своей.

Мой русский товарищ Ленин,
Я заповедь слышу твою:
«С рабочими я навеки,
И наше место — в строю».

Перевел В. ВАСИЛЬЕВ.

То Хыу

(Вьетнам)

С Лениным

Каплей крови, что в жарком потоке звенит,
Льется к сердцу, кипит и алея,
Я, с людской рекой омывая гранит,
Тихо вышел к стене Мавзолея...
— Здравствуй, Ленин! — И он улыбается
нам.

Вечно жив он в стране краснофлагов.
— Здравствуй, Ленин! Тебе победивший
Вьетнам

Присягает сыновьей присягой.
Ты и солнце и совесть для нашей страны,
Нет дорожке для нас человека.
И ясны тебе наши пути и видны
Очертания грядущего века.
Он молчит... И морщинки легли на лице —
Весь он полон заботой земною:
Указать всем народам их ясную цель
И навеки покончить с войною...
Чтобы люди различных и наций и рас
Жили вечно счастливой семьею,
Чтобы мир был един и прекрасен для нас,
Словно солнце над вешней землею.



Ленин... Сколько на свете твоих соколят,
И тебе не окинуть их оком!
Им невзгоды и беды сердца опалят,
Закалят их в полете высоком.

Над народами нет ни богов, ни святых,
Люди — сами творцы изобилия.
Только партия делает сильными их,
Для полета давая им крылья.

Ленин... Мне не забыть этот день голубой,
Свет знамен, шелест ласковых ветров.
У Кремля человек, стоя рядом с тобой,
Вырастает на тысячу метров.

Перевел С. ГУСЕВ.

ДЛЯ НАС ЧЕЛОВЕКА...»

Витезслав Незвал

(Чехословакия)

**Памяти
Владимира Ильича
Ленина**

Мы были очевидцами великой
эпохи вымирания династий,
когда шуршали ночи у подножья
имперского глухого саркофага.

Война дарила нам букеты взрывов
и магию прожекторных лучей,
когда обманчивая синева
над нами, синеглазыми, висела.
И, кесарево кесарю воздав,
мы гибли на неведомых голгофах,
мы обвивались вокруг своих распятий,
как гроздь винограда вокруг подпорок.
Тогда-то и решились мы зажечь
шрапнельный фейерверк в алмазных

фондах

и яростно прервали череду
миропомазаний и коронаций.
Тогда среди аллей для моциона
заполыхали флаги баррикад,
тогда вознесся новый Дионис
над жестким пурпуром московских

кровель.

Мы были очевидцами паденья
династии сановных вырожденцев:
под ними, как в последний день Помпеи,
разверзлась огнедышащая бездна.
Нам эти годы памятны, как ясность
неотвратимых войн и революций,
как прояснение самых темных строф
в нагроможденьях лирики вселенской.
Читайте правду ленинских декретов,
И восхищайтесь Лениным.

И скорбно

оплакивайте день его кончины
в извечной смене календарных дат!
Поднимутся обугленные травы,
и города наполнятся народом,
и загудят ликующим органом
стволы грядущих летоисчислений.
Мы были Революцией полны,
что вторгнется и в наших внуков лепет:
пусть к ним домчится

сквозь престолов трепет
дыханье нашей радиоволны.

Перевел А. ГОЛЕМБА.

Антал Гидаш

(Венгрия)

Ленин

Почему у ночей такое очарованье
и к чему так прекрасен
в тумане затерянный лунный свет,
если люди друг друга опять убивать
замышляют,
чтоб последней надежды утратился след!

Шел, иду, страдаю. Ищу дороги.
Люди, поймите меня! Неужели совсем
в никуда
указали дорогу нам целого века страданья,
неужели остыли сердца и погасли глаза
навсегда!
Нет, нет, нет! Быть не может. От Гренады
и до Гренады
вкруг земли, обращенной
в один бесконечный погост,
миллионы упрямец*лежат. И над этой
землею дрожащей
потрясающий Ленин встает во весь рост.

Перевел Л. МАРТЫНОВ.

Владислав Броневский

(Польша)

**Поклон
Октябрьской
революции**

Кланяюсь русской Революции
шапкой до земли, по-польски,
делу всенародному,
советскому, могучему,
пролетариям, крестьянам, войску!

Только шляпа в поклоне не вельможная:
над околышком нет перышка цапли!
Это ссыльная, польская, острожная
шлссельбуржца Варынского шапка.

В холопах мы жить не охочи,
к царям не ходили с поклоном.
И с плеткою царской покончено!
Подняться время пришло нам.

Кланяюсь праху Рылеева,
кланяюсь праху Желябова,
кланяюсь праху павших
борцов за народное счастье.

Мавзолей Ленина прост, как мысль.
Мысль Ленина проста, как деяние.
Деяние Ленина просто и велико,
как Революция.
Кланяюсь могилам Сталинграда
и могилам до Берлина от Москвы.

После лет осколочного града
в завтра мы по ним мостим мосты.
А на русской и на польской почве,
кровью политой и так любимой нами,—
жизнь в цвету: уже раскрылись почки
у могил с родными именами.

Перевел С. КИРСАНОВ.

Бертольт Брехт

(Германия)

Ковровщики Куян-Булака чтут Ленина

I

Многokrатно и многообразно чтут
Память товарища Ленина. Бюсты ставят
и статуи,
Города называют его именем и детей,
На всех языках произносят речи.
Собрания бывают и демонстрации
От Шанхая до Чикаго в честь Ленина.
Но вот как почтили его
Ткачи ковров в Куян-Булаке,
Бедном местечке на юге Туркестана.

II

Двадцать ткачей встают вечерами
Из-за столов убогих, дрожа в лихорадке.
Их ест малярия: ближайший полустанок
Полон зуденьем комаров. Их тучи
Летят от болота за старым верблюжьим
кладбищем.

III

Но поезд, который раз в две недели
Воду привозит и дым,
Привозит однажды известие, что
День памяти товарища Ленина близок.
И постановляют куян-булакцы,

Ткачи ковров, люди простые,
Товарищу Ленину и в своей деревушке
Водрузить гипсовый бюст.

IV

Приходит день сбора на бюст,
И вот стоят они,
Сотрясаемые малярией, и пляшут их руки,
Внося добытый упорной работою грош.
А красноармеец Ахмед Гамалеев
Считает старательно, смотрит пристально.
Он видит готовность почтить Ленина
и радуется,
Но также не может он глаз оторвать
от дрожащих рук.

V

Неожиданно он вносит предложение —
На деньги для бюста купить нефти
И вылить на болото за верблюжьим
кладбищем,
Откуда летят комары,
Порождающие лихорадку,
Чтобы тем самым убить малярию
в Куян-Булаке
В память умершего,
Но никогда не забываемого
Товарища Ленина.

VI

Постановлено. В день торжества
пронесли они
Свои помятые ведра, полные черною
нефтью,
Идя гуськом один за другим,
И полили болото нефтью.

VII

Так себе помогли они, Ленина почтив,
И его почтили, помоги себе, а значит,
Поняли его заветы.

VIII

Итак, мы узнали, как люди из Куян-Булака
Почтили Ленина. Вечером же,
Когда купленная нефть вылита была
на болото,
Встал человек на собрание и предложил
Прибить на полустанке доску,
Чтоб точная запись об этом событии
Излагала измененный план и замену
Ленинского бюста тонной нефти,
убивающей малярию,
И что все это — в честь Ленина.
Они это сделали также
И водрузили доску.

Перевел С. ТРЕТЬЯКОВ.



В. Долгий



ТОЧКА ОТСЧЕТА

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. Лисогорского.

1

Для своей должности был он все-таки чересчур молод, Пирамидов — начальник Петербургского охранного отделения, отдельного корпуса жандармов полковник. И то ли от этого несоответствия, то ли оттого, что был он слишком уж красив, а скорей всего оттого, что был на нем новехонький, без единой морщинки или складочки мундир, казался он Бауману каким-то невсамделишным: ни дать ни взять ряженый на святках или, лучше, актеришка из захудалой провинциальной труппы. Подумав об этом, Бауман отметил, что и фамилия у полковника дичайшая — Пирамидов, откуда такая у православного, не иначе и впрямь для сцены фамилия, так что были, были, выходит, в роду у «дражайшего» полковника актеры!

Бауман сидел на табурете, на который ему дозволено было сесть после того, как табурет был тщательнейшим образом Пирамидовым самолично, обследован и никаких тайников или иных каверз обнаружено в нем не было. Правда, дозволение это больше походило на приказание — именно сесть (а не стоять, следовательно, и не ходить), именно на этот табурет и именно в этом месте, ближе к стене, так, чтоб весь был на виду и в то же время не мешался чтоб под ногами. В комнатенке, и без того тесной, теперь и вовсе не повернуться было: помимо полковника и трех жандармов, производивших обыск,

были тут еще дворник и его жена, приглашенные в качестве понятых.

Хозяйку, у которой квартировал Бауман, почему-то не позвали, но это и хорошо, подумал он, каково-то ей, милойшей Марии Викентьевне, было б смотреть, как взламывают подоконник, как отдирают пристенные плинтусы, а заодно показавшиеся подозрительными срединные доски пола, как вспарывают (по шву, правда) диванную обивку, выискивая что-то в звонких, туго натянутых пружинах.

Обыск шел уже что-то около трех часов. Бауману даже самому странно было, что в такой комнатенке оказалось столько вещей: о существовании многих он забыл или даже не подозревал; меж тем любая из них, будь то ланцет, предназначенный им для очинки карандашей, или безобиднейшая, с видом на море, хозяйкина картинка на стене, любая вещь была жандармами простукана, общупана, обнюхана.

Сам Пирамидов только вот табуретом почему-то не побрезговал, прежде чем усадить на него Баумана, а так ни к чему больше не прикасался. Да и то ведь сказать: вряд ли гоже, чтобы сам начальник отделения копался во всякой рухляди, этим нижние чины пусть занимаются, а с него, с полковника, и того хватит, что отдает им приказания, чем и в каком череду заняться сейчас, да контролирует их действия, ничего не упуская из виду. Если же к этому добавить, что одновременно он успевал нет-нет да взглядывать на обыскиваемого, не выдаст ли тот себя чем, то, верно, у самого господ бога не было бы оснований для упрека. И надо еще отдать Пира-

мидову должно: вскидывал он на Баумана свои черные с поволокой глаза всякий раз неожиданно, как бы невзначай, будто и правда просто так, по совершенной случайности, натолкнулся на него взглядом... и лишь пронзительность этого взгляда, а еще более, пожалуй, излишняя беглость его выдавали полковника.

Взирая на похвальную эту бдительность, Бауман усмехался в душе: ну что ж, глядите, господин полковник, хоть так, хоть этак глядите, бога ради, все равно я ничем не выдам себя; не потому даже, что так уж владею собой, просто я наперед знаю, что ничего путного вам не найти здесь, больше чем на сутки опоздали... Да, так оно и есть, сказал он себе. То, за чем могли бы охотиться жандармы: ну, скажем, воззвания «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» или прокламации, — словом, все «противуправительственные» издания, какие действительно имелись у него, еще позавчера отдал он Пилипцу, члену «Союза», рабочему, все до единого отдал, поскольку тот уезжал в Ригу как раз для распространения там на фабриках нелегальной литературы. Единственное, прикидывал Бауман, что могут найти здесь, — это конспекты некоторых трудов Маркса, но сочинения Маркса, как известно, не относятся к числу запрещенных изданий. Так что, решил он, оснований для волнений решительно никаких нет. Лучше за Пирамидовым понаблюдать, развлечение как-никак.

Двигался Пирамидов по комнате с редким изяществом: что ни шаг — чуть ли не балетное па. А как отработан каждый жест, поворот головы — прелесть что за актер!.. Судя по повадкам, Пирамидов знал, что красив, и не только не забывал об этом сам, но и заботился о том, чтобы об этом не забывали и другие. И вообще, вероятно, самое главное для него было — казаться окружающим таким, каким он хотел казаться. Все, что он делал, ему явно и самому нравилось: и то, как он отдавал, коротко и вместе с тем мягко, приказания сделать то или это, и то, как ловко успевает следить за действиями всех трех жандармов, но ему этого мало было, ему еще было нужно, чтобы все видели, какое он удовольствие испытывает от своей работы.

Смотреть на него было занятно, Бауман поймал себя на мысли, что всяких-разных людей встречал, а такого вот — чтоб ни на минуту не переставал играть, нет, такого ему еще не приходилось видеть. Но, странное дело, при всем при этом Пирамидов не был смешон. В том, как он вел себя, была даже своего рода законченность, отделанность; можно было его принимать или не принимать — это уж как на чей вкус, но играл он свою роль все же недурно... Надо бы, по справедливости, повысить его в ранге, улыбнувшись, подумал Бауман, надо бы его перевести из провинции на столичную, пусть и средней руки, сцену — на амплуа фата хоть в любой труппе на них нужда, ей-ей. Так ведь не согласится, чудак, убежден, поди, что служба в охранке и есть его истинное призвание!..

Думать о Пирамидове было легко и необременительно. Это не мешало думать о другом, о главном. С того самого момента, как раззвенелся по квартире уже далеко за полночь этот долгий звонок, а хозяйка почему-то не вышла и пришлось самому открывать дверь на лестницу, и потом, когда Пирамидов, удостоверившись, что перед ним именно Бауман Николай Эрнестович, двадцати четырех лет от роду, объявил, что в комнате надлежит произвести обыск, и сейчас, пока сидит вот здесь у стены на табурете, — все эти долгие ночные часы не давала ему покоя мысль: чем же все-таки вызван обыск?

Что не был он случайным — уж это-то ясней ясного.

Наивностью было бы предполагать, что его работа в «Союзе борьбы», к которому после ареста «стариков» во главе с Ульяновым было приковано особое внимание охраны, его вовсе не бессловесное участие в сходках и собраниях, наконец, распространение им нелегальных изданий среди рабочих, — да, верхов наивности было бы думать, что все это останется незамеченным. Не приходилось тут обольщаться и тем, что, за исключением самых близких людей, был известен он везде как «Макар Иванович». Трудно даже вспомнить, сколько раз улавливал он за собой слежку: ему-то, правда, казалось, что всякий раз ускользал он благополучно, но кто может поручиться, что это только ему казалось так, а на самом деле, как знать, может быть, и удалось хоть однажды выследить его, «проводить», так сказать, до дома.

А уж установив, где он живет, совсем пустячным было делом дознаться, кто он таков в действительности, этот «Макар Иванович». Так что обыск никак не мог быть случайностью, оставалось лишь выяснить, что явилось непосредственным поводом для него — донос провокатора, чей-нибудь провал? И еще: у него одного обыск или и у других, у Володи Сушинского, к примеру, тоже?

Пирамидов вел себя безупречно — в том смысле, что не задавал выпытывающих вопросов, хотя иные из них были бы естественны, и не выказывал ни радости, ни огорчения, хотя и для того и для другого у него был ряд несомненных оснований. Он настолько владел собой, что даже когда из нижнего ящика старенького хозяйкиного бюро был извлечен револьвер с патронами, он и тут не подал виду, что эта находка как-то особо заинтересовала его, а с видимым безразличием извлек из револьвера патроны, деловито пересчитал их и, ни слова не говоря, положил все это на свободный край стола. Словом, по виду его, по всему его поведению ровно ничего нельзя было понять: ни того, один ли Бауман удостоился обыска или же это часть широко задуманной операции, ни даже того, последует ли после обыска арест. Оставалось ждать.

Но вот наступил наконец момент, когда, еще и еще раз оглядев комнату и не увидев в ней ничего такого, что не было бы им увидено раньше, Пирамидов сел за бюро и некоторое время писал что-то. Затем, промакнув чернила и бегло пробежав написанное, он протянул лист бумаги Бауману.

— Ознакомьтесь.

Прежде чем приняться за чтение, Бауман отметил про себя, что почерк у Пирамидова был совсем не витиеватый, как думалось почему-то, скорее некрасивый, но вполне, впрочем, четкий. Итак, что же изволил собственноручно начертать начальник Санкт-петербургского охранного отделения?

«1897 года, марта 21 дня, в г. С.-Петербурге, я, отдельного корпуса жандармов полковник Пирамидов, составил настоящую опись отобранного по обыску у Николая Баумана:

1. Тетрадь, не считая, озаглавленная: «Теория ценности и денег» К. Маркса.

2. Тетрадь, озаглавленная: «Прибавочная стоимость».

3. Тетрадь из 9 листов по рабочему вопросу с указанием на полях авторов соответствующих сочинений.

4. Тетрадь, в которой помещен рассказ «Мокрая курица» тенденциозного содержания...

6. Тетрадь, в которой трактуется о выработке программ для систематического чтения в социал-демократическом духе...

8. Фотографические карточки Герцена и Лассалей...

10. Револьвер, заряженный шестью патронами. Полковник Пирамидов».

Дойдя до подписи, а была она предельно разборчивая, без закорючек, почти детская, Бауман оторвал глаза от бумаги.

— Ознакомились? — тотчас и весьма учтиво осведомился Пирамидов.

— Я хочу еще раз прочесть, — сказал Бауман.

И точно: документ этот заслуживал того, чтобы получше вникнуть в него. При всей своей сдержанности, как бы нейтральности, кой о чем он все же говорил. Ну хоть это вот взять — упоминание о социал-демократическом духе, в котором будто бы вырабатывались программы для систематического чтения. Бауман отлично помнил эту тетрадку: просто список книг, притом среди названий было немало и чисто литературных произведений, русская классика, да и остальные книги не так уж наглядно обнаруживали свое истинное направление. Можно было, конечно, в утешение себе расценить эту столь категоричную формулировку как ошибку не очень знающего человека, — но пусть это и так, сказал себе Бауман, пусть даже это и обмолвка, все равно она более чем примечательна, и допустить ее, такую обмолвку, можно лишь в том единственном случае, если точно знаешь, к кому пришел с обыском.

Но смешно говорить о невежестве Пирамидова, нет, нет, он был изрядно сведущ, начальник охраны: вот ведь как ловко и уверенно установил, кто изображен на фотокарточках. Ну, Герцен — ладно, это еще куда ни шло, свой все-таки, русский, а Лассалю вот совсем не обязан он был знать в лицо... Так что при этой своей прямо-таки незаурядной осведомленности мог Пирамидов и по одним названиям книг, числившихся в списке, установить характер их подбора; не исключено также, подумал Бауман, что некоторые из этих книг Пирамидов и читывал на досуге, дабы ознакомиться с кругом мыслей лиц, подлежащих искоренению. Если так, если и впрямь здесь только, во время обыска, заподозрил он неладное, — тогда еще полбеды, вряд ли тогда следует немедленный арест...

Что же до конспектов работ Маркса, равно как и иных работ по рабочему вопросу, то, бог ты мой, кто же сейчас, если говорить об интеллигенции, не интересуется этими вопросами... в плане теоретическом, разумеется. Рассказ «Мокрая курица», тот и вовсе не беспокоил Баумана; сколь он помнил, ничего хоть мало-мальски подозрительного, а тем паче «тенденциозного» в нем не было; тут Пирамидов явно перегнул.

— Ознакомились? — вновь спросил Пирамидов.

— Да, — сказал Бауман, но не торопился вернуть полковнику опись.

— Имеете какие-нибудь вопросы, замечания?

— Пожалуй.

— Слушаю вас.

— Мне непонятно, что вы имеете в виду, утверждая, что «Мокрая курица» — рассказ тенденциозного содержания? Я с этим не согласен.

— Видите ли, — помолчав секунду, сказал Пирамидов, и в голосе его не было и тени раздражения, — видите ли, вашего согласия тут не требуется. Вам надлежит лишь ознакомиться с документом, не больше того. — Опять помолчал. — Относительно же того, тенденциозен рассказ или нет... не беспокойтесь, об этом у нас еще не единожды будет случай поговорить.

Трудно было не понять затаенный смысл последних слов Пирамидова. Да; все, подумал Бауман, почти физически ощутил холодок в груди, все, надеяться больше не на что. И, подумав об этом, окончательно осознав неминуемость своего ареста, Бауман разо-

зился на себя: мог бы, кажется, и раньше догадаться, с самого начала, что если уж сам начальник охранного отделения не погнушался возглавить обыск, значит, были у него веские основания для этого и, значит, заранее, до обыска еще, был решен вопрос об аресте.

Меж тем все перечисленное в описи было тщательно упаковано и перевязано. После этого, уже официально объявив об аресте, Пирамидов велел Бауману одеться. По длинному, с закоулками коридору, а затем и по лестнице, вниз, шли так: впереди Баумана и по бокам — жандармы, Пирамидов был сзади. Хозяйка так и не выходила из своей комнаты, и тут только Бауман вспомнил, что Мария Викентьевна с вечера собиралась в гости к сестре, на Садовую, у нее, верно, и заночевала.

Было еще темно, лишь край неба посветлел немного. У подъезда стояла полицейская карета. Бауман заметил, что одно-единственное окошко ее завешено изнутри плотной шторой, и, пока шел к карете, прикидывал, по каким улицам повезут его на Шпалерную, в дом предварительного заключения, куда помещают политических. Шедший впереди жандарм поеживался, и Бауман тоже ощутил этот пронизывающий озноб, но было сухо и спокойно, мартовский день этот обещал быть солнечным и веселым.

Везли Баумана долго, куда дольше, подумал он, чем это нужно, чтобы добраться до Шпалерной. Станным было и то, что проехали через два моста (это было заметно по гулкому перестуку копыт): если ехать в «предварилку», никаких мостов не должно было быть по пути. Вскоре после того, как проехали через второй мост, — а судя по его протяженности, был он через Неву, — карета остановилась.

Выйдя из кареты и очутившись на брусчатой мостовой, Бауман узнал железные решетчатые ворота Трубецкого бастиона, его стены, одетые в гранит.

То была Петропавловская крепость.

2

Его поместили в камеру № 56. Одиночка... Иных камер, кроме как одиночных, тут, впрочем, и не было, в Трубецком бастионе.

Предварительно, прежде чем отвести его в эту предназначенную для него камеру, тюремные надзиратели (Бауман явно уже поступил в полное их распоряжение, потому что жандармы, доставившие его сюда, и даже Пирамидов просто, уже без дела находились здесь, вернее, в ожидании дела, поскольку, вероятно, предстояло еще подписать акт, и вид Пирамидова весьма наглядно говорил, что он вынужденно присутствует при этой процедуре, — так вот, первым делом надзиратели, приказав ему раздеться догола, придирчиво осмотрели все его вещи и его самого и лишь после этого заставили облачиться в казенное белье и арестантский серый халат.

Личный обыск этот, надо отдать должное, проходил деловито, сонные надзиратели не позволяли себе ухмыляться или отпускать словечки, какие могли бы унижить, — весь расчет, думал Бауман, пока Пирамидов и надзиратели скрепляли акт соответствующими подписями, весь расчет, вероятно, был на то, что сама по себе эта процедура, когда голый человек поживается от стыда и неловкости, не просто даже унижает его, но вообще выводит за пределы привычного существования, как бы проводя отчетливую черту между тем, что было и что напрочь перечеркивалось сейчас, и тем, что будет отныне.

Да, да, думал Бауман, именно в этом все дело — чтобы с самого твоего первого шага в тюрьме показать тебе, что отныне на тебя уже не распространяются все писанные и неписанные людские законы, что, оказавшись здесь, ты в тот же миг перестал существовать как личность, с чувствами и желаниями которой хоть кто-нибудь будет считаться. Мысль эта, может, оттого, что была первой, показалась очень важной, и Бауман поспешил — не потому, что боялся забыть ее, а чтобы больше не возвращаться к ней, вывести из нее главное правило для себя на будущее: что бы там дальше ни было, пусть самое худшее, ни на миг не терять себя. Ни на миг, повторил он.

Прислушавшись к тому, о чем вполголоса переговаривались надзиратели, он уловил, что ему отведен 56-й номер. После выполнения всех формальностей его повели вверх по лестнице, а потом по коридору второго этажа. Коридор этот был просторен, с высоким сводчатым потолком и, что вовсе удивительно, довольно светел: через большие, хоть и грязноватые окна незатрудненно вламывалось мартовское веселое солнце. Слева, на одинаковом расстоянии друг от друга, выходили в коридор обшитые железными листами двери, над каждой был номер. 56-я камера оказалась чуть не в конце коридора.

Бауман огляделся. Вся обстановка камеры состояла из металлической доски, намертво вделанной в стену (стол, так сказать), железной койки, умывальника и параша — все то самое, что, по его представлению, и должно было находиться в одиночной камере. Если что и показалось ему удивительным, да и то не сразу, не в первую минуту, так это то, почему здесь такой полумрак. Сначала объяснил он себе это тем, что камера, возможно, выходит на несолнечную сторону, но тут же понял свою ошибку: при таком ясном небе все равно должно быть светло, хоть солнечная сторона, хоть несолнечная. Вероятно, и окно тут было ни при чем; пусть и под самым потолком оно, и маленькое, меньше некуда, но и такое окошко должно же пропускать хоть немного света. Поискал глазами табурет — нет, не оказалось его здесь. Пришлось приподняться на цыпочки, да еще и подпрыгнуть, только так и удалось заглянуть в окно. То, что он увидел, никак нельзя было, конечно, предугадать: окно камеры почти упиралось в наружную крепостную стену — куртина, так, кажется, называют эту чертову стену.

Смертельно хотелось спать, сказывалась напряженная, на нервах, ночь. И это хорошо было бы — поспать, выспаться, потому что в любой момент могут вызвать на допрос и очень важно иметь ясную голову. Но нет, не мог позволить он себе эту роскошь сейчас, потому что еще более важно было, чтобы вызов к следователю не застиг врасплох, а для этого нужно было восстановить в памяти по возможности все (и не только точно, но и в подробностях), чем пришлось заниматься последние месяцы, и с кем встречался, и кому какие поручения давались.

Тут же, правда, и понял: всего (так вот, сразу) не вспомнить, много все же сделано, хотя бы главное, что особо могли вменить ему в вину, не упустить.

Первое, что пришло на ум, — это как полгода назад (нет, чуть меньше) приехал он в Питер с Володей Сушинским — казанский, с детства еще друг, и институт вместе кончали, и потом, после института, оба служили ветеринарными врачами хоть и в разных уездах, но в одной Саратовской губернии; так что встречались часто. Приехали в теплынь, только дождь моросил. Будто со стороны увидел он сейчас себя с Володей: оба в ватных пальто (на Волге как раз перед их отъездом рванул диковинный для октября мороз), а вокруг под зонтами люди, кой-кто в

пиджачках даже; снисходительно, с улыбочкой посматривали на провинциалов столичные жители. Увидев себя со стороны как бы, и сам он заулыбался сейчас, но тогда, в октябрьский тот пасмурный денек, было им, сколь помнится, не до смеха. Предстоял неблизкий путь на Каменный остров, где жила Володина сестра, а тратиться на извозчика жалко было, хотя и чувствовали себя богачами: шутка ли, у каждого в кармане по пятьсот рублей. Но деньги эти, скопленные за полтора года ветеринарной службы, для другого были предназначены: чтоб сколько-то времени не определяться на службу, а целиком отдать себя революционной работе. Отправились пешком через весь город, благо пожитков было всего-ничего: смена белья да несколько книг.

Само собой, приезд их этот в столицу вряд ли мог обратить на себя внимание охраны, поскольку ни имена их, ни тем более намерения никому не были известны, разве что кто-нибудь из особо досужих, случившихся в тот час на привокзальной площади, мог приметить смешных молодых людей явно нестольного вида. Так что вполне можно было бы не вспоминать сейчас об этом, право, не столь уж примечательном событии, — надо полагать, и сам Пирамидов не нашел бы ничего предосудительного в их приезде, — и если Бауман все же думал об этом, то единственно для разгона лишь. И только разгон этот был взят и сами собой, без понуждения, пошли мысли — сразу и отсеялось все, не идущее к делу: не только мелочи, то, к примеру, как добирались до Каменного острова и как потом устроились для экономии жить коммуной, но даже и посущественнее вещи — как устанавливали связи с кружками рабочих. Потому что как ни важно было это — вхождение в революционную жизнь Петербурга, — едва ли в этой внутренней работе по определению своей позиции, при всей сложности, а подчас и мучительности такого самоопределения, можно было усмотреть особый «криминал». Господина Пирамидова, как легко понять, интересуют не столько эмоции и, пусть и крайне левые, умонастроения арестованного, сколько дела его: то, что поддается точной и неопровержимой фиксации. И если предполагать худшее, то Пирамидов, раз уж он решился на арест, кое-что и впрямь известно — черт побери, дорого дал бы сейчас Бауман, чтобы знать, что именно..

По диагонали, из угла в угол, если обогнуть койку, торцом приткнутую к стене, выходило в камеру девять шагов, поперек — пять неполных. Бауман избрал более длинный путь; к тому же, чтоб и еще продлить его, двигался медленно — в лад неспешным мыслям своим. Хотя вызвать на допрос могли в любую минуту, он все же не торопил эти мысли, стараясь и малости не упустить, потому что чуял нутром: как раз на каких-нибудь мелочах и будет подлавливать его Пирамидов.

Вообще-то, говорил себе Бауман, будь он на месте жандармов, первым делом поинтересовался бы самыми начальными шагами приезжего в Петербурге, потому что они-то и определили направление всей последующей, непосредственно уже практической работы в подполье. Тут он (окажись опять же в шкуре Пирамидова) на особую заметку взял бы такую немаловажную частности, как радостное изумление провинциала, который здесь, в Петербурге, столкнулся не с разрозненными кустарными кружками, как было в Казани, а со стройной организацией, вобравшей в себя многочисленные кружки, — «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».

Потом, как следующую уже стадию, он отметил бы некоторое не то чтобы разочарование, но как бы

отрезвление свое, когда, поприсмотревшись, понял, что не так уж все ладно в революционном подполье Питера, что пришедшие после ареста Ульянова, Кржижановского, Мартова, Ванеева и других «стариков» к руководству кружками «молодые» боролись лишь за «пятачок», отрывали экономику от политики. И было это, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, не просто уступкой, какая могла быть продиктована тактическими соображениями, нет, это была коренная ошибка, и, как ни убеждал Баумана в своей правоте Катин-Ярцев, лидер «молодых», ничего из его стараний не вышло, разошлись их дороги.

Да, с усмешкой думал Бауман, занимая он пост начальника охраны, с этого скорей всего и начал бы разматывать клубок криминальных деяний новоявленного преступника. Потому что все остальное было только следствием, а первопричина таилась как раз в тех начальных блужданиях и поисках, которые при всем желании не мог «углядеть» ни один филер или провокатор. Сыскную же свою ретивость Пирамидов и его доблестные сотрудники могли проявить лишь позднее. В декабре, пожалуй.

Да, в начале декабря. Темнело рано, вдобавок ветер с залива затеял дьявольскую круговорот больше смахивающего на дождь снега, и в Екатерингофском парке, несмотря на непоздний еще час, было безлюдно — так по крайней мере казалось ему и Саше Спицину, студенту-технологу. В парке должна была состояться первая встреча Баумана с рабочими фабрики Штиглица. Пришли трое: Царев, Осипов и Пилипец; они-то впоследствии и составили ядро кружка, руководить которым вместо Спицина взялся Бауман. Саша Спицин был славным парнем, но ему не хватало марксистской подготовки, и, понимая это, он сам позвал Баумана. Тогда-то, во время этого знаменитого комства в парке, и появился на свет божий «Макар Иванович» — так назывался в тот раз Бауман, и кличка надолго закрепилась за ним.

Первые два-три дня он вел занятия на квартире у Царева, но комната была маленькая, а приходило человек по восемь — десять, было еще и то чреватое опасностью неудобство, что соседи вполне могли — через тонкие стены — слышать все, о чем говорилось в кружке. Платон Осипов вызвался подыскать новую квартиру. Бауман передал ему для найма ее одиннадцать рублей, и в дальнейшей занятии, ставшие еще более людными, устраивались уже в новом месте — на Слоновой улице (дом № 67; квартира 18 — закрепил в памяти точный адрес Бауман). Удобней квартиры для нелегальных встреч, казалось, и придумать нельзя было. Помимо парадного, имелся черный, отдельный ход, а проходными дворами можно было выйти на добрый пяток соседних улиц. Но и с этой квартирой, при всех ее удобствах, пришлось, увы, распрощаться: на ближних подходах к дому однажды обнаружен был некий господин незапоминающейся наружности. Филер то был или нет, трудно было утверждать с определенностью, но, по общему согласию, решили не искушать судьбу: в тот же день ликвидировали эту явку.

Интересно, подумал Бауман, помянут на допросе Слоновую улицу? Или, может, переусердствовали они тогда в своей конспиративности — на манер той стреляной вороны, которая, известное дело, и куста боится? Нет, сказал он себе. Нет. Коль скоро возникло подозрение, только так и следовало поступить. Только так!

Все тот же Осипов, оказавшийся человеком расторопным и с большими знакомствами, нанял новую квартиру, не квартиру даже — дом, расположенный в глухой местности за Большой Охтой, в деревне

Исаковке, по сути, в пригороде. Бауман поначалу еще и тем был доволен, что неподалеку было несколько крупных заводов и фабрик: вовлечь в кружок как можно больше рабочих считал он своей наиважнейшей задачей. И действительно, жившие на этой окраине рабочие — сначала один-два, а потом и до пятнадцати — постоянно приходили на занятия, притом, что отраднее всего, не отмалчивались, как бывает, а горячо ввязывались в споры. К этому надо прибавить, что они уносили с собой пачки листовок и прокламаций, которые затем раздавали своим товарищам. Работа, словом, разворачивалась вовсю, но тут обнаружилось вдруг, что немолодой уже крестьянин Дементьев, в доме которого (Черновская улица, № 60) происходили встречи, слыл в округе, по причине своего вольнодумства, отъявленным смутьяном и потому находился под негласным наблюдением полиции. И хотя, как убежден был Бауман, для такого надзора у полиции не было равно никаких оснований, — просто Дементьев принадлежал к числу тех людей, которые всем и вся возмущаются, а в действительности весьма и весьма далеки от революционного движения, — но не станешь же все это объяснять полиции!

Так порушилась и эта явка. Дальнейшие встречи были попеременно в двух лишь местах: в трактире «Кострома» на Большой Болотной и в другом трактире — на углу Калашниковской набережной и Смольного проспекта. Трактиры эти, усердно посещавшиеся извозчиками и торговцами вразнос, в любой час, а особенно вечером, ближе к ночи, были многолюдны. И вряд ли кто мог заподозрить, что группа мастеровых, собравшаяся в дальнем зале, чтоб перекинуться в картишки, ведет меж тем какие-то недозволенные разговоры; тем более, что на случай, если кто-нибудь проявит все же интерес к этим разговорам, там, в других залах, тоже были свои ребята: чуть что — сразу дадут знать.

Так вот, перебрав в уме все, с адресами даже, места, где проходили нелегальные собрания, и еще и еще удостоверившись, что нет, ничего вроде не упустил, после этого Бауман, не дав себе и минуты передыха, подошел уже непосредственно к содержанию всех этих тайных встреч и разговоров.

Как и ожидал, задачка эта оказалась сатанинской сложности. Вначале, впрочем, он довольно-таки лихо ринулся в дебри воспоминаний и сумел даже чуть не дословно восстановить все первое их собрание, но потом, словно в отместку за эту лихость, память забуксовала. Здравое рассудить, иначе и быть не могло. Попробуй-ка вспомни, что, когда и кем говорено было. Если и можно все это вспомнить, то постепенно, потом. Теперь же, на первый случай, — так как неизвестно, сколько времени ему отпущено до вызова на допрос, — всего разумней теперь, решил он, не уходя в частности, хоть начерно подытожить сделанное за полгода. Тем более, что в беге каждодневных дел и забот не было у него для такого анализа ни повода, ни возможности.

Итак, главное, сказал он себе.

По самому трезвому и придиричивому соображению выходило, что наиболее важным из того, чем он занимался, и в то же время, с точки зрения Пирамидова, наиболее, должно быть, опасным было то, что их кружок продолжал линию «стариков». Бог ты мой, думал Бауман, сколько нападков пришлось выдержать от «молодых», от того же Катина-Ярцева! Среди иных катин-ярцевских аргументов один и вовсе не серьезный был: поскольку, дескать, рабочие не доросли еще до политической борьбы, какой смысл руководителям движения рисковать собой и преждевременно садиться за решетку? При этом он

еще и сетовал на Ульянова и его друзей: мол, ве­ди они себя поосторожней (в том смысле, что им, по его мнению, надлежало, руководя стачками, ограничиваться лишь борьбой за увеличение заработка), тогда и по сей день были бы они на свободе, принося движению куда больше пользы, чем приносят сейчас.

Пресильный довод, что и говорить! Тогда и разо­шлись окончательно их с Катин-Ярцевым дороги. Политические лозунги — вот что ставили во главу угла всей своей работы и Бауман и полностью солидарные с ним в этом Сущинские: сам Володя, его брат Петр и сестра Маша.

Поразительно, подумал Бауман. То, чего никак не мог взять в толк такой образованный и в общем неглупый человек, каким, несомненно, был Катин-Ярцев, отлично понимали не искушенные в теоретических тонкостях рабочие. Казалось бы, уж кому, если не этим замученным каторжным трудом, непомерными штрафами и вычетами людям, думать единственно о том лишь, чтобы им и их семьям жилось легче, но нет, как раз им-то и ясно, что дело не в одном только их фабриканте, что тут повинна вся система, при которой одни наживаются на других, и что без завоевания политических свобод, притом для всех, ни один человек не может быть свободен. Ну, разумеется, к такому пониманию они пришли не сразу, но ведь пришли, пришли же! Бауман вспомнил, с каким проникновением в самую суть вопроса разбирали рабочие с фабрики Штиглица (один кружок целиком состоял из них) брошюру Ульянова, написанную им и напечатанную незадолго до ареста, — «Объяснение закона о штрафах...». Этой своей брошюрой Ульянов наглядно продемонстрировал всем «молодым», как можно, сочетая экономические требования с политическими, подвести рабочих к самостоятельному выводу, что им, рабочим, остается одно только средство для своей защиты — соединиться вместе для борьбы с фабрикантами и с теми несправедливыми порядками, которые установлены законом. Именно так — соединиться для борьбы с самими порядками.

Бауману надоело ходить, он присел на койку. Полагалось теперь (по тому плану, который окончательно уже сложился в голове) хоть бегом прикинуть, что из помянутых сведений мог Пирамидов почерпнуть, основываясь на результатах «наружного», филерского то есть, наблюдения, а что — лишь при содействии провокатора, проникшего, быть может, в один из кружков. Но когда подошел к обдумыванию этого вплотную, понял, что не сумеет заставить себя заняться выискиванием возможного осведомителя, даже и мысль такую допустить было невозможно. Лег спать, рассудив, что теперь, когда, пусть начерно, главное продумано, самое мудрое — выпастись перед допросом хорошенько.

Проснулся он от стука открываемой двери. Решил, что вызывают на допрос. Нет, просто надзиратель принес еду и зажженную уже свечку: трепыхался во все стороны хилый огонек. Поставив все это на стол, надзиратель молча удалился. Бауман недоумевал: почему же свечка, а не лампа, которая, если судить по неистребимому запаху керосина, застоявшемуся в камере, явно полагалась заключенному? Потом догадался, почему. Вспомнил: после самоубийства Марии Ветровой, которая подожгла себя, облившись керосином из лампы, принесенной ей в камеру, пронесся по Питеру слух, будто департаментом полиции отдано распоряжение изъять из всех одиночек Трубецкого бастиона лампы. Не просто слух, значит...

В этот день так и не вызвали его на допрос.

К о всему был готов он, когда оказался в Петропавловской крепости: к изнурительным допросам, во время которых будут сбивать, путать, делать вид, что знают больше, чем в действительности знают; к постоянным унижениям, на которые тюремщики были изрядные мастера; даже к этой вот пронизывающей до костей могильной сырости, которой, казалось, были пропитаны сами стены. К одному лишь, как обнаружилось, был не подготовлен он — к неопределенности.

Прошел день, и следующий, и еще, и еще — допроса все не было. Баумана не покидало пришедшее однажды ночью ощущение, что о нем попросту забыли. Затиснули, будто и в самом деле мертвец, в этот каменный гроб и забыли.

В первые дни своего заточения он еще находил какие-то объяснения такой забывчивости Пирамидова — в любом случае неразумной, потому как, если идти по здоровой логике, то допрашивать, конечно же, следовало по свежим следам, сразу, чтобы застичь врасплох, не дать собраться с мыслями. Среди объяснений, какие могли хоть как-то оправдать Пирамидова в его глазах, было, в частности, и то, что по горло занят он другими арестами; или же, если не это, выискивает какие-нибудь особо весомые и неотразимые доказательства его, Баумана, вины. Но, с другой стороны, сколько же можно заниматься всем этим, не год же!..

И когда понял, сколь неосновательны все его успокоительные догадки, вот тогда-то и стало ему страшно, такой ужас (почти как в детстве было, когда впервые задумался о неотвратимости смерти) охватил его, что в тот, запомнилось, пятый день он не нашел в себе сил подняться с койки, так и пролежал до вечера ничком, уткнувшись в плоскую, слежавшуюся подушку. Уже не то чтоб неизвестность страшил его. Было, конечно, и это, но не только это. Потому что куда страшнее было обезволивающее ощущение не неизвестности, а именно предренности своей участи, сознание, что могут тебя вот так, без попытки обвинить даже, продергать в каземате и год, и два, и сколько угодно, сгноить попросту, а ты, утратя все, даже имя, будешь лишен и малейшей возможности противоборствовать этому. Было и такое, в чем стыдился признаться самому себе: в тот день как о высшей благодати мечтал он, чтобы поскорей вытащили его на допрос, а там, дальше, пусть суд, правый или неправый все равно, любое пусть наказание, лишь бы точно знать, что ждет впереди, лишь бы покончить с этой неопределенностью.

Отрезвление наступило неожиданно — все в тот же, навек, должно быть, запомнившийся день, когда отчаяние достигло, казалось, своего высшего, на грани с помешательством уже предела.

Сперва он подумал об этом вскользь, в порядке сомнительного предположения только, но тут же, едва подумал, понял, что для мимоходной мысли была она слишком, на диво, ясной и законченной, так что уже не оставалось сомнений: как раз на это и была вся ставка Пирамидова — чтобы, пытая неопределенностью, довести своего подопечного до той стадии приниженности и обреченности, которая куда губительнее (потому что исподволь и незаметно) действует на психику, чем даже пытки. И, стоило понять это, удивился сразу, как это такая простая и до смешного очевидная мысль не пришла в голову раньше...

Почти физически ощутив после этого освобожденность, он тотчас поднялся и, умывшись, заставил себя проделать несколько обычных своих гимнастических упражнений, показавшихся (успел уже отвыкнуть) и сложными и утомительными. Но на другой день он еще и усилил нагрузку и с каждым днем все больше и больше увеличивал число упражнений. В распорядок дня он ввел также «прогулки» по камере из угла в угол, положив за правило выхаживать таким манером не меньше десяти километров. А чтобы втянуться в эти нудные — вот уж ни уму, ни сердцу! — хождения по истертой до черноты диагональной дорожке, он устраивал себе по памяти настоящие прогулки, всякий раз новую, по улицам родной Казани, по заволжским лугам. Шаг за шагом вспоминал он каждый дом, попадавший на пути, чуть не каждую вывеску, а поскольку не любил гулять один, то и эти мысленные свои прогулки совершал с друзьями.

Вначале, правда, был он слишком расточителен в своих воспоминаниях, пришлось пресечь такую неоправданную щедрость, что-нибудь одно назначал на день и приказывал себе думать только об этом и ни о чем другом. При этом поразительным было даже не то, что столько событий (разного, понятно, рода и веса) вбирает в себя любая, пусть и не очень уж долгая жизнь, а то, что каким-то чудом человек умудряется удержать все это в памяти. К удивлению своему, он обнаружил вдруг, что помнит себя с двух, от силы с трех лет... Вот он топает по белому-белому снегу; что на ногах было — не помнит, а вот что поверх пальтеца был укутан в пушистый щекотный платок — это он помнит точно; помнит, как упал и как сначала это понравилось, а потом заплакал: холодно рукам стало. И еще одна к той же, верно, зиме относящаяся смешная зарубка: кто-то сказал, что мыши, водившиеся в их доме, не выдержат новой отравы, сбегут, и он очень ясно представил себе (не сейчас, в том-то и штука, что тогда) их тоненькие и почему-то не серые, а розоватые голые лапки и представил себе, как будут они бежать по белому холодному снегу. Помнится, он тогда долго и безутешно плакал, но вот ведь странность какая, вспоминалось теперь, что эти слезы вызваны были не столько даже жалостью к бедным мышам, сколько обидой... И точно: то была обида на взрослых, что посмеялись над ним, когда поделился с ними своей жалостью... В какой-то миг Бауману почудилось, что он помнит себя таким, двухлетним: серьезный, не улыбкающий, в куртке с металлическими пуговицами. Но нет, сказал он себе, вряд ли мог он запомнить свой тогдашний вид. А кроме того, что-то подозрительно уж похож был нарисованный им портрет на более позднюю, лет пяти, фотографию, где и впрямь он сидел не улыбкающий, в курточке и шароварах, заправленных в кожаные настоящие сапоги...

Знать, была в умирительных этих, раннего детства воспоминаниях какая-то исцеляющая сила, что хотелось длить и длить их! Но уже по собственному опыту знал он, что нет ничего и опаснее в тюрьме, чем потерять меру в чем бы то ни было. Стоит хотя чуть ослабить узду — и захлестнет дремучая тоска либо, напротив, чрезмерная, из-за сущей мелочи радость. Обе эти крайности одинаково выводили из равновесия. Поэтому, отшагав положенное, принимался он за другое уже: начинал ежедневный перестук с соседними камерами; пригодилось знание тюремной азбуки, которой овладел еще на свободе...

Камера слева молчала, «скорей всего была пуста. В камере справа узник был, но, хотя Бауман подолгу выстукивал в стену свои вопросы, наладить с ним связи никак не удавалось. Нет, неведомый этот узник

не отмалчивался, он тоже стучал что-то в ответ, однако удары его были беспорядочны: явно незнаком с техникой тюремного «телеграфа». Все очень просто, но как растолковать это соседу?

Бесплодность попыток наладить с ним разговор была с самого начала очевидна для Баумана, тем не менее каждый раз, едва закончив утреннюю свою «прогулку», он не меньше часа выстукивал в правую стену. Не потому, что очень уж надеялся, что сосед постигнет со временем азбуку перестукивания, просто понял по истерической суматошности ответных ударов, что доведенному до отчаяния соседу даже и такой, вовсе лишенный смысла разговор необходим, так как давал хоть какую-то иллюзию общения.

Бауману там, на свободе, вечно не хватало времени. Так уж получалось, что с утра и до глубокой ночи был в бегах, в делах; для чтения урывал часы у сна, хронически не высыпался. И вдруг все остановилось, само время, кажется, остановилось, — ровно никаких дел. И это вынужденное безделье действовало опустошительней, чем одиночество даже. Когда делалось особенно худо (хандра настигала обычно вечером), трудно было перебороть желание броситься к двери и стучать, колотить по ней ногами, а когда явится смотритель тюрьмы, а может, и прокурор, потребовать с криком, чтобы его немедленно, сию же минуту вызвали на допрос... Но ему удавалось взять себя в руки. Нет, дудки, говорил он себе. Не доставит он такой радости Пирамидову: тот, поди, этого только и ждет — признаков его, Баумана, неспокойя.

Единственное, что он себе позволил, да и то к исходу второй недели, сказать надзирателю, что требует выдачи ему бумаги и чернил. Надзиратель промолчал, а наутро сообщил, что начальство спрашивает, зачем ему бумага. Бауман велел передать — для писем. Принеся обед, надзиратель спросил, опять сославшись на смотрителя: «А кому письма-то?» Бауман сказал, что отцу с матерью, вообще родным. Вечером вместе со свечой он получил через окошко в двери два листика бумаги, чернила и ручку.

Полагалось бы тотчас и сесть за письмо. Но, окзалось, он был не готов к нему. Он думал об отце. Отец считает его жестоким и бессердечным, вот ведь какая незадача. Спор его с отцом, причинявший тому и другому боль, длился уже годы. Но и сейчас, хотя с тех пор, как ушел из дому, прошло почти шесть лет, отец был непримирим. Вновь и вновь вышагивая по камере из угла в угол, перебирая Бауман в уме свои доводы... Ты неправ, говорил он отцу. Да, да. У каждого своя дорога, я свою тоже выбрал. И уже то одно, что я иду по ней, не сворачивая, столько времени, должно же хотя бы это убедить тебя, что не ребячливое легкомыслие движет мной. К чему тогда все эти попытки «образумить» блудного сына, вернуть его на праведный путь? В сущности, все очень просто, отец. Ты, конечно, хочешь мне добра, я знаю, — но как тебе объяснить, что у меня, и тут ничего не поделаешь, иное понимание счастья...

Вспомнилось: однажды, исчерпав все свои доводы, отец в запальчивости предрек ему тюрьму да суму (заплакала, помнится, закричала в голос кроткая, не смевшая перечить отцу мать). Отец и тогда уже явно жалел о сказанном, а теперь, получив это, тюремное письмо, и вовсе изведется, вовек не простит себе, что так злое сбылось неосторожное его пророчество. Надо бы как-то успокоить родных, подумал Бауман. Хотя, по совести, какое уж там спокойствие, если из этого письма узнают они, что сын и брат заточен не просто даже в тюрьму — в

Петропавловку... Но так или иначе, писать надо, сказал он себе.

«Дорогие родители, братья и сестра! Тяжело писать. Не знаю, как начинать. Невеселую новость узнаете с этим письмом. С 21 марта я арестован и сижу в одиночном заключении в Петропавловской крепости. В чем меня обвиняют, не знаю еще до сих пор. Допроса не было. Если же даже скоро узнаю обстоятельства дела, то и тогда едва ли сумею вас уведомить об этом. Здешняя цензура, кажется, не допускает касаться в письмах подобных вопросов. Завтра будет две недели моего заключения; несмотря на полнейшую неопределенность положения, чувствую себя сносно: нервы не шалят, и физически совершенно здоров. Не тревожьтесь и вы, мои дорогие, не проливайте слез над моей судьбой. Я молод, силы не надорваны — жизнь моя впереди».

В этом месте он остановился. Пришло вдруг на ум, что письмо его до того, как уйдет в Казань, непременно попадет в руки Пирамидова, не может не попасть. А коль так, подумал он, совсем неплохо было бы создать у него (не явно, конечно, не грубо) впечатление, что не так уж безоблачно настроен узник камеры № 56. Что-нибудь вставить, скажем, насчет страданий, выпавших на его долю, но сделать это осторожно, чтобы и родным не доставить дополнительных волнений... Была у Баумана надежда, что если Пирамидов глотнет крючок с этой наживкой, допрос не замедлит последовать. Продолжал он писать, имея уже в виду и Пирамидова.

«Прямо, без препятствий, без разочарований и страданий, едва ли кому-нибудь удавалось пройти свой жизненный путь. С подобными неожиданностями приходится мириться. Никакими слезами, никакими сожалениями нельзя помочь в моем настоящем. Личная воля, личные страдания не могут хоть чуточку изменить положения...»

На этом вполне можно было закончить письмо, но — для родных — он добавил:

«Обо мне заботиться не надо. Здесь живу на всем готовом, кроме чая и сахара. На эти мелочи у меня денег хватит...»

4

Письмо его не понравилось Пирамидову. В чем тут было дело, он и сам затруднялся себе объяснить, потому что не слезного же раскаяния ждал он; нет, не столь наивен Владимир Пирамидов. Еще в ту, во время обыска, ночь он понял, что поединок с Бауманом будет не из легких: очень уж независимо, с вызовом как бы держался молодой этот человек; причем не было в этой насмешливой независимости той суетливой бравады, какая бывает большей частью наигранной и обычно предшествует у иных юнцов, возомнивших себя робеспьерами, бабьей постыдной истерике, с самобичеванием и проклятиями (после такой истерики было делом уже чистой техники завербовать их в провокаторы, стоило обласкать — они сами шли в расставленные силки).

Что же до Баумана, то тут Пирамидов немалые надежды возлагал на режим Петропавловки. И вот это письмо... Выходит, и двух недель одиночки недостаточно, чтобы сломить или хотя бы расслабить его волю. В письме между строк читалось такое отчетливое и вместе хладнокровное понимание своего положения, будто и не было позади помянутых двух недель. Вывод напрашивался сам собой: значит, для

таких, как Бауман, чтоб им «дозреть» к допросу, нужны не две, не три недели, а месяц, два, полгода, словом, столько, сколько нужно. Но вся беда в том, что откладывать допрос больше нельзя было, и оттого Пирамидов злился и на Баумана, на его строптивость, и на себя, что поставлен обстоятельствами в такие рамки, при которых нет возможности сколько-нибудь последовательно осуществить задуманное.

Обстоятельства же, заставившие Пирамидова принять вынужденное решение провести первый допрос не позднее чем завтра, заключались в том, что Трубецкой бастион вот уже длительное время не использовался как тюрьма, где содержатся находящиеся под следствием. Министерство внутренних дел лишь недавно добилось высочайшего разрешения на сей счет. Бауман был первый из числа политических деятелей последнего времени, кого сразу после ареста привезли в крепость, и вот теперь надлежало наглядно продемонстрировать на этом примере, сколь плодотворен для следствия сам факт заключения в каземат. Было также опасение, что в случае неудачи или даже задержки следствия вновь возьмут верх противники превращения Трубецкого бастиона в подследственную тюрьму, потому-то и не мог Пирамидов отложить допрос, хотя и была в том настоятельная необходимость.

Назначив допрос на завтра и отдав все необходимые на сей счет распоряжения, Пирамидов начал продумывать линию своего завтрашнего поведения: знал по опыту, что успех дела во многом зависит от того, сколь тщательно разработан план допроса.

Комната в департаменте полиции, куда доставили Баумана, помещалась на первом этаже. Были тут уже двое: один в жандармском мундире, другой штатский. Они представились, а точнее, поставили в известность, что допрос на основании 1035-й статьи устава уголовного судопроизводства будет вести отдельного корпуса жандармов подполковник Ковалевский в присутствии («дабы обеспечить беспристрастность» — так это было подано) товарища прокурора Санкт-петербургского окружного суда Утина.

А Пирамидов, друг сердечный, где? Бауман почувствовал даже некоторое разочарование...

Ковалевский начал с «формальных» вопросов; дело пошло быстро: у Баумана не было причин таить требовавшиеся данные.

— Имя, отчество, фамилия и звание? — ровным тусклым голосом, почти механически спрашивал Ковалевский; был он грузен, вдобавок мундир сидел мешковато.

— Бауман Николай Эрнестович, ветеринарный врач.

— Место родины?

— Казань.

— Вероисповедание?

Чтобы не ввязываться в объяснения, Бауман не стал, хоть и подмывало, говорить, что атеист. Сказал:

— Лютеранское.

— Лета? — стремительно следовал новый вопрос.

— Двадцать четыре года.

— Грамотность?

— Окончил Казанский ветеринарный институт.

— Были ли под судом или следствием?

— Не был.

— Женат или холост? Если женат, то на ком? — частил Ковалевский.

— Холост.

— Имеете ли родителей и кого именно, лета их и место жительства?

— Отец Эрнест Андреевич пятидесяти четырех лет и мать Мина Карловна пятидесяти двух лет, проживают в Казани.

— Имеете ли собственные средства к существованию?

— Нет, не имею.

— Имеете ли родных братьев и сестер, их имена, лета?

— Братья Александр двадцати шести лет, Эрнест двадцати двух лет, Петр восемнадцати лет и сестра Эльза девятнадцати лет.

Ковалевский умолк, и вот тут-то, едва покончено было с этими горохом сыпавшимися пустяковыми вопросами, и появился Пирамидов. Похоже было, что он точно знал, когда начнется главное. Сделав Ковалевскому знак, что нет, он не будет вмешиваться, просто посидит в сторонке, он и действительно устроился в стороне, неподалеку от окна — так, однако, чтобы видеть одновременно и Баумана и подполковника Ковалевского. Первый вопрос после прихода Пирамидова Ковалевский подал с некоей значительностью в голосе:

— Знакомы ли вы с Владимиром Сущинским?

Отрицать это было бессмысленно.

— Не только знаком: он большой мой друг, — сказал Бауман, надеясь, что последуют новые вопросы, из которых станет ясно, арестован ли Володя.

Но Ковалевский действовал по своему какому-то плану.

— В таком случае, — заглядывая в лежавшую перед ним бумажку, сказал он, — вы, возможно, знакомы также с его братом и сестрой?

Пришлось признать и это. Знакомство его с Петром и Марией Сущинскими — факт, известный многим и сам по себе достаточно невинный.

— Случалось бывать и на квартире у них? — проявил вдруг повышенную заинтересованность Ковалевский.

— Случалось.

— Это где же — на Каменном острове?

— Насколько я знаю, другой квартиры у них нет. Ковалевский удовлетворенно кивнул.

— Скажите, — сказал он, — а не приходилось вам во время посещения этой квартиры видеть там какие-нибудь нелегальные листки? Или брошюры?

Бауман удивился простодушному вопросу. С трудом удержался, чтобы не посмотреть на Пирамидова: почему-то казалось, что увидит на его лице гримасу неодобрения. Поборов соблазн (нельзя было сейчас медлить с ответом), спокойно сказал, без удивления даже:

— Нет, ничего подобного я там не видел.

— Разве?

Вот теперь, в ответ на столь явное недоверие, вполне уместно и обидеться.

— Я уже сказал: не видел, — с раздражением произнес Бауман.

— Вы все же не торопитесь с ответом, — посоветовал Ковалевский. — Подумайте.

— Вы хотите сказать: придумайте? — уточнил Бауман — с расстановочкой и почти искренней злостью.

— Как это? — Ковалевский, кажется, действительно не уловил смысл услышанного.

— Видите ли, — с неприкрытой уже издевкой разъяснил Бауман, — видите ли, у меня нет желания придумывать, что я видел то, чего на самом деле я не видел и видеть не мог.

Повисла пауза, и Бауман воспользовался ею,

взглянул на Пирамидова. Пирамидов улыбался. И, встретившись глазами с Бауманом, все улыбаясь, проговорил дружески и как бы примирительно:

— Вы так сказали это, что можно подумать, будто у вас в руках и вообще-то нелегальных изданий никогда не бывало.

Бауман тоже улыбался.

— Вы совершенно правы: даже в руках не держал.

Кивнул тотчас Пирамидов Ковалевскому:

— Продолжайте допрос. — И стер улыбку с лица, ровно и не было ее.

Вопрос, который через минуту выудил Ковалевский из своей бумажки, несколько озадачил Баумана: речь шла о Катине-Ярцеве — знаком ли? Вопрос этот тем был странен, что Бауман в последний раз видел его месяца три назад; не потому, что сознательно избегал этих встреч, просто получилось так; и сегодня это было кстати: Катин-Ярцев не мог знать в деталях, какую работу проводил все это время Бауман.

— Да, кто-то, помнится, знакомил меня с ним, — сказал Бауман.

— Давно?

— Вероятно, в октябре.

— Вскоре после вашего приезда в Петербург?

— Да.

— Вы хорошо его знали?

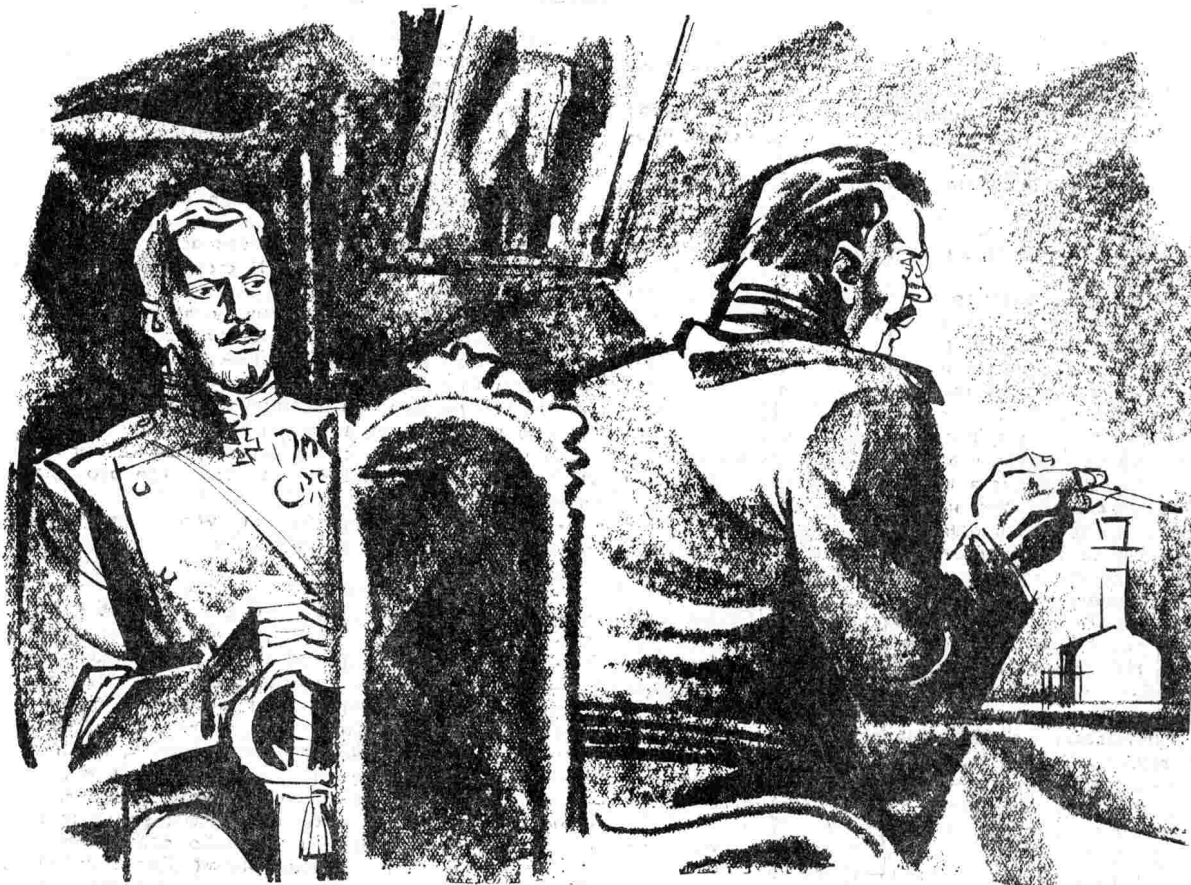
— Нет. Шапочное знакомство.

Бауман ожидал теперь вопросов, уже впрямую касающихся подпольной его деятельности, решив, что ни на один из них отвечать, конечно, не станет. Никаких вопросов почему-то не последовало, если не считать заключительного, предусмотренного, должно быть, самой формой протокола: не желает ли допрашиваемый сделать какие-либо дополнения или разъяснения к своим показаниям? Допрашиваемый не изъявил такого желания, и его немедленно препроводили назад, в тюрьму.

Вернувшись к себе, Бауман попытался привести свои мысли в порядок. Перво-наперво придирчиво проверил, не сказал ли чего лишнего, прикинув, заодно уж, не мог ли иначе отвечать на поставленные вопросы, а если мог, то как. Нет, даже и теперь, уже без спешки раздумывая об этом, ни в чем не мог он себя упрекнуть, разве что можно было обойтись без улыбки, когда говорил Пирамидову, что вообще понятия не имеет, что такое нелегальная литература. Но это ничего не решало, и, разбираясь в себе, Бауман понимал, что нет, не этим вызвано неотвязное чувство, что на допросе что-то было не так.

Допрос этот и впрямь был непонятен, бессмыслен. Ну в самом деле: стоило ли, спрашивается, арестовывать его, а затем что-то там выжидать две недели, чтобы в результате задать все эти, прямо сказать, не очень идущие к делу и уж, во всяком случае, не самые существенные вопросы... Успокоительней всего допустить, что никакими иными сведениями следствие и не располагает, но в это слабо верилось; уместней было предположить, что сегодняшний допрос не больше чем разведка, а главные козыри Пирамидов приберет «на потом», преследуя этим какие-то свои цели.

В том, что такое его предположение не лишено оснований, Бауман теперь уже не сомневался. Лишним доказательством здесь было то, что уж один-то вопрос — о предназначении револьвера, отобранного по обыску, — в любом случае этот вопрос должен был быть задан сегодня. Не исключено, подумал Бауман, что и кажущаяся нелогичность следствия была запланирована заранее — с тем, чтобы при помощи и этой нелогичности и совершенно очевидных



уловков сбить его с толку. А может быть, все эти опасения преувеличены? Что ж, может быть. Но даже и в этом, впрочем, маловероятном случае куда лучше, решил он, переоценить противника, чем видеть в нем дурака. Пирамидов же, судя по всему, был и умен и опытен.

Только что закончившимся допросом Пирамидов был недоволен. Досаду его при этом вызывал не сам допрос, нет, тут все было именно так, как задумывалось, и вопросы задавались те самые (хотя, будь Ковалевский половчее, мог бы и не заглядывать так тупо в шпаргалку). Причиной недовольства Пирамидова было главным образом то, как вел себя Бауман. До сих пор стояла перед глазами его физиономия, эта ухмылка вроде бы даже превосходства, когда, понимая, что дерзит, он дерзил все же — то ли в уверенности, что Пирамидов не осмелится уличить его в более чем близком знакомстве с нелегальными изданиями, то ли, напротив, вынуждая открыть все карты.

Зрел уже в его голове новый план, и со свойственной ему педантичностью он четко сформулировал сперва задачу (сломить Баумана физически), чтобы затем уже наметить наиболее скорые способы ее осуществления. Опыт подсказывал: лучше карцера в этом смысле трудно что-нибудь придумать. А поскольку Бауман своим поведением не дает повода для усиления строгости режима, нужно, сле-

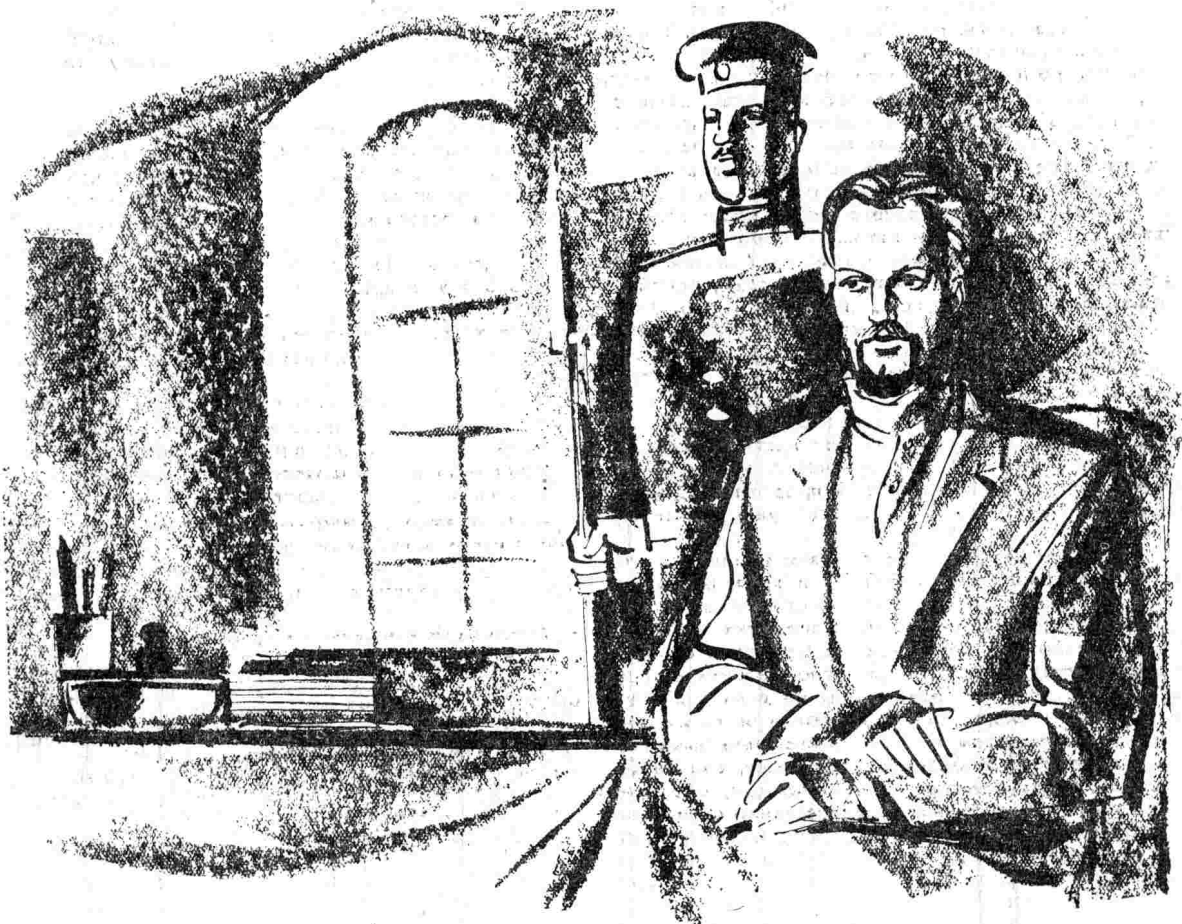
довательно, было озаботиться тем, чтобы создать такой повод.

Пирамидов немедленно вызвал к себе старшего смотрителя тюрьмы Вережкина и, подчеркнув конфиденциальность этого их разговора, порекомендовал сегодня же перевести в смежную с Бауманом, 57-ю камеру какого-либо узника — такого желательно, чтобы умел при посредстве «телеграфа» сноситься с соседями. Не ведая истинных намерений полковника, Вережкин в усердии своем предложил посадить в эту камеру своего человека, но Пирамидову претила такая слишком уж неприкрытая провокация, он попросил воздержаться от подобного. Достаточно и того, если надзиратели будут начеку и смогут застичь Баумана в самый момент перестукивания. Остальное, то есть отсидка виновного в карцере, подразумевалось уже само собой; об этом не говорили.

5

— Прекратить! Пре-кра-тить!

Надзиратель вырос вдруг за спиной, лицо его, красное, с вислыми щеками, перекошено было криком, он схватил Баумана за руку повыше запястья, и Бауман с силой рванул руку в сторону, освобождаясь от цепких надзирательских пальцев.



В эту дольку секунды, все еще стоя у стены, только теперь спиной к ней, Бауман успел подумать с удивлением: как это он не слышал возни с засовами и замком и даже стука двери... Чепуха, подумал он, не мог я этого не заметить, просто не было этой возни, просто все подготовлено было уже, открыто!

Верно, так все и было, потому что через полминуты (еще и краска не схлынула с лица надзирателя) ворвались в камеру старший надзиратель корпуса и даже сам смотритель тюрьмы Вережкин, притом не было у них одышки, значит, все это время рядом находились, поблизости. Вережкину (для того хоть, чтоб рассеять такое подозрение) спросить бы, в чем дело, разобраться, но он обошелся, ничего не стал уточнять, крикнул лишь, выпучив глаза:

— В карцер!

Надзиратели (старший тоже) заломили Бауману руки за спину и повели его по коридору. Одна из дверей была приоткрыта, туда и втокнули Баумана. Массивная и тяжелая, как в несгораемом шкафе, дверь захлопнулась за ним.

Запершило тотчас, маслянистая горечь подступила к горлу: стояла в карцере непереносимая затхлая, гниlostная вонь. И только в следующее мгновение, после того уже, как принововился, дошло до его сознания, какая здесь аспидная, без малейшего просвета, воистину крошечная темнота. Открыты глаза или закрыты — разницы никакой, но ему показалось удобней обследовать новое свое жилище все же

с открытыми глазами. Сделал шага три, — руки коснулись влажной, сочившейся стены. Передвигаясь на ощупь, он едва не поскользнулся, каменный пол был покрыт ошутительным слоем липкой, вонючей слизи.

Тем временем подобрался к телу холод, и этот вызывавший невольную дрожь озноб был, как понял вскоре, мучительней всего, страшней даже, чем вонь и эта вот темнота.

Карцер отродясь, видно, не отапливался, оттого и сочлились, оттаивая по весне, стены. Тут и полушубок вряд ли спас бы, Бауман же был в одном нижнем белье да истонченном предшественниками арестантском халате. Он принудил себя присесть время от времени, резко взмахивать руками, разгоняя кровь.

Думал о случившемся... Он лежал, когда ожила, заговорила вдруг левая стена: «Кто здесь? Кто?» Ответив, он, в свою очередь, узнал, что узника, появившегося сегодня в камере № 57, зовут Таисия Акимов и что ей 23 года. Тут-то и ворвался к нему в камеру надзиратель, оборвал разговор. Но и того, что Бауман узнал, было достаточно, чтобы вспомнить, теперь уже в подробностях, в какой связи запомнилось ему это имя. Дело, по которому Акимову арестовали, было столь громкое, что молва о нем докатилась даже до Новых Бурас, небольшого сельца в Саратовской губернии, где в ту пору Бауман служил ветеринарным врачом. Суть же дела заключалась в том, что группа молодых людей, считавших себя преемниками «первомартовцев», готовила убийство только что вступившего на престол Николая II,

причем метнуть разрывной снаряд при въезде царя в Москву вызвалась, по слухам, именно она, Таисия Акимова...

Затекли ноги, нужно было походить. Шаг, еще, еще, приказал он себе. Не поскользнуться... Поворот... Теперь посидеть... на корточках... хоть немного... Так, хорошо... Боже ты мой, как хорошо все-таки на Волге! Нет, купаться еще рано: апрель, но можно просто ходить и ходить, и смотреть по сторонам, и пьянеть от земляного запаха прошлогодней травы... И это солнце... И лето... А скоро ведь лето... Лето! Сесть в лодку и грести, грести... А потом нырнуть... Нет, не очень глубоко: там холодно, даже летом... Холодно... Согреться... Раз, два... раз, два... раз — два-а-а... Время... На сколько меня хватит? Час, два?..

И тут, взнуздывая себя горячечным этим шепотом, он в ужасе понял, что теряет ощущение времени. Только степень усталости могла бы еще, пожалуй, стать мерилем его, но давно уж наступил момент, когда усталость не то чтобы исчезла, нет, конечно, просто достигла той крайней, на пределе напряженности, которая не поддавалась уже никакому измерению.

Видимо, времени прошло все-таки изрядно, потому что принесли ему уже воду и хлеб. В уверенности, что сейчас самое важное — отвлечься от мыслей о холоде, темноте и вонии, от всех этих чисто физических забот, он расслабился: разрешил себе ни в чем не ограничивать себя в воспоминаниях — лишь бы быстрее шло время, лишь бы не думать каждосекундно о необходимости двигаться и приседать. Но мозг не пожелал воспользоваться чрезвычайной этой милостью, распорядился по-своему, словно бы приказал думать именно о неотложном, обо всех этих хитрых и унизительных, но единственно сейчас необходимых заботах по сохранению остатка сил и тепла в теле, тем более что двигаться и проделывать безостановочно разнообразные движения было нужно еще и для того, чтобы не заснуть ненароком.

А лечь хотелось смертельно. В конце концов и можно было, махнув рукой на омерзительную эту слизь, покрывавшую все, преодолеть отвращение, но не ум даже, а инстинкт подсказывал, что, стоит лишь поддаться этому, и уже не пересиличишь слабость; подозревал также, что этого как раз и хотят тюремщики — сломить его, смять, растоптать. Ну уж дулки, сказал он себе. Шаг! Еще! Еще! Так, поворот!

Сколько времени провел он в карцере, он не знал. Казалось, вечность. И, должно быть, эта-то готовленность к тому, что пробудет здесь бесконечно долго, именно вечность, и помогла ему встретить надзирателя, пришедшего за ним, в полном и ясном сознании и, главное, на ногах. Он медленно и осторожно (как в карцере) шел по коридору, не чувствуя одеревеневших ног, после трех шагов чуть не повернул (тоже как в карцере), усмехнулся на это и пошел уже быстрее.

И минуты не дали ему отдохнуть — сразу повезли куда-то. Вскоре выяснилось: в департамент полиции. В комнате на первом этаже, где происходил давешний допрос, уже находились Пирамидов, товарищ прокурора Утин и подполковник из жандармов, но не Ковалевский, как в тот раз, а новый — Кузубов, как сообщено было тотчас.

Бауману предложили сесть, и он сел.

— Вы скверно выглядите, — сказал Пирамидов.

Бауман не ответил.

Тогда Пирамидов пожурил его:

— Нельзя же так расточительно относиться к своему здоровью.

Слова его доходили до Баумана как через вату,

но он улавливал все, даже почти натуральное сочувствие это. Бауман опять промолчал, но Пирамидов, вероятно, и не ждал ответа, потому что сразу, почти без паузы продолжил:

— Смею сказать, что непростительная в вашем положении роскошь — карцер. Эдак, поверьте, вас ненадолго хватит. Я, к сожалению, ничем не могу помочь вам: в тюрьме свои порядки. Так что на будущее вы уж сами, пожалуйста, соблюдайте необходимую осторожность. Договорились? Ну, а теперь — служба есть служба — нам надлежит приступить к допросу. Прошу вас, подполковник.

Кузубов уже приготовился было задать какой-то там свой вопрос, но Бауман опередил его и, обращаясь не к нему, а к Пирамидову, сказал, что в этом своем состоянии он не намерен отвечать ни на какие вопросы.

Пирамидов, вновь посочувствовав ему, заметил тем не менее, что проводить или не проводить допрос — это как-никак прерогатива следствия, так что Бауману не остается ничего иного, как подчиниться.

— Мне даже странно, — закончил он, — что приходится напоминать вам об этом.

— Воля ваша, — сказал Бауман. — Если вам угодно попусту терять время, тут я помешать вам не могу.

Пирамидов дружелюбно хохотнул.

— Довольно пикантная, согласитесь, получается ситуация. Следствие должно как бы согласовывать день и час допроса с обвиняемым!..

— Сколь я помню, обвинение мне еще не предъявлено.

— Оно будет предъявлено сегодня.

— Что ж, — сказал Бауман. — Тем больше у меня оснований уклониться от допроса.

— Что так? Не вижу логики.

— Как вы сами изволили заметить, я нынче неважно выгляжу. Сейчас я не то что разговаривать — сидеть не в силах.

— И все же, — после паузы сказал Пирамидов, — я полагаю, это легче, нежели находиться в карцере... — тут голос Пирамидова обрел вполне ощутимую жестокость, — откуда вы были, гм... и з в л е ч е н ы до срока исключительно по нашей просьбе...

Это можно было понять как угрозу нового водворения в карцер.

Бауман поднял на Пирамидова глаза.

— Уж не должен ли я, господин полковник, воспринять это как особое ваше благодеяние? — сказал он, отчетливо сознавая, к чему это может привести. — Я имею в виду вызволение меня из карцера.

Пирамидов сумел совладать с собой, даже воскликнул с улыбкой:

— О, вы еще в состоянии шутить!..

Потом серьезно уже:

— Хорошо. Каковы ваши условия? Я об этом спрашиваю, уповаю на ваше последующее благоразумие.

— Прежде всего, — сказал Бауман, — дайте мне возможность помыться как следует и сменить белье. Пирамидов кивнул.

— Далее: мне необходим плотный обед.

Пирамидов вновь кивнул.

— И последнее: я должен выспаться.

— Все? — с завидным хладнокровием спросил Пирамидов.

— Да, все.

— Одно встречное условие. На все это, включая сон, мы можем дать вам не больше четырех часов,

Сейчас около двух, на допрос вы будете вызваны в шесть. Согласны?

— Да.

Как ни мечтал он поскорей заснуть (это желание было сильнее всех остальных), но, попав хоть и в не топлённую, но с горячей водой баню, он провел здесь с добрых полчаса, не жалея ни воды, ни мыла, чтобы смыть с себя, содрать всю эту в самые, кажется, поры впитавшуюся нечисть. В камере его уже ждал вполне на вид сносный обед; есть, правда, не хотелось, пришлось заставить себя, вкуса еды он при этом не ощущал. Пока ел, ни о чем не думал. А когда лег на койку, и вовсе недосуг стало думать о предстоящем допросе. Едва голова коснулась подушки, сразу и заснул с ощущением, что все будет хорошо, все будет, как надо, только бы отдохнуть по-настоящему, выспаться. Проснувшись (разбудил его, тряся за плечо, надзиратель), он, однако, не почувствовал себя достаточно отдохнувшим: тяжелой была голова, ломило ноги и спину. Потребовалось, хотя и поторапливал надзиратель, смочить обильно голову водой, чтобы сбросить с себя сонную одурь.

6

Все эти четыре часа Пирамидов был неспокоен. Бесило его в особенности, что в столкновении с Бауманом не чувствовал он себя хозяином положения и что то, как повернется нынче допрос, зависело уже не от него, а от одного Баумана. Пирамидов понимал, что решение отложить допрос вызвано было не силой его, а бессилием, невозможностью настоять на своем. Не Бауману, а, пожалуй, ему самому и впрямь ничего иного не оставалось, как уповать на последующее благоразумие заключенного.

Но вопреки ожиданиям начало допроса было обнадеживающим. Выглядел Бауман бодро, да и настроен, кажется, миролюбиво: на приглашение сесть ответил учтивой благодарностью. И еще раз поблагодарил, когда Пирамидов, удостоверившись в добром его самочувствии, выразил удовлетворение по этому поводу.

— Ну-с,— сказал после всех этих любезностей Пирамидов,— теперь, я надеюсь, уже ничто не мешает нам приступить к допросу.

И Бауман — чуть дрогнули в улыбке губы его — ответил:

— Да, конечно.

— Приступайте, подполковник,— сказал Пирамидов и, как в прошлый раз, отсел в сторону.

Вопросы, какие Кузубов должен был задать сейчас, равно как и порядок их, были дословно известны Пирамидову, так как он сам составлял их, тщательно отшлифовывая каждую формулировку,— можно было теперь, не отвлекая на это свое внимание, понаблюдать со стороны, как будет разыграно сочиненное им действо. В особенности интересовало его, как и с каким выражением лица выслушает Бауман первый вопрос и затем уже, как станет отвечать на него; существенным представлялось и то, какая по длительности и напряжению пауза повиснет между вопросом и ответом. Это не было праздным (даже и в таком, впрочем, случае оправданным) любопытством. Нет, от этого первого вопроса, от того,

как он будет воспринят и какой последует на него ответ, зависел, по сути, успех не только нынешнего допроса, но, возможно, всего расследования. Пирамидов шел сегодня ва-банк. Вместо того, чтобы начать, как водится, с выяснения лежащих на периферии частностей и затем, подловив допрашиваемого на действительных или мнимых противоречиях, подвести его к необходимости признать главное, с этого главного Пирамидов и решил сегодня начать генеральный свой приступ, считая, что в случае удачи выяснить мелочи и частности уже не составит большого труда... Но что это там Кузубов (посмотрел на него) возится так долго? Пора бы!

И Кузубов словно уловил его нетерпение.

— Прежде всего вот что,— полуулыбкой скрашивая сугубую официальность тона, сказал он, в упор глядя на Баумана.— Признаете ли вы свою принадлежность к существующему в Петербурге преступному сообществу, носящему название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»?

Вопрос был поставлен точно так, слово в слово, как Пирамидов диктовал его давеча Кузубову, но сейчас, на слух, несколько неосторожным или, точнее, преждевременным показалось ему упоминание о преступности «Союза». Появилось опасение, что Бауман воспользуется этой оплошностью, возмутится. Пирамидов остро вглядывался, стремясь уловить перемены в его лице. Ни возмущения, однако, ни хотя бы удивления Бауман не обнаружил. Была, правда, пауза, но ровно такая, какая требовалась, чтобы вникнуть в вопрос. Ответ же был серьезен и деловит, ничего лишнего, только то, о чем спрашивалось.

— О существовании названного вами «Союза»,— тут Бауман извинился, что не запомнил полное название,— я услышал только что впервые. По этой причине я не могу ни судить о преступности упомянутого сообщества, ни тем более признать свою принадлежность к нему.

Сказано это было (перепроверял себя потом Пирамидов) весьма спокойно, без малейшего вызова — именно деловито. В пору было тут же и прекратить допрос, потому как остальные вопросы из числа заготовленных уже немногочисленные стоили после столь твердого и, нужно было признать, неуязвимого ответа. Пирамидов сделал последнюю попытку направить разговор в желательное русло и, пока Кузубов в заметном замешательстве гладил шрамик на подбородке, сказал с веселыми нотками в голосе:

— Должен повиниться: прискорбная эта осечка наша была нами предусмотрена. Этим я хочу сказать, что иного ответа мы от вас не ждали. Не странно ли в таком случае, что, несмотря на это, мы все же осмелились пойти на подобный риск? Крайне любопытно было бы узнать, чем вы объясните это...

— Мало ли.— Бауман пожал плечами.— Пробный шар, скажем.

— Провокация то есть? Ну-у,— протянул Пирамидов с обидой,— мы о вас более высокого мнения, чем вы о нас. Так что же, каково ваше объяснение? — вновь спросил он, но, поняв, что рискует остаться без ответа, сказал: — Хорошо, не напрягайтесь, я охотно помогу вам. Все дело в том, что мы располагаем вполне надежными данными, характеризующими вашу деятельность. Так что, отдавая должное вашей осторожности, я тем не менее опечален, что в ущерб себе вы были недостаточно искренни. Понимаю: вы хотите сказать, что не обязаны верить на слово. Ну что ж, вы правы, пожалуй. Итак, подполковник, продолжайте...

Пирамидов был доволен тем, как ловко повернул все. Но победителем он себя не чувствовал.

— Что вы можете сказать об Осипове, Цареве и Пилипце? — заговорил Кузубов.

Вот оно, подумал Бауман. Начинается.

— Кто это? — спросил он.

— Запомнили? — уколол было Кузубов, но сразу же перешел на серьезный тон. — Рабочие фабрики Штиглица.

— Нет, — сделав вид, что старается вспомнить, сказал Бауман. — Нет, таких не знаю. Да и вообще, смею уведомить, решительно ни с кем из рабочих я не знаком.

Кузубова не смутил такой ответ, вполне возможно, что и насмешку в тоне и в этом «смею уведомить» он не почувствовал. Он двигался вперед с неутомимостью дредноута, ни на градус не отклоняясь от курса, проложенного загодя Пирамидовым. Словно не услышав того, что сказал Бауман, он спросил, предвзвешенно сверившись с бумажкой:

— С какой целью в среде рабочих вы называли себя «Макаром Ивановичем»?

— Я уже говорил, что среди рабочих знакомств не имею. Следственно, не было и повода как-то особо им представляться.

— Каков характер вашего знакомства, — последовал новый вопрос, — со студентом технологического института Александром Спициным?

— Впервые слышу это имя, — сказал Бауман, невольно холодея в то же время от мысли, что Пирамидов и в самом деле не так уж мало знает; неужели все?

Но вслед за этим наступило несколько довольно спокойных минут: когда Кузубов, уточняя показания, полученные на первом допросе, спросил, давно ли и при каких обстоятельствах произошло знакомство его с братьями и сестрой Сущинскими. Вопрос был легче легкого, но Бауман позволил себе секунду-другую помедлить с ответом: в предчувствии более каверзных вопросов было совсем нелишне сбить темп допроса и, главное, исподволь приучить Пирамидова с Кузубовым к тому, что к ответам своим он подходит основательно и вдумчиво — даже к таким вот невинным.

— Как я уже имел случай сказать, — после паузы произнес он неторопливо, — с Владимиром Сущинским я учился вместе в гимназии, а потом в ветеринарном институте. В Казани же я встречал и Марию. Что касается Петра, то я познакомился с ним только здесь, в Петербурге. То есть в ноябре минувшего года.

— Да, — подтвердил Кузубов. — Все именно так. Только... тут он справился по бумажке, — только знакомство с Петром Сущинским произошло несколько раньше. В октябре.

— Возможно, — согласился Бауман. — У меня не было нужды запоминать это.

— Я вас понимаю, — сказал Кузубов, — факт и в самом деле малозначительный, не мудрено и запоминать. Да, все запомнить нельзя, — повторил он, — это верно. Но есть вещи, которые, вероятно, трудно забыть. Я имею в виду первую — первую! — вашу встречу с рабочими, первую сходку, которая произошла в январе... не седьмого ли?

Ошибки не было: седьмого.

— Я не знаю, о чем вы говорите, — сказал Бауман. С этой минуты он стал отрицать все, уже не разделяя вопросы на главные и второстепенные, потому что теперь все они касались сугубо конкретных фактов. В протоколе, который потом ему дали для ознакомления, ход допроса был зафиксирован хотя несколько и косноязычно, но вполне точно и обстоя-

тельно. Вот как все дальнейшее выглядело в тяжелой кузубовской записи:

«На сходке рабочих в квартире 18 дома № 67 по Слоновой улице я никогда не бывал. Не бывая на упомянутой выше квартире, я, естественно, не мог дать Цареву, Осипову и другим рабочим 4-го числа минувшего марта для распространения 28 экземпляров «Петербургского рабочего листка», а также «Летучий листок Комитета вольной русской прессы в Лондоне» № 33, «Работник», «Царь-голод», «Устав Центральной рабочей кассы».

14-го минувшего марта около 9 часов вечера я не был на свидании с Пилипцом в трактире «Кострома» и там не передавал Пилипцу для распространения в городе Рига завернутые в газетную бумагу 10 экземпляров брошюры «Объяснение закона о штрафах», 5 экземпляров листка «Рабочий день», 19 воззваний «Союза борьбы» возмутительного содержания и 80 экземпляров прокламаций, начинающихся словами: «Товарищи, почти каждый день мы недосчитываемся...»

Отобранный у меня по обыску револьвер и к нему шесть патронов куплены мной в 1896 году в Саратове с целью пользоваться им, как ветеринарному врачу, в случаях убийства заразных и неизлечимых животных...»

Читая протокол, продираясь через дебри кузубовских периодов, Бауман, как и во время самого допроса, думал главным образом о том, что нет, не одними только филерами (хотя и без них, верно, не обошлось) добыты эти сведения. Слишком явно было, что большую часть фактов мог сообщить лишь человек, бывавший на сходках. Все время Баумана мучило, кто бы это мог быть. И только когда речь зашла о Пилипце, стало ясно, что это он сообщил все жандармам, больше некому: последнее свидание с Пилипцом было наедине... Но и при этом Бауман страшился допустить, что Пилипец с самого начала был провокатором. Чепуха, говорил он себе. Не может этого быть. Скорей всего Пилипец был задержан с поличным и дал свои показания уже после ареста. По неопытности.

Заговорил вдруг Пирамидов. На лице его все была укоризненная, с примесью иронии улыбка, соответственно и в голосе сквозили насмешливые нотки.

— Вас можно было бы поздравить с несомненной победой, если бы... — неожиданно он прервал себя, повернулся к Кузубову: — Не записывайте, это не для протокола: просто разговор. — И опять к Бауману: — ...если бы все это (я имею в виду вашу позицию полного отрицания) не было похоже на детскую игру, может, и увлекательную, но столь же, прошу верить, и бесполезную. Ну посудите сами: какой смысл отрицать очевидное? — с довольно искренним недоумением сказал он, отлично в то же время понимая, что смысл был, ибо, пока существует суд присяжных, трудно рассчитывать (при отсутствии такого твердого и несомненного доказательства, как признание обвиняемого) на обвинительный вердикт; понимал он и то, что Бауман тоже знает это. Тем не менее он продолжил — не с недоумением даже, как раньше, а с состраданием уже: — Этим, поверьте, вы только осложняете свое и без того не очень простое положение.

— Ваша забота трогательна, — сказал Бауман. — Я весьма высоко ценю ее, — добавил он.

Бауман сказал это корректно, по видимости, смиренно даже, но подчеркнутая учтивость его ответа не могла обмануть Пирамидова.

— Вы оцените ее, мою заботу, еще выше потом, — усмехнувшись, ядовито заметил он. — Правда, рас-

кавание ваше может и запоздать, поскольку здоровье — самый в этих стенах скоропортящийся продукт. — И, чтоб мысль не потерялась, вполне дошла до сознания Баумана, еще и подчеркнул: — В этих стенах. Относительно же сроков вашего пребывания здесь ничего утешительного, увы, пообещать не могу. Оно может по вашей же вине затянуться на неопределенное время. — Пирамидов был доволен, что удалось найти своей угрозе столь элегантно упаковку, и по обыкновению не только не стал скрывать этого своего удовлетворения, но еще усилил его торжествующей улыбкой.

Ожидал, что Бауман по инерции или из естественного желания показать, что ему все трын-трава, тоже отзовется улыбкой, и занятно было, какая она получится у него, улыбка: жалкая, растерянная или, что вероятней, вызывающая? Бауман смотрел на него серьезно и устало. Только сейчас Пирамидов заметил у него темные, болезненные круги под глазами.

И в эту минуту Пирамидов с какой-то вдруг обостренной отчетливостью понял, что, как ни бейся, сколько ни допрашивай этого человека, сколько ни держи его в каземате, — все будет напрасным, вряд ли удастся вырвать у него признание.

7

Старший смотритель тюрьмы Веревкин, решив проявить усердие, попытался «усилить» режим для Баумана, заручившись в этом поддержкой самого коменданта крепости генерала Эллиса. По правилам, так, вероятно, и следовало поступить. Но Пирамидову удалось все же при содействии директора департамента полиции настоять на предоставлении Бауману некоторых послаблений; самым важным из них было право на регулярную переписку с родными.

Цель у Пирамидова была тут двоякая. Во-первых, желательно было проверить, не смягчился ли Бауман после столь неожиданных льгот. А главное — письма; на допросы Пирамидов давно уже рукой махнул: следовавшие один за другим, они заканчивались одной-единственной фразой в протоколе: «Я и в настоящее время ничего не желаю изменить из сказанного мной ранее», — так что только по письмам, по их тону и характеру и оставалось теперь судить о настроении Баумана.

В надежде заполучить хоть какой-то «ключик» Пирамидов не жалел времени на скрупулезное изучение этих писем (копии их, естественно, аккуратно подшивались к «делу»).

Вскоре после допроса Бауман писал домой:

«Дорогие родители, братья и сестра!.. Ничего интересного сообщить, конечно, не могу. Пребываю все в том же учреждении, и сколь долго засижусь здесь, трудно предугадывать. Узнал, в чем меня обвиняют. Чем кончится процесс, не знаю. Во всяком случае, придется вооружиться терпением... Так-то обстоят мои делишки».

Дальше следовали вопросы о здоровье родителей, совет сестре Эльзе непременно отдохнуть летом в деревне. И в конце:

«С. тюремной обстановкой я освоился, здоров».

Пирамидов с нетерпением ждал письма из Казани: верилось, что волнение родителей, их смятенность выбьют Баумана из равновесия. Но первым пришло письмо от брата, приехавшего учиться в Петербург, — от Петра. Он сообщал довольно давние новости — о том, к примеру, как мать тревожится, прослышав о возможной войне с турками, тревожится, не заберут

ли Баумана и другого брата (Эрнеста, Эрочку) в действующую армию, где «ведь так легко погибнуть». Письмо было неумное, мальчишеское, с нотками даже гордости за брата, сидящего в «самой» Петропавловке... но, распорядившись после некоторого колебания передать все же письмо по назначению, Пирамидов рассчитывал на то, что Бауман поймет: если мать способна взволноваться по поводу нелепых слухов о каких-то турках, каково же будет ее потрясение, когда узнает, в какую уже не выдуманную беду попал сын. Вряд ли после этого удастся Бауману сохранить доброе расположение духа, вряд ли...

На следующий день вечером Пирамидову доставили ответ Баумана, вернее, новое его письмо родным в Казань. Бауман успокаивал родителей, это естественно, но как успокаивал, как!..

Помня о тревогах матери насчет войны с турками, он писал:

«Другая война не только предстоит, но и началась у меня. Война с одиночеством».

Так и написано: одиночество. Пирамидов обрадовался — такое признание дорого стоило. Тем неожиданной для него было то, что следовало дальше, — Пирамидов воспринял это почти как вероломство.

«Не представляю себя, — читал Пирамидов, еще не ведая, что ждет его через несколько строк, — в рядах вооруженной армии... Здесь же прямо и храбро гляжу на своего несложного, бесстрастного, но зато действительно неприятеля — на своды тюремной камеры».

И дальше с предельной уже откровенностью:

«План кампании выработан, тактика изобретена и проверена, и я выступил на поле сражения, твердо надеясь вести победоносную борьбу. Вот почему, дорогие родители, убедительнейше прошу вас не тревожиться, не причинять себе лишних страданий, узнавши о постигшей меня судьбе. Вы, конечно, можете возразить мне на мои утешения: «Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht» («Тяжелое сердце никакие слова не облегчат», — перевел Пирамидов). Знаю и очень хорошо знаю. Но я знаю также и то, что люди страдают за других часто потому главным образом, что они преувеличивают несчастье своего ближнего. И в данном случае я хотел только иллюстрировать вам свое настроение, чтобы незнание последнего не было причиной такого преувеличения...»

Пирамидов не хотел себя обманывать. Он понимал, что слова эти не были просто утешением. Бауман скорей всего и в самом деле не притворялся.

Никак не выходила у Пирамидова из головы одна фраза, он даже подчеркнул ее в своей подшитой к «делу» копии: «План кампании выработан, тактика изобретена и проверена, и я выступил на поле сражения, твердо надеясь вести победоносную борьбу». Это вполне можно было бы считать за хвастовство, если бы... да, если бы Пирамидов и раньше не чувствовал, что Бауман действует не по наитию, а именно сообразуясь с какой-то своей тактикой. Теперь же все окончательно прояснилось, встало сразу на свое место — все то, что прежде воспринималось разрозненно и потому не всегда поддавалось здравому объяснению.

Сутки продержал у себя это письмо Пирамидов, все не мог решить, стоит ли отправлять его в Казань.

Отправил все же. Очень уж не хотелось признавать перед тюремными начальниками их правоту, тем более что генерал Эллис, человек злоязыкий, не преминул бы напомнить ему о такой его очевидной недалекости. Но генерал Эллис, комендант Петропавловской крепости, сам же и дал вскоре Пи-

раמידову возможность достойно выйти из затруднения: своим приказом запретил Бауману, по другому уже поводу, переписываться, поставив об этом в известность через голову Пирамидова непосредственно департамент полиции. Текст его отношения был такой:

«Его превосходительству С. Э. Звоянскому,
директору департамента полиции

Во время содержания в крепости Николай Бауман за то, что стучал в соседние камеры, был посажен по приказанию моему на сутки в темный карцер. Взыскание это мало на него подействовало. Пользуясь разрешением иметь письменные принадлежности, оборвал поле книги, написал на нем в соседний номер (Акимова) записку, заложил написанное в карешку книги и посредством стука сообщил, какую книгу следует потребовать из библиотеки, чтобы найти там написанное. Вследствие принятых мер книга не была выдана и написанное по назначению не дошло. За подобный проступок арестованный Бауман по приказанию моему совершенно уединен и лишен права иметь письменные принадлежности...

Генерал А. Эллис,
комендант Петропавловской крепости».

Пирамидов не без тайной радости присовокупил документ этот к «делу» — на сей раз, само собой, и не помышляя о возражениях.

Долгое время после этого — месяцы — Пирамидов не принимал участия в допросах, изучал лишь протоколы. Не то чтобы он вовсе потерял надежду добиться признания, просто не было уже времени для этого. Новая волна арестов требовала к себе тем большего внимания, что количество арестованных исчислялось уже десятками. Размеры социал-демократического движения возрастали с каждым днем, оно перешагнуло уже границы Петербурга и Москвы, захватило Киев, Одессу, Екатеринослав, Елисаветград; в этих и нескольких более мелких городах появились свои «Союзы борьбы». Дело дошло до того, что в Минске состоялся съезд, провозгласивший создание партии — Российской социал-демократической рабочей партии.

Но однажды Пирамидов все-таки оторвался от других своих забот и, дабы подчеркнуть неофициальность разговора, не Баумана вызвал к себе, а сам явился к нему в камеру. Поводом для визита было прошение матери Баумана, каким-то образом узнавшей о признаках цинги у сына. Нет, Пирамидов не собирався выяснять, как Бауману, давно уже лишенному права на переписку, удалось сообщить о своей болезни на волю. Попросту хотелось своими глазами взглянуть, какова будет реакция на письмо, которое даже у него, у Пирамидова, вызывало страдание. Само собой, не исключал при этом Пирамидов и возможности склонить Баумана к благодарности, ради матери хотя бы.

«Его превосходительству
господину директору департамента государственной полиции

Мины Карловны Бауман

ПРОШЕНИЕ

Вот уже 14 месяцев, как родной сын мой, Николай Бауман, сидит в крепости. Сперва я не хотела верить этому. Единственное утешение мое на старости лет, любимый сын мой, которым я жила, этот сын в тюрьме! Только мать или отец, горячо любящие своего ребенка, могут понять, как велико поразившее меня горе. В последнее же время оно еще усилилось, когда

я узнала, что здоровье моего сына расстроилось. А Вы знаете, Ваше превосходительство, что значит для матери болезнь ее ребенка. Сколько слез и бессонных ночей прибавит она к моей уже и без того не-радостной жизни! Неужели же Вы, Ваше превосходительство, не поймете всей глубины моего горя и не исполните моей нижайшей просьбы, просьбы матери, которая только на Вас возлагает всю надежду? Я умоляю Вас именем Ваших детей, именем самого Христа облегчить участь моего сына и выпустить его на свободу. Если же этого нельзя сделать, то хотя бы перевести его из крепости в дом предварительного заключения. Там, как я слышала, условия жизни все-таки лучше, чем в крепости, и, может быть, здоровье моего сына поправится. Это единственная надежда, которая у меня остается. Не отнимайте же ее, Ваше превосходительство, у бедной старой матери, не откажите исполнить мою просьбу. Мои самые искренние и горячие молитвы послужат Вам благодарностью».

Прочитав прошение и вернув его Пирамидову, Бауман долго смотрел в одну, где-то левее Пирамидова помещавшуюся точку. Глаза его были влажные, и, что больше всего удивило Пирамидова, он не скрывал слез, не стыдился их.

— Я сожалею, — прервал молчание Пирамидов, — что познакомил вас с этим. — В голосе его и действительно было сожаление. — Тем более я вовсе не обязан был это делать. Простите.

Бауман невидяще глядел на него.

— Отчего же, — глухо сказал он. — Напротив, я благодарен вам. — И, помолчав, добавил: — Все-таки вестъ из дому.

— Поэтому я и осмелился, — сказал Пирамидов и, радуясь тому, что, как и хотелось, налаживается, кажется, вполне неофициальная беседа, поспешил закрепить это. — Я не знал, что вы больны. Цинга?

— Да, — сказал Бауман, — цинга. Также нервы. — Бауман не жаловался, нет; и не обвинял; просто готовился, как понял потом Пирамидов, к тому, чтобы сказать нечто язвительное. — Так что вы были правы, — сказал он, — когда говорили о пагубности здешних стен для здоровья.

— Вы никогда не жаловались.

— Какой смысл?

— Да, конечно. И все-таки: чем бы я мог вам помочь? Все, что в моих силах...

— Ничем. Разве что убрать эти стены.

Усмехнулся и Пирамидов.

— Нет, уж этого-то я делать не стану!

— Отчего же? Боятесь без работы остаться?

— Это мне не угрожает... к сожалению! — Сказав это, Пирамидов почувствовал, что нехорошо это сказал, слишком серьезно, и, боясь потерять непринужденность тона, постарался смягчить эту серьезность не бог вестъ какой, но все же шуткой: — О, вам куда легче живется, чем мне!..

— Поменяемся?

Посмеялись оба.

Отсмеявшись положенное, Пирамидов сделал новую попытку овладеть положением, сказал с улыбкой легкого превосходства:

— Как вы понимаете, я пришел сюда отнюдь не допрашивать.

В широко расставленных глазах Баумана обозначился неподдельный интерес, как если бы ждал он заведомой уловки, готовый тотчас уличить в ней. Заметив это, Пирамидов раздумал говорить то, что собирався. Решил вдруг, по наитию, что лучше идти в открытую.

— Тем не менее, — с добрым, сродни вдохновению

замиранием в сердце сказал он, — я крепко соврал бы, если бы сказал, что не надеялся как-то повлиять на вас. Хотя особой надежды не возлагал. Но главное — и этому прощу верить — хотелось поговорить с вами по душам, насколько это, конечно, возможно в нашем с вами положении. Цель, спросите вы? Извольте: понять некоторые нюансы... Нет, не думайте, я не стану спрашивать, почему вы упорно отрицаете все. Я понимаю, вы заботитесь в данном случае не только о себе, но и о тех, многих, что связаны с вами. Это похвально. Нет, нет, я далек от иронии, такая позиция ваша и в самом деле не так глупа, поскольку трезво учитывает обстановку. Все правильно, без вашего признания мы не рискуем вынести дело на суд присяжных. — Улыбнулся. — Хотя, разобраться, какая вам, собственно, разница: будете вы сосланы по приговору суда или во внесудебном, административном порядке? Но это я так, полутно, и речь сейчас не о том. Объясните мне вот что: почему вы так часто оказываетесь в карцере? Ведь вы легко можете избежать его, стоит лишь не нарушать режим. Не правда ли? Не скрою, мною движет не столь человеколюбие (да и будь это так, вы ведь все равно не поверите), сколько обыкновеннейшее любопытство. За неимением достоверных сведений я даже позволил себе сочинить некую теорию на сей счет. Любопытно? — чтоб создать хоть видимость диалога, спросил Пирамидов, не особенно рассчитывая на ответ.

Но Бауман откликнулся.

— Я слушаю, — неопределенно сказал он.

— Так вот к какому выводу я пришел, — продолжал Пирамидов. — Пуще всего вы боитесь, чтобы мы не подумали, будто вас, э... сломили, или подчинили, или что-нибудь еще в этом роде. Словом, вы хотите, чего бы то ни стоило, утвердить себя как личность, вернее, как независимую личность. Я не прав?

— Допустим, правы. И что?

— В общем, ничего, конечно. Просто я подумал, что для столь серьезного, как вы, работника неразумно изливаться подобным образом... — И Пирамидов высоко поднял в знак своего удивления брови.

— Помнится, — без улыбки сказал Бауман, — однажды, помнится, я уже благодарил вас за заботу. Мог бы я знать, чему обязан ей?

— Я и сам не раз спрашивал себя об этом, — подумал на ходу Пирамидов.

И после паузы, уже не сомневаясь, что только такой, на предельном чистосердечии разговор уместен сейчас, сказал:

— Вы чем-то занимаете меня. Может быть, дело и не в вас, а во мне: не так уж часто бывают у меня осечки... А уколы самолюбия, как давно замечено кем-то, самые чувствительные. Впрочем, вы ведь все равно мне не верите. Ни на грош не верите, — сказал он, подводя черту.

— Нет, почему, — сказал Бауман. — Вероятно, вы говорите правду. Меня особенно заинтересовало ваше рассуждение о самолюбии и его уколах.

Пирамидов инстинктивно почувствовал, что сейчас последует что-то очень обидное для него, но сумел прикрыть свою обеспокоенность осторожным смешком.

— И в каком, простите, плане? — сказал он с заинтересованностью человека, ждущего шутку и готового по достоинству оценить ее.

Чуть не обмануло Пирамидова. То, что сказал Бауман вслед за этим, царапнуло весьма болезненно.

— В том плане, господин полковник, — сказал Бауман, отчетливо выделяя каждое слово, — в том плане,

что, как тоже кем-то давно и мудро замечено, люди, чье самолюбие уязвлено, редко прощают это. Чаше мстят.

Улыбнулся все же Пирамидов, удалось.

— Вы занятно шутите, — сказал он с этой своей прилежной улыбкой. — Хотя, быть может, и несколько неосторожно.

С тем и ушел, посмеиваясь.

Но долго еще, много-много дней не покидало его чувство, что большего поражения не было у него, чем в этот его более чем бессмысленный визит. Обидно было и то, что Бауман явно переоценил его всеисилие. Мстить или не мстить было, увы, вне его возможностей: не он решал вопрос о наказании и не в его власти было уже продлить срок заточения в крепости, — дело Баумана две недели назад было направлено в министерство юстиции, где, сообразуясь с повелением государя, и будет определено (без суда, разумеется), какая кара последует. По обыкновению, ссылка, должно быть. Года на два, на три — не так уж и страшно, подумал он. Совершеннейшие пустяки.

8

Бауман чувствовал себя, как если бы бежал не просто даже на длинную — на бесконечную дистанцию. Приходилось так же точно беречь силы, чтоб не сбить дыхание, чтоб, надорвавшись, не упасть замертво раньше срока.

Трудней всего дались первые недели. Потом, когда счет пошел уже на месяцы, стало легче. И было непонятно, в чем тут дело. В том ли, что со временем освоился с одиночкой, притерпелся (да нет же, чушь, сказал он себе, к этому разве привыкнешь!). В том ли, что обрел наконец второе дыхание. Или же все дело в той извечной житейской логике, по которой, как водится, дни тянутся медленно, месяцы же и годы проходят незаметно. Вероятно, и то предположение, и другое, и третье были не так уж беспочвенны, но одновременно не покидало ощущение, что разгадка таится еще в чем-то.

И точно. Вспомнил: перелом наступил после первого карцера и допроса, следовавшего за ним; как раз тогда, совладав с тем и с другим, он впервые понял, что способен теперь и не такое выдерживать, надо только успокоиться внутренне, а главное, не жалеть себя. Нет ничего страшнее этой жалости к себе.

Лучше злиться. Да, лучше злиться. На то, к примеру, как бездарно (оттого, что начисто выключен из работы) проходит время: с ума сойти, 21 месяц, два года без малого! Или на то, что, хоть удались, не дают ни писать, ни читать. На того же в конце концов Пирамидова с его иезуитскими ухватками. Такая злость, он уже убедился в этом, прибавляла ему силы, вносила в жизнь его ясность, а в душевный настрой прочность, и Бауман мог уже спокойно, без крайностей поразмыслить над некоторыми странностями расследования.

К числу наибольших этих странностей относилось то, что Пирамидов (Кузубова, хотя вел допросы он, Бауман как-то не принимал в расчет: слишком очевидно, что тот был лишь исполнителем) до сих пор не додумался сделать ему очную ставку с Пилипом. Чего проще, казалось бы. Не додумался?.. Нет, не похоже, подумал он. Значит, тут другая причина. Знает... Да, скорей всего именно так: опасаясь, что я и на очной ставке буду все отрицать, он попросту

не хочет, чтобы в деле фигурировал еще один документ, по всем пунктам отвергающий обвинение.

Впрочем, надежды на то, что выпустят подобру-поздорову, Бауман не питал. Рано или поздно — будет суд или нет — последует, вероятно, ссылка и, вероятно, в Сибирь.

Ссылка, даже и на длительный срок, не пугала его. И потому, что будешь там не один, а с товарищами. И потому, что появится возможность подналечь на политическую литературу. А главное, потому, что он не собирался очень уж задерживаться в ссылке. Правда, дальнейшая, после побега, жизнь его рисовалась ему как бы в тумане, в том смысле, что, находясь в Петропавловке, не имел понятия, где, как и какого рода революционной работой будет он заниматься. Собственно, одно лишь и было ясно, что с пути, избранного им — пути профессионального революционера, — он уже не сойдет.

Воистину неожиданное — это то, чего очень, очень ждешь. Бауман подумал об этом, когда надзиратель доставил его в тюремную канцелярию, где сам комендант крепости генерал Эллис старческим своим, надтреснутым, но исполненным значительности и торжественности голосом объявил стоя:

— Имею честь поставить вас в известность о нижеследующем... — И, не отрывая глаз от бумаги, зачитал, слегка путаясь в казуистических оборотах, но все с той же торжественностью: — «Государь Император, по всеподданнейшему докладу министра юстиции по обвинению ветеринарного врача Николая Баумана в государственном преступлении 12 декабря 1898 года высочайше повелеть соизволил: разрешить означенное дело в административном порядке с тем, чтобы, по вменению Бауману в наказание предварительного содержания под стражей, выслать его под гласный надзор полиции в Вятскую губернию сроком на четыре года, по 12 декабря 1902 года...»

9

Из-за обычных полицейских проволочек лишь к середине января попал он в Орлов, предписанием вятского губернатора определенный ему для отбывания ссылки. Городишко этот, затерявшийся в лесах на севере весьма обширной губернии, несмотря на свой уездный сан, был скорее селом с тысячами четырьмя жителей, занятых рыболовством на Вятке и лесным всевозможным промыслом.

Колония политических ссыльных была здесь довольно многочисленной, человек двадцать — и, боже ж ты мой, кого здесь только не было! Помимо людей, считавших себя народниками, помимо социал-демократов, было немало и таких, чьи политические устремления были более чем смутными. Но даже и эти последние знали то, чего не знал, да и не мог знать отгороженный от мира стенами Петропавловки Бауман.

Только в Орлове он узнал, что в марте 1898 года, то есть год, почти год назад, представители нескольких революционных организаций, собравшись тайно на свой первый съезд в Минске, провозгласили создание Российской социал-демократической рабочей партии; вскоре все девять делегатов съезда были арестованы. Узнал об этом Бауман чуть не месяц спустя после того, как поселился в Орлове, — узнал от Потресова, члена петербургского «Союза борьбы». Бауман сразу же сошелся с ним, но и, дорожа дружбой с ним, не стал скрывать своей обиды: как

же это можно — целый месяц молчать о таком? Говорить о всякой всячине, а об этом — молчать?

Потресов шутливо поднял руки.

— Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! Но кто же мог подумать, что вы до сих пор не слыхали об этом! Касаться этой темы стало дурным тоном — столько говорено-переговорено. Так что не сердитесь, не надо. Право, тут нет никакого умысла. Я вполне понимаю вашу радость, сам переживал то же самое... — Помолчав, он неожиданно сказал: — Ничего, переболел. — Дразнище поглядывая на Баумана, он повторил: — Переболел.

Бауман знал за ним эту страсть к розыгрышам, спросил:

— Шутите?

Потресов поднялся со стула, прошелся по комнате.

— Только не торопитесь гневаться, послушайте сначала.

Потресов сказал, что он вовсе не склонен уменьшать заслуги съезда. Сама попытка создать партию — одним этим уже сделан шаг вперед. Крупный шаг! Но... тут Потресов прервал себя, принялся оглаживать жгуче-черную свою ассирийскую бороду, как всегда делал, когда нужно было собраться с мыслями.

— Но не следует, Николай Эрнестович, закрывать глаза и на другое, — сказал он. — Не надо забывать, что, несмотря на съезд, партии как таковой еще нет. В местных организациях по-прежнему царит разброд. Как и раньше, нас разъедает кружковщина. Нет программы, устава партии, нет единого руководящего центра, нет, наконец, печатного органа. По существу, ничего не изменилось. Я не пессимист, нет. Просто я за трезвый подход. Только при этом условии можно рассчитывать на победу.

— Значит, можно все-таки рассчитывать? — иронически вставил Бауман: он считал, что Потресов в оценке положения дел на местах чересчур уж сгущает краски.

Потресов с удивлением посмотрел на него.

— Не только можно, но и должно — как же иначе! Но для этого нужно отрешиться от сладкой иллюзии, что партия уже есть, и устремить все усилия на то, чтобы создать, вернее, воссоздать ее сызнова. А то ведь срам, до чего дело дошло! Любый «экономист» нынче не только числит себя в социал-демократах, но и считает себя вправе поучать всех и вся. Как говорится, можно бы дальше, да некуда! — Обычно сдержанный, даже чопорный, Потресов, кажется, не на шутку развоевался; Бауман впервые видел его таким. — Э, да что там долго говорить, стоит взглянуть на нашу хотя бы колонию. В ней, как в капле, отражаются все процессы нашего движения.

— В таком случае, — сказал Бауман, — надо как можно скорее собрать второй съезд. Он и разрешит наболевшие вопросы.

— Сразу? Без подготовки? Простите, но это не серьезно. Прежде чем объединяться — а любой совместный съезд, хотим мы того или нет, это объединение, — надо размежеваться. Эти слова, кстати, принадлежат Ульянову. На днях я получил от него письмо из Шушенского, он там отбывает ссылку. Постойте, да вы с ним, должно быть, знакомы! По Питеру!..

— Нет, — сказал Бауман. — Когда я приехал, он был уже арестован. Но я много слышал о нем.

— Ах, как жаль, что вы его не знаете! Это удивительный, совершенно неповторимый человек. Впрочем, мое мнение не так уж важно, сошлюсь лучше на Плеханова. Когда года четыре назад Ульянов

побывал у него в Швейцарии, Плеханов написал моему старинному, с гимназии еще, другу Петру Струве в том смысле, что за период многолетнего его пребывания за границей у него перебивало большее число лиц из России, но что, пожалуй, ни с кем не связывает он столько надежд, как с этим молодым Ульяновым. Насколько я помню, еще он отмечал в том письме удивительную эрудицию его, и целостность его революционного мировоззрения, и бьющую ключом энергию. Все, до точки, верно! Я бы к этой оценке Ульянова добавил только практическую зрелость его и, я бы сказал, трезвость, какое-то особое бесстрашие мысли. А знали бы вы, сколько лично я обязан ему! Это я ведь только сейчас «полевел», а тогда, в 93-м, был, не без влияния Пети Струве, отчаяннейшим «легальным марксистом»... Я отвлекся, простите. Суть же дела в том, что в нынешней обстановке любое объединение будет механическим и потому бесплодным, даже вредным.

Бауман остался при своем все же мнении: что расхождение в среде социал-демократов не столь уж велико, а противоречия между различными группами не очень существенны, во всяком случае, должны отойти на второй план перед лицом той огромной задачи, что стоит перед всеми. Нет, сказал он напоследок, я не вижу оснований оттягивать созыв съезда.

Дальнейшие события, однако ж, показали, до какой степени он был неправ.

В конце лета Потресов получил от Ульянова, из Сибири, написанный им документ, называвшийся «Протест российских социал-демократов». Поводом для этого протеста послужило так называемое «Кредо», сочиненное мадам Кусковой и поддержанное другими петербургскими «экономистами».

Собственно, ничего нового или неожиданно (в сравнении со взглядами тех же «молодых») в «Кредо» не было, кроме разве попытки сформулировать, привести в некую систему воззрения, выдававшиеся ими за «новое» слово социал-демократической мысли. Кускова утверждала, что рабочий класс России еще не созрел для политической борьбы. Удел рабочих — вести экономическую борьбу с предпринимателями; что же до борьбы с самодержавием, то это (по Кусковой) — исключительно дело либеральной буржуазии.

Бауман читал и удивлялся: утверждать подобное сегодня, сейчас — уму непостижимо!.. Подписавшие «Протест» семнадцать ссыльных марксистов Минусинского округа, справедливо расценив «Кредо» как шаг назад в развитии русской социал-демократии, заканчивали послание просьбой ко всем группам социал-демократов высказать свое отношение к поднятому вопросу, чтобы устранить разногласия и ускорить дело организации и укрепления партии.

Вздорность «Кредо», его неприкрытая оппортунистическая сущность, казалось, были очевидны... но, вот поди ж ты, какие жаркие споры захлестнули всю орловскую колонию! Выяснилось вдруг, что у «Кредо» не так уж мало сторонников. И, самое обидное, далеко не всех их удалось переубедить. Тем не менее большая часть политических ссыльных Орлова присоединилась к «Протесту».

Примерно в это же время Потресов посвятил Баумана в вынашиваемый Ульяновым план воссоздания партии при помощи общерусской газеты, издаваемой за границей. Эта газета, по мысли Ульянова, должна стать тем идейным и организационным центром, вокруг которого объединится все живое, истинно революционное.

А еще через несколько дней Потресов, ликуя, сообщил, что Плеханов и вообще вся группа «Освобождение труда» горячо поддерживают идею Улья-

нова. Сам же Потресов, срок ссылки которого подходил к концу, уже дал согласие принять практическое участие в выпуске газеты. Бауман потерял покой, каждый день, проведенный в Орлове, стал в тягость. Он вплотную занялся подготовкой к побегу.

Отыскивая наилучшие варианты побега, он несколько раз, испросив специальное на то разрешение от самого губернатора (так положено было), ездил в Вятку, лечить якобы зубы; слежка там за ним велась в открытую, шагу без «хвоста» нельзя было сделать. Зато не возбранялось ссыльным уходить в лес на охоту. Однажды, для проверки, он пробыл на охоте три дня — и ничего, сошло. Исправник, осмотрев трофеи, сказал только, что в другой раз надо бы ставить его в известность о своих намерениях.

Под видом дальней охоты, приурочив ее к последнему, в преддверии зимы, пароходному рейсу, Бауман и решил скрыться.

10

Вятскому губернатору

20 октября 1899 г.

Р а п о р т

Сим сообщаю, что находящийся под гласным надзором полиции государственный преступник Николай Эрнестов Бауман 15 сего октября неизвестно куда из Орлова скрылся.

Орловский уездный исправник (подпись).



В департамент полиции

30 октября 1899 г.

Состоящий в г. Орлове под гласным надзором полиции ветеринарный врач Николай Эрнестов Бауман 15 сего октября из места жительства неизвестно куда скрылся.

Сообщая об этом, имею честь присовокупить, что о розыске Баумана сделано распоряжение.

При сем препровождается картина, найденная в квартире названного лица при охране оставшегося его имущества.

Вятский губернатор (подпись).



Ц и р к у л я р о лицах, подлежащих розыску

Министерство внутренних дел.

Департамент полиции по особому отделу

13 декабря 1899 г.

№ 2263

Бауман, Николай Эрнестов, ветеринарный врач, из мещан, родился 17 мая 1873 г. в г. Казани. Вероисповедания лютеранского, немец, русский подданный... холост... Привлекался к дознанию по делу о С.-Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» и по высочайшему повелению... выслан под гласный надзор полиции сроком на четыре года в Вятскую губернию, где и водворен в г. Орлове. 15 октября 1899 г. скрылся из места жительства...

Приметы: рост 2 арш. 6 и три четверти вершка, телосложение хорошее, белокурый, борода слегка рыжеватая, глаза серые, размер их в 3 сантиметра, нос с небольшим горбом, размер его 6 с половиной

сантиметра, на переносье рубец... тембр голоса — баритон, походка скорая, слегка развалистая...

Как поступить по разысканию и особые примечания: Арестовать и препроводить в распоряжение Вятского губернатора, уведомив о сем департамент полиции. Обратить особое внимание. Фотографическая карточка имеется.

II

Встреча должна была состояться в кафе у Ландольта. «После обеда», — сказал Потресов. Бауман пришел сюда в двенадцать, понимая, что пришел рано.

Август выдался жаркий, было душно. Оглядевшись, Бауман выбрал столик у окна: оно было открыто.

Тотчас подлетел официант. Бауман заказал кружку пива, здесь оно всегда подавалось холодное, из подвалов.

Даже и у окна, однако ж, было душно, да еще теснили сюртук и с тугим, под галстук, воротом рубашка. Он ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговку — вроде легче стало. В такой ранний час он попал к Ландольту впервые и очень удивился тому, что среди редких посетителей, явно случайно забредших сюда, не оказалось ни одного знакомого лица. Впрочем, сейчас это было и к стати, подумал он; у него не было ни малейшего желания учтиво кланяться, улыбаться, вести ни к чему не обязывающие разговоры или, того хуже, ввязываться в пустопорожние дискуссии.

Кафе «Ландольт» с недавней поры стало своеобразным клубом для русских революционеров. Те из них, что нашли себе хоть на день приют под благословенным женевским небом, сходились сюда вечером, чтобы разузнать новости (больше, правда, походявшие на сплетни), а главное — поспорить. Поводов же для споров и ругани было предостаточно, потому что чуть не у каждого имелись свои объяснения как сложившегося в России положения, так и перспектив революционной борьбы.

Единства зачастую не было ни по одному пункту, и многие, отчаявшись отстоять свою точку зрения в честной дискуссии, начинали заводить склоки и интриги. Думать Бауману об этом было тем более неприятно, что самым, пожалуй, злобным и несправедливым наветам подвергались Плеханов и вся группа «Освобождение труда» — и главным образом за то, что группа эта стояла в стороне от дразг, не боясь ни упреков в высокомерии, ни обвинений в трусости.

Вскоре Бауман пожалел, что устроился у окна. Проходивший мимо человек с коротким туловищем и непомерно большой головой, увидев его, радостно всплеснул руками и, не замедлив зайти в кафе, направился к столику Баумана, расpiraемый, судя по всему, наисвежайшими новостями. Человека этого звали Витольд. Бауман не знал толком, что это: имя, фамилия или кличка? Впрочем, Витольд этот, наиболее шумливый из завсегдатаев «Ландольта», столь мало интересовал Баумана, что он не знал и того даже, к какой партии причислял тот себя; скорей всего он был «сем по себе», потому что, споря едва ли не ожесточенней всех, не высказывал, как помнилось, никакой сколько-нибудь позитивной программы — и вряд ли только из конспиративных соображений; Бауману были не в новинку подобные деятели, специализирующиеся лишь по части критики...

Едва присев, Витольд придвинулся поближе, заговорщически сообщил:

— Вы слышали — на нашем горизонте объявился Ульянов?!

При этом он впился в Баумана своими умными черными глазами, полагая, должно быть, обнаружить в своем собеседнике крайнюю заинтересованность, или удивление, или, возможно, даже восторг по поводу этой своей чрезвычайной новости.

Бауман с каменным лицом разглядывал его.

— О, так вы ничего не знаете?! Этот Ульянов, Владимир — брат того Ульянова, которого лет десять назад казнили за покушение на императора! Как мне говорили, он находился в сибирской ссылке, теперь вот явился сюда. И для чего бы, вы думали? Для переговоров с Плехановым! Да, с самим Жоржем — как-то? О, представляю, какая будет у них драка! Этот Ульянов, смею вас уверить, предрезкий молодой человек...

Врет, подумал Бауман. Незнаком он с Ульяновым.

— Вы что, его знаете? — спросил он.

— Как же, как же! — воскликнул Витольд. — Мне довелось его видеть однажды, когда он, совсем совсем юный, делал, так сказать, первые шаги на политическом поприще. Это было в Москве в... да, зимой девяносто, если мне не изменяет память, четвертого года. Я присутствовал при одном его споре... в качестве статиста, разумеется. Он спорил с самим В. В. — Воронцовым! Слыхали? Знаменитый в ту пору был человек! Народник! Уж не помню, у кого мы собрались, помню только — пили чай, вели степенные теоретические разговоры, вернее, все мы внимали Василию Павловичу Воронцову. А его и впрямь заслушаться можно было: умница, эрудит... И вот является некий молодой человек («петербуржец», — так его представили) и — можете верить, можете не верить — под орех разделяет многомудрого В. В. Видели бы вы этот темперамент, этот максимализм в суждениях! И главное — какой водопад строго научных доказательств, статистических сведений, всевозможных цифр обрушил он на голову бедного В. В., опровергая его по всем решительным пунктам! Спор шел о путях развития капитализма, да... О нем, об Ульянове, уже тогда заговорили как о восходящей в среде марксистов звезде, и если за минувшие годы он не поистер себе зубы, — о, Жоржу туго тогда придется! Верьте слову, в самое ближайшее время мы станем свидетелями такого, такого!.. — Витольд захлебывался от предвкушения удовольствия, черные глаза его были возбуждены.

— Вы-то на чьей стороне? — спросил Бауман.

Витольд расхохотался.

— Я? Ни на чьей, разумеется! Ни тот, ни другой не годятся в мессии — да, да, да! Делать ставку на пролетариат, темный, невежественный, дикий, могут только безумцы.

— На кого же, позвольте узнать, делать эту самую ставку? — спросил Бауман, не удержавшись от улыбки.

— Можете смеяться сколько вам угодно, — сказал Витольд, — но — не на кого! Не на кого...

— Значит?.. — спросил Бауман, но сразу же и пожалел, что спросил, потому что Витольд в ответ понес вовсе уж ни с чем не сообразную чушь. Как можно было его понять, программа его сводилась к тому, чтобы группа людей («не просто разумных — высокоинтеллектуальных») купила по сходной цене какой-нибудь остров, затерявшийся в океане, и, поселившись там, основала новое, разумно организованное общество; что же до народа («так называемого народа»), то, поскольку он, народ то есть, не мыслит жизни без родимого своего царя-батюшки, пусть и живет, как ему хочется... Словом, чудовищная каша из траченных молю идеек, замешенных к

тому же на махровом обскурантизме. Совершеннейший вздор этот даже и слушать было неловко. Бауман достал из кармана записную книжку и карандаш, сказал:

— Простите, мне надо поработать немного.

Витольд, верно, привык, что его обрывают. Ничуть не обидевшись, он запнулся на полуслове, суетливо проговорил:

— О, тогда не буду вам мешать! Поработайте. Но вечером мы непременно продолжим этот интересный спор. Приходите, я буду вас ждать!

Бауман кивнул, чтоб отвязаться, и Витольд ушел. Стараясь забыть о нем, Бауман начал думать о предстоящей встрече. Она потому особенно волновала его, что Потресов должен был прийти не один — с Ульяновым, который недавно приехал в Женеву.

Интерес, который вызывал у него к себе этот человек, о котором приходилось слышать столько разных, подчас и противоположных суждений, объяснялся не одним только любопытством; нет, интерес к нему у Баумана был сугубо практический: с Ульяновым он связывал многие свои надежды. При этом он создавал: то, что говорил сейчас Витольд, предвкусная «драку», было, при всем преувеличении, совсем не беспочвенно. Плеханов — человек сложный, временами трудный. Удастся ли Ульянову найти с ним общий язык? Если не удастся, тогда придется начинать все сначала, подумал он. Все сначала...

Бауман вспомнил: когда он, бежав из ссылки и затем перейдя под видом старообрядца австрийскую границу с контрабандистами, очутился наконец в Швейцарии, ему тогда казалось, что уж теперь-то ничто не помешает ему тотчас приступить к практической работе. В действительности все было иначе.

Сблизиться с плехановской группой, ради чего, собственно, Бауман и устремился в Швейцарию, удалось не сразу. Сначала, явно на предмет «прощупывания», беседовал с ним Павел Борисович Аксельрод, верный Плеханову человек. Интересовался Аксельрод главным образом тем, что Бауман читал из трудов Жоржа (так называл он Плеханова). Выяснив, что Бауманом прочитано не так уж мало, во всяком случае, самое существенное: «Наши разногласия», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «О мнимом кризисе марксизма», — и удостоверившись, что Бауман вполне разделяет идеи, выраженные в этих трудах, лишь после этого Аксельрод рискнул представить «молодого русского практика» другому основателю группы «Освобождение труда», Вере Ивановне Засулич.

Бауман и сейчас не забыл то волнение, какое охватило его перед встречей с Засулич. Видная в прошлом народница, она еще тридцать лет назад, юной девушкой, была заключена в Петропавловскую крепость по обвинению в пропаганде. Через несколько лет она совершила покушение на петербургского градоначальника генерал-адъютанта Трепова: по его приказу был наказан розгами содержащийся в тюрьме студент Боголюбов. Засулич ранила Трепова, ее схватили, предали суду, но суд присяжных вынес ей оправдательный вердикт. Правда, вскоре такое решение было отменено, но Вера Засулич была уже за границей, в Швейцарии, вне пределов досягаемости царских властей. Впоследствии она отошла от народничества, стала марксисткой, одним из основателей, вместе с Плехановым, группы «Освобождение труда»... Было это 17 лет назад.

Вера Ивановна поразила Баумана во время первой их встречи какой-то аскетической строгостью всего своего облика: одежды, делавшей ее похожей на курсистку (белая кофта, черная длинная юбка), прически, стягивающей волосы назад, сосредоточенного

взгляда серых глаз. Она, кажется, ни разу не улыбнулась на протяжении всего их разговора (впрочем, и потом, за все те полгода с лишним, что Бауман знал ее, он не мог припомнить, чтобы видел улыбку на ее лице). Она расспрашивала его о родных, попросила рассказать о Трубецком бастионе, тюрьма которого, когда она попала в Петропавловскую крепость, еще только строилась; потом сама принялась рассказывать — о Плеханове (она тоже звала его Жоржем), о том, какой это необыкновенный человек; Бауман отметил, что говорила она о нем с непонятной горячностью, так, словно бы кто возражал ей.

Вероятно, он успешно выдержал испытание: к концу встречи Вера Ивановна сказала, что Жорж поручил ей передать Бауману приглашение посетить его дома, — улица Кандоль, знаете, сразу за университетом, — в любой удобный Бауману день и час, но лучше, если завтра ближе к вечеру.

При всем том, что он так стремился к встрече с Плехановым, он и боялся ее одновременно. К тому времени он уже наслышался у Ландольта о причудливом нраве Георгия Валентиновича: о его апломбе, высокомерии, о его переходящей всякие границы властности.

Но страхи были напрасными. Пили чай из кипящего самовара (у стола без устали хлопотала Розалия Марковна, жена Плеханова) и непринужденно говорили о разных разностях. Георгий Валентинович, заметив, должно быть, некоторую скованность своего гостя, ничего не выпрашивал, говорил по преимуществу сам, меньше всего о политике (лишь два-три мимолетных замечания, одно из них — что теориями Кусковой, да и вообще всех «экономистов», можно добиться таких же результатов, как если сесть верхом на самовар — «на этот самовар» — и всерьез рассчитывать, что он повезет, — это замечание запомнилось); говорил об искусстве, о том, как заблуждается Толстой, полагая, что одно искусство выражает чувства людей; о том, что буржуазия неизбежно обесцвечивает искусство и, как и во всем, является сегодня тормозом также и в области художественного творчества.

Бауман ушел в тот вечер с ощущением, что прикоснулся, пусть краешком, пусть ненадолго, к чему-то очень значительному. Возвращаясь средневековыми кривыми улочками к себе в пансионат, он думал о том, как, в сущности, ничтожна вся эта, вот уж действительно мышиная возня у Ландольта и как прекрасно, что есть — на другом полюсе — Плеханов с его полной отрешенностью от суеты и вечных эмигрантских свар. И пускай это не по нутру кое-кому, пускай с издевкой и плохо скрываемой завистью называют его небожителем, тысячу раз пусть! Бауман брался (перед лицом всей ландольтской шушеры) оправдать в Плеханове решительно все, даже и неприступную, издали и впрямь смахивающую на высокомерие позу его; если это и поза, подумал он, то — особенно при данных обстоятельствах — не только уместная, но, пожалуй, и единственно достойная.

Потом были еще и еще встречи с Плехановым, сердечные, во всяком случае, доброжелательные, но, правду сказать, прошло немало времени, прежде чем Бауман почувствовал, что стал в группе Плеханова вполне своим человеком.

Решающую роль в окончательном этом сближении сыграло участие Баумана вместе с Плехановым в «частном съезде социал-демократов» (так в целях конспирации именовался съезд «Союза русских социал-демократов за границей»). В большинстве своем участники съезда были «экономистами», убеждать их

в чем-либо оказалось делом настолько бесполезным, что члены группы «Освобождение труда» и Бауман вынуждены были демонстративно покинуть съезд.

Тогда-то (в тот апрель, помнилось, рано зацвели каштаны, сладко дурманила воздух только что распутившаяся магнолия) и состоялся у Баумана памятный разговор, когда Плеханов, непривычно взволнованный, завел вдруг речь о трагедии одиночества, одиночества, понимаемого не примитивно, не вульгарно: как раз с этой — житейской — точки зрения все обстоит как нельзя лучше, он окружен людьми, которых давно и беззаветно любит и которые платят ему тем же; нет, он, Плеханов, говорит о горечи того одиночества, когда ощущаешь вдруг тщету своих усилий перекинуть мост между своим поколением и теми деятельными молодыми практиками, что народились за последние годы в России.

Слушая его, Бауман в это время думал о всех тех россиянах, что ходили о Плеханове по Женеве, — что вот-де б а р и : какой: живет в Швейцарии, в полном комфорте, живет себе и в ус не дует, и Россия, поди, ему не нужна, чихал он на нее — небожителю, словом... Какая чушь, думал Бауман. Какая злая, бездарная ложь. Им, подумал он, этим жалким, опустившимся людишкой, почитающим за доблесть раздеваться донага — хоть на базарной площади, только бы зрителей поболее, — вероятно, всем им и невдомек, что вряд ли среди них есть хоть один, кто страдал бы, мучился больше, чем этот столь, по видимости, спокойный, невозмутимый, холодный человек... Случилось так, что то, о чем Бауман смутно догадывался и раньше, только теперь откристаллизовалось в ясное понимание, что Плеханов и в самом деле не очень счастлив.

Кафе заполнялось меж тем обедающими. Бауман посмотрел на часы: без чего-то два. Пора бы уж и прийти Потресову, подумал он. Пора. Коротая время, стал думать об Ульянове. Плеханов впервые завел о нем разговор во время все той же их апрельской прогулки по вечерней Женеве. Было так: упомянув о тщетности попыток спать воедино помыслы и дела разных поколений, Плеханов вдруг сказал, что все это, впрочем, уже позади, в прошлом, кажется, что теперь дело явно идет на лад. Порукой тому появление в России такой яркой личности, как Ульянов, на сотрудничество с которым он, Плеханов, согласился. Он уже одобрил план Ульянова об издании общерусской партийной газеты, согласен он и с тем, чтобы издавать ее за границей. Плеханову нравилась также та серьезность, та обстоятельность, с которой Ульянов ставит газету: едва вернувшись из ссылки, он объехал много городов, налаживая личные связи с теми, на кого можно будет впоследствии опереться в работе... Плеханов говорил, все больше возбуждаясь; говорил, что жизнь его теперь обретает новый смысл.

Но шло время, появился в Женеве уже и Потресов, а вот Ульянова все не было и не было. По слухам, случились у него какие-то неприятности с полицией, был даже под арестом несколько дней, но, по тем же слухам, все кончилось будто благополучно, и, стало быть, приезда его в Швейцарию нужно было ждать со дня на день. В последние дни только и было разговоров, что о предполагавшемся этом его приезде. И так получалось, что все дела по подготовке к печатанию газеты откладывались и откладывались.

Но, как казалось Бауману, мучительней всего это ожидание было для него. Ничто его так не томило, как это ничего неделанье, у него было такое ощущение, как если бы стрела, пущенная тугой тетивой, вдруг остановилась в своем стремительном полете, —

вот такое же примерно противоестественное состояние неподвижности в полете не покидало его. А вчера Потресов еще больше подхлестнул нетерпение, когда сказал, что Ульянов обязательно хочет с ним познакомиться, и назначил вот эту встречу у Ландольта.

Бауман подумал, что сегодняшняя его нетерпеливость, заставившая с утра пораньше явиться в кафе, сродни ребяческому желанию любым способом убить время, оставшееся до получения обещанного подарка. Потресов же явно опаздывал. Разочарованно встречая взглядом каждого нового посетителя, Бауман прикидывал, удобно ли (если и через часик другой Потресова не будет), удобно ли поехать в Везену — в тамошней гостинице остановились Потресов с Ульяновым.

Так ничего и не решив, заказал еще пива.

12

Новый посетитель решительно ничем не привлек внимания. Скользя по нему взглядом, Бауман отметил только, что этот невысокий, коренастый человек ему незнаком, и продолжал наблюдать за входной дверью. Между тем человек этот, белоглазый, безраздумный направился к его столу у окна. Но даже и тогда Бауману не пришло в голову, что это мог быть Ульянов.

— Простите, не вы ли Николай Эрнестович? — спросил незнакомец с полуулыбкой, слегка наклонив голову и оттого глядя словно исподлобья.

Бауман кивнул, в недоумении подняв брови, тогда незнакомец сказал:

— Я так и думал. Здравствуй, я Ульянов. Вы извините, что я припоздал, — обменявшись рукопожатием и сев, сказал он, картавя. — Я ждал Потресова, а он куда-то запропастился. Ну, я решил, что и без него узнаю вас, и вот не ошибся. Правда, моя заслуга тут невелика: он довольно точно обрисовал вас... Вы давно здесь?

— Часов с двенадцати.

— Ого! — рассмеялся Ульянов.

— Потресов сказал, что придет после обеда. Понятие растяжимое...

— Узнаю Александра Николаевича, очень в его духе, — все еще смеясь, сказал Ульянов. Неожиданно посерьезнев, он добавил: — Знаете, Николай Эрнестович, у меня вот какое предложение. Нам о многом надо бы поговорить, а здесь душно и людно — так не махнуть ли нам на озеро? Я знаю одно дивное местечко — Бельрив. Там и пообедаем, а захотим — так и в лодке покатаемся. Как у вас со временем? Я-то до самого вечера свободен.

Бельрив был в двенадцати километрах от Женевы. Добылись пароходиком. По дороге выяснили, нет ли общих знакомых — по Петербургу. Кой-кого отыскали, в том числе одного и вовсе уж удивительного знакомого: Пирамидов! Упомянув о нем, Ульянов принялся весело рассказывать ничуть, однако ж, не смешную историю о том, как попался в его руки — совсем недавно, в конце мая. «Как цуцки попались, как цуцки!» — имея в виду себя и Мартова, приговаривал он, смеясь.

— Уезжали из Пскова, — рассказывал он. — Юлий Мартов должен был вернуться в Полтаву, у меня же — заграничный паспорт в кармане. Въезд в Петербург нам, как понимаете, после ссылки был запрещен, а у нас там дела неотложные — как быть? Судили, рядили — решили ехать. Все бы ничего, да мы переконспирировали. Чтобы замести следы, ре-

шили пересечь по пути на другую железнодорожную линию. На станции Александровской сошли с поезда, было раннее утро. Захотелось прогуляться по аллеям Царского села — часа два было в нашем распоряжении. Нам бы сообразить, что уж где-где, а в Царском-то селе, где дворец, страшно подумать, самого государя-императора, вряд ли есть недостаток в шпиках... Словом, там-то нас, как потом выяснилось, и заприметили. «Провели» до Питера (мы слезки, само собой, не замечали), а наутро, только вышли на улицу из дома, где ночевали, — по два дюжих молодца выросло возле каждого. С обеих сторон взяли под локотки, на извозчика — и на Горховую, в охранку...

Посмеиваясь над собой, Ульянов далее вспомнил, как, сидя в пролетке, изобретал планы изничтожения лежавшей во внутреннем кармане пренеприятнейшей бумаженции — письма Плеханову, написанного на каком-то невинном счете химическими чернилами. В том письме (а текст его, если и не догадываются прояснить, мог и сам проступить со временем) подробно излагалось, что сделано для издания газеты за границей. Одной такой улики за глаза достаточно было, чтобы снова упечь в Сибирь. Планы уничтожения письма были один хитроумнее другого, но даже самый простой из них — проглотить ту бумаженцию, съесть — осуществить не было ни малейшей возможности: зажатый с обеих сторон жандармами, он и пошевеливаться не мог, не то что вытащить листок из кармана.

— Тогда мне, конечно, не до смеха было — что уж говорить! — улыбался Ульянов. — Душа в пятаках, и все такое. Клял себя на чем свет стоит! Шутка ли — таким глупейшим манером провалить все дело. Но ничего, пронесло, через десять дней освободили. А Пирамидов не дурак, о нет! «Гран-кокет», правда, малость, а так — вполне соответствует, вполне. В моем же случае просто одно заслонило другое. В его глазах уже и сам по себе самовольный мой приезд в Петербург был достаточным преступлением, ну, а поскольку взрывательных снарядов под царский дворец мы не подкладывали (уж это-то шпики ему точно донесли!), то пришлось удовлетвориться немедленным, и под конвоем, выдворением нашим из столицы. Повезло, словом.

В Бельерие, приехав туда, первым делом пообедали в ресторанчике на набережной. Разговор шел в том дружеском тоне, который с самого начала и как-то сам собой установился между ними. Это радовало Баумана, но и удивляло. Думая о встрече с Ульяновым, он считал почти неизбежным, что понадобится какое-то время, пусть несколько дней, для присматривания друг к другу, для примеривания, что ли, — совершенно понятная, как казалось ему, стадия в отношениях между только что познакомившимися людьми, особенно если учесть, что в будущем скорей всего им предстоит работать бок о бок. Нынче же все обошлось без обычной этой приглядки — словно они с Ульяновым раньше уже знали друг друга, просто давно не виделись, и вот теперь оставалось только сообщить о том, что произошло за время разлуки. Что он сам, против обыкновения, так легко и открыто пошел на сближение, Бауман объяснял себе тем, что очень многое (больше всего от Потресова) знал об Ульянове. Потресов, вероятно, и Ульянову кое-что порассказал о нем — спасибо, Александр Николаевич, спасибо!

Говорили за обедом о ссылке: Бауман об орловской, Ульянов о своей, о шушенской. Ульянов, оказалось, знал о побеге Баумана, в особенности его теперь интересовали подробности: как, в частности, удалось перейти границу, что за люди эти контрабан-

дисты и можно ли вполне им доверяться при переправке, скажем, транспортов с нелегальной литературой.

Разговор этот они вели вполголоса и хотя и по-русски, все равно умолкали всякий раз, когда подходил официант.

Потом взяли напрокат лодку, отплыли подальше от берега, время от времени сменяясь на веслах. Ульянов пошутил, что идеальней условий для встречи двух великих конспираторов не сыщешь даже здесь, в Швейцарии, затем тотчас (Бауман уже привык к этим неожиданным переходам) заговорил серьезно — о деле. Что-то говорил и Бауман, уточняя, спрашивая, подтверждая, но того, что говорил сам, он почти не помнил; зато и потом, много позже, он мог ручаться, что запомнил едва ли не каждое слово, сказанное в тот раз Ульяновым.

Итак, внезапно посерьезнев, Ульянов без предисловий, сразу же, повел речь об издании «Искры» — так на совещании в Пскове решено было назвать будущую газету («Из искры возгорится пламя» — помните?...)

Начал Ульянов с того, что для успешной борьбы с самодержавием необходима пролетарская партия; если же смотреть правде в глаза, говорил он, если не выдавать желаемое за действительное, — такой партии, в силу многих обстоятельств, сейчас нет, ее лишь предстоит создать. Поэтому уместно вопрос о ближайшей и непосредственной задаче поставить так: какой план деятельности нужно принять, чтобы достигнуть создания марксистской партии? Наиболее простой, казалось бы, путь — это выбрать центральное учреждение и поручить ему издавать газету; вся беда в том, однако, что такой путь — в условиях нынешнего предельного разброда — не только нецелесообразен, но и вреден. Было бы наивностью («архинаивностью!») полагать, будто объединение всех русских социал-демократов можно декретировать. Ничего подобного! Такое объединение можно только выработать. Мы должны поставить своей ближайшей целью — организацию правильно выходящего и тесно связанного со всеми местными группами органа партии... Без такого печатного органа невозможна широкая организация рабочего движения. И только тогда, сказал в заключение Ульянов, только при этом условии партия и получит прочное существование и станет реальным фактом, а следовательно, и могущественной политической силой.

План этот в основе своей был уже известен Бауману, тем не менее, слушая эту стремительную, исполненную какой-то особой энергии речь, он ловил себя на том, что, пожалуй, только сейчас по-настоящему (сердцем — не только разумом) постигал необходимость действовать именно так, а не иначе. И дело здесь было, верно, не в одних лишь мыслях, высказанных Ульяновым, а и в той убежденности, страстности, с какой он говорил. Он не просто информировал — он говорил о том, что переполняет его, и о чем поэтому не мог не говорить. Но и этого, кажется, ему было мало — высказать свои мысли; не менее важно для него было, чтобы то, в чем он сам убежден, разделили и другие. Убедить — вот, пожалуй, главное, к чему он стремился. И не отсюда ли, спрашивал себя Бауман, не от этого ли желания высказать как можно больше доводов в обоснование своей точки зрения идет стремительный, как бы атакующий напор его речи? Даже и легкая картавинка словно бы ускоряла темп, временами казалось, что и картавит-то он, собственно, для того только, чтобы не задерживаться на очень уж тщательном выговаривании строптивой буквы.

— А где, вам кажется, лучше издавать «Искру»? Здесь, в Швейцарии, или же в Германии? В Мюнхене, скажем? — спросил вдруг Ульянов.

— В Швейцарии? — переспросил Бауман. — Ну нет, в Швейцарии нельзя.

— Отчего же? — быстро сказал Ульянов.

Бауман ответил, что слишком уж здесь много русских, всех направлений. Не исключено, что среди них есть и агенты охраны. Так что должную конспирацию тут не обеспечишь, нет.

— Вот именно! — сказал Ульянов. — Именно так. И еще вот какое немаловажное, по-моему, обстоятельство: Мюнхен ближе к границе — значит, и тираж легче будет переправлять в Россию, так ведь? — И тут же добавил, что в Мюнхене, куда он заезжал, уже удалось наладить кой-какие связи с типографиями, а главное, немецкие товарищи, социал-демократы, в том числе Клара Цеткин, поддерживали идею издавать «Искру» и обещали всяческое содействие.

— Словом, дел невпроворот, — сказал он. — Скорей бы только закончить переговоры, скорей бы! Или хотя бы начать...

Он имел в виду переговоры с Плехановым, цель которых — создать редакцию «Искры», окончательно договориться о направленности газеты. Без Плеханова, бесспорно, крупнейшего после смерти Энгельса теоретика, Ульянов не мыслил работы «Искры». На предварительных совещаниях в России — в Пскове, Уфе, Смоленске — было решено непременно пригласить в редакцию трех представителей группы «Освобождение труда»: самого, конечно, Плеханова, Засулич и Аксельрода; российскую «литературную группу» должны были представлять Юлий Мартов, Потресов и он, Ульянов, причем всю кропотливую организационную работу возьмет на себя именно литературная группа.

— Это единственный способ делать газету быстро, оперативно, — делая своими соображениями, пояснил он. — Главное — начать!

Переговоры непредвиденно задерживались: то одно мешало, то другое. К тому же Плеханов считал невозможным (и это справедливо, сказал Ульянов, нельзя с этим не согласиться) вести их без Аксельрода, а тот, кажется, только сегодня сможет приехать в Женеву. Ульянов надеялся, что сегодня вечером, таким образом, удастся собраться всем вместе.

Ульянов и сам был заинтересован в присутствии Аксельрода. Он почти не сомневался, что Аксельрод поддержит его. По дороге в Женеву Ульянов заезжал в Цюрих, два дня провел с живущим там Аксельродом. Павел Борисович встретил его так радушно и так дружески, дни эти прошли в таких сердечных разговорах, что, не проявив Ульянов настойчивости, еще и доньше не выбраться бы ему из Цюриха... О чем говорили? О! Обо всем и о многом прочем, без порядка. Нет, вопросов деловых, практических почти вовсе, к сожалению, не касались, за исключением одного разве... Это когда тишайший Аксельрод с совершенно несвойственной ему горячностью принялся вдруг настаивать на устройстве типографии в Женеве, и только в Женеве. Обосновывал он это предложение весьма беспомощно и неуклюже, но одна его оговорка — «Так хочет Жорж!» — сразу все прояснила.

Однако, сказал Ульянов, это был лишь частный эпизод в их беседах, он не склонен придавать ему слишком большого значения. Тем более, что во всем остальном Павел Борисович был полным его единомышленником. Аксельрод, к примеру, говорил, что для них, для Жоржа и его друзей, все свя-

зано с новым предприятием, что это для них прямо-таки возрождение. И под конец, стесненно улыбаясь и выбирая слова, сказал нечто, по мнению Ульянова, в высшей степени примечательное: что «мы», дескать, получим теперь возможность и против крайностей Жоржа бороться... Это последнее замечание Ульянов особенно запомнил — главным образом (объяснял он сейчас Бауману) потому, что еще пять лет назад, а именно тогда Ульянов познакомился с основателями группы «Освобождение труда», даже и такое — пусть и не прямое, осторожное — недовольство Плехановым было невозможно. Что, спросил Ульянов у Баумана, неужели деспотизм Георгия Валентиновича и в самом деле стал чрезмерным?

Бауман помедлил с ответом. Нет, он не собирался отмачиваться. Хотелось только тщательно взвесить все, что знал: чтобы отсеять несущественное. Нескольким ему мешало то, что у него-то у самого отношения с Плехановым сложились как нельзя лучше. Бауман, правда, не обольщался этим, догадываясь, что доброе к нему отношение Плеханова во многом объясняется тем, что тот (если грубо сказать) не видит в нем «конкурента». Баумана это ничуть не обижало: он и Георгий Валентинович — одно даже сопоставление такое выглядело смешно. Но что было, то было: Плеханов стремился всеми силами и любым способом подчинить себе всякого, в ком видел если не равного (ровню себе, положим, он ни в ком не видел!), то хотя бы человека, способного на равных вести теоретический спор; тут он, и правда, был деспотичен и властен... Поделвшись этими своими соображениями с Ульяновым, Бауман сказал в завершение, что, по искреннему его убеждению, в данном случае ничего подобного не произойдет. Плеханов так ждал его, Ульянова, приезда, столько надежд возлагает на издание для России предназначенной газеты, что вряд ли есть основания сомневаться в благоприятном исходе переговоров.

— Я тоже надеюсь на это, — сказал Ульянов, уступая место на веслах. — Крепко надеюсь. Правда, Потресов в панике. Первое, чем он огоршил меня, — что с «Жоржем» надо быть очень осторожным, что он, дескать, страшно возбужден расколом с «экономистами» и оттого подозрителен. Но встречи наши с Георгием Валентиновичем показали, что многое здесь преувеличено.

Встречи эти, сказал Ульянов, уже были, однако до приезда Аксельрода ни о чем существенном не говорили. Плеханов всячески выказывал свое расположение к «гостю из России». Без некоторых трений тоже, положим, не обошлось. При всем том, специально оговорил Ульянов, что я изо всех сил старался соблюдать осторожность, обходя «больные» пункты.

Первые «трения» возникли в связи с высказанным Ульяновым предложением привлечь к сотрудничеству в газете пусть и ошибающихся, но все же до некоторой степени союзников, Струве в частности, — при условии, разумеется, что внутри издания будет идти полемика, призванная установить истину. Плеханов, возражая, говорил, что он не понимает, и никогда не поймет, полемики в одном издании между сотрудниками, — но добро б он только возражал! Он проявил такую нетерпимость, такое нежелание вникать в чужие аргументы, такую доходящую до неприличия ненависть к «союзникам» (вплоть до обвинений их в шпионстве, гешефтмахерстве и прохвостничестве) и при этом считал себя так донельзя правым, что ссоры — вдвойне обидной из-за того, что повод, в сущности, был второстепенный, — не ми-



новать бы, если бы сам Плеханов не понял, что хватил через край. Он оборвал себя, дружески положил Ульянову руку на плечо, примирительно сказал вдруг: «Владимир Ильич, не сердитесь. Я ведь не ставлю никаких условий — видит бог, не ставлю. Мы все это обсудим потом, на съезде, обсудим сообща и вместе все решим...» Ульянов был тронут. В этой попытке Плеханова найти общий язык он увидел добрый знак, вселявший надежду на успех предприятя.

И действительно: новая встреча (все еще без Аксельрода) прошла уже совсем без «инцидентов». Ульянов завел речь о проекте редакционного заявления об издании газеты и журнала. Плеханов, познакомившись с черновиком, написанным Ульяновым еще в России, ничего не возразил по существу, выразил только пожелание исправить слог, несколько приподнять его, оставив в неприкосновенности весь ход рассуждений. Ульянов попросил его внести все необходимые изменения. Георгий Валентинович сказал, что это можно и потом, это недолго, сейчас не стоит; тогда Ульянов, считая, что замечания во многом справедливы, переделал сам и передал ему уже исправленный проект. То, что Плеханов в принципе принимал проект заявления, радовало особенно: ведь в заявлении были сформулированы основные направления будущей работы...

Словом, настроен был Ульянов вполне оптимистично, и мысли его шли сейчас дальше переговоров: он рассказывал Бауману уже о трудностях с устройством типографии, о том, как сложно здесь, за границей, раздобыть русский шрифт; пока что не удалось также отыскать в Германии хотя бы одного наборщика, мало-мальски знающего русский язык... Впереди, сказал Ульянов, что называется, непочатый край работы, а медлить нельзя, никак нельзя, — и вот можно ли в связи с этим рассчитывать на то, что Бауман примет участие в такой практической работе?

Бауман сказал, что он с радостью возьмется за дело. О такой работе он мечтал все эти долгие свои женежские месяцы, так что готов хоть сейчас выехать куда нужно, готов немедленно связаться с полезными людьми.

Но Ульянов несколько поохладил его пыл, сказал, улыбаясь, что — увы и ах! — придется все-таки потерпеть немного: сначала надо успешно завершить переговоры — ведь как-никак именно от них зависит, быть или не быть «Искре».

Плыли к берегу. На веслах сидел теперь Ульянов, он греб сильно, размашисто: боялся опоздать в Корсье, где вечером, если придет Аксельрод, могут начаться переговоры. По набережной прогуливалась разряженная публика, можно было уже разглядеть пестрые зонтики дам. Прощаясь, Ульянов попросил Баумана «не пропадать», — было бы вовсе прекрасно, сказал он, если Бауман сможет приехать к нему и Потресову в Везену, только пусть не забудет, что в гостинице он сам записался Петровым, а Потресов — Арсеньевым.

— Проклятая конспирация, но что поделаешь, русских шпинов, по слухам, и здесь хватает. — Сказав это, он рассмеялся. — Так я вас жду! Со своей же стороны обязуюсь запомнить все подробности переговоров. Дай-то бог, чтоб этих «подробностей» было как можно меньше, дай-то бог.

Ульянов ушел скорым своим шагом, чуть наклонив вперед голову.

Бауман решил остаться до темноты в Бельриве, побродить в одиночестве. Дневной зной спал, пляж опустел, и Бауман, спустившись с набережной, устроился у самой воды.

Гладь озера была неподвижной, ничто не отвлекало от мыслей.

Он думал о том, что Ульянов, вероятно, как раз тот человек, который сможет вести переговоры с Плехановым. В отличие, скажем, от Потресова, который из-за своей чрезмерной эмоциональности слишком легко переходит от великой радости к великому же отчаянию — по незначительному даже поводу; в отличие от него Ульянов, кажется, обладает той трезвостью взгляда на людей и обстоятельства, той уравновешенностью, проистекающей скорее всего от ясного понимания конечной цели, то есть теми именно качествами, которые помогут не уклониться от решения главных вопросов. Насколько можно судить, не был он подвержен и мелкому тщеславию, это представлялось особенно важным, учитывая болезненное подчас стремление Плеханова первенствовать везде и во всем.

Думая об Ульянове, Бауман пожалел, что рядом не было Нади. Она, как и многие женщины, более точно судит о людях. Надя («Надюш» — окрестил он ее) уехала в Россию проводить тяжело болевшую мать; должна была вернуться через неделю, ну, через две, а не было ее уже больше месяца — совсем худо, значит, с матерью. Собственно, Надя — это кличка, на самом деле имя ее было Капитолина. Капитолина Поликарповна, сразу и не выговоришь. Происходила она из богатого купеческого рода, и жить бы ей не горюя в отцовском собственном, на Краснохолмской набережной, доме в Москве, — так нет (донимал ее Бауман), нет же, ушла, дурочка, в революцию... Бауману и сейчас, спустя столько времени после знакомства (познакомились, конечно, у Ландольта — где же еще в Женеве познакомиться русским!), даже и теперь ему страшно было подумывать, что все могло быть по-другому, что если бы не случай, если бы не влияние подруги, она, возможно, так и осталась бы навек «добропорядочной» купеческой дочкой, а значит, и не было бы, никак не могло быть их встречи здесь, в Женеве... Между ними было решено, что, как только она вернется из России, они поженятся. Он представил ее такой, как она запомнилась ему при первой их встрече: высокая, стройная («Боже, до чего беден и затаскан человеческий язык!»), в светлом платье с пышными у предплечья рукавами; каштановые, отливающие рыжевато-короткие волосы, неожиданно черные брови — и глаза: нет, не голубые, как показалось ему в первое мгновение, а синие; и голос — негромкий, грудной; и этот смех — какой-то очень женский: словно бы и застенчивый, но вместе сознающий и неотразимость свою и власть.

Бауман вдруг подумал: а что, Ульянов, интересно, женат? И если женат, то какая она у него, жена? Глупости, сказал он себе. Взбредет же такое на ум, других забот будто нет... А впрочем, зря я так, подумал он. Что бы там ни твердили о необходимости самоотречения и жертвенности иные шибко горячие головы, нет, совсем это нелишне для революционера — чувствовать себя счастливым и в личной жизни, как счастлив, оттого что любит, сам он сейчас.

Солнце тем временем зашло, от воды сразу потянуло сырым холодом. Он поспешил к пристани, была еще надежда попасть на этот, вот-вот готовый отойти пароходик. Успел. Пассажиров было мало, да и те, что были, ушли на корму, под брезентовый навес. Бауман остался на палубе. Он смотрел на огни города (с каждой минутой они становились все ближе и было их все больше), смотрел вперед и думал о том, приехал ли Аксельрод и начались ли наконец переговоры.

На другой день к вечеру Бауман отправился в Везену. Но ни Ульянова, ни Потресова в гостинице не застал. Пожилой человек в пенсне, сидевший за конторкой (то ли портье, то ли сам владелец отеля — по виду трудно было определить), сообщил, что «господ русских» нет с самого утра. Возможно, им следует что-либо передать? Какие пустяки, он с удовольствием выполнит любое поручение! Бауман сказал: нет, спасибо, передавать ничего не нужно, так как не далее как завтра он вновь посетит своих друзей. Портье, говоривший по-немецки с заметным французским акцентом, услышав из уст Баумана чистейший немецкий, осведомился: не немец ли «молодой друг русских господ»? Начисто забыв в ту минуту, что он и действительно немец, Бауман подтвердил: да, немец — следуя исключительно правилам конспирации. Поймав себя на этом и невольно улыбнувшись (портье, вероятно, отнес эту улыбку за счет его общительности и тоже улыбнулся в ответ), Бауман подумал, что надо бы запомнить этот случай, чтобы потом, когда приедет Надюша, рассказать ей о таком вот занятном парадоксе нелегального жития.

Прошло еще три дня. Каждый вечер Бауман навещался в Везену, но всякий раз безрезультатно. Он себя успокаивал, что ничего страшного, просто-напросто там, в Корсье, сам ведь знает, многое надо обсудить, и не как-нибудь, не шалая-валяя, а детально, чтобы ничто потом не тормозило дела. Однако все эти успокоения что-то не очень помогали.

В конце концов он не выдержал и, не видя другого способа повидаться с Ульяновым, сам переселился в Везену — в ту же гостиницу. Портье он объяснил, что очарован Везеной и хотел бы именно здесь провести несколько случайно выдавшихся ему свободных дней — да, да, с русскими друзьями, вы совершенно правы.

И надо же было так случиться, что как раз в этот день Ульянов и Потресов приехали рано, сразу после обеда. Бауман увидел их, когда они шли еще по дороге. Потресов был угрюм, заросшее бородой насупленное лицо его было обращено к Ульянову, который, напротив, настроен был, кажется, весело и что-то оживленно говорил, отчаянно жестикулируя.

— Наконец-то, — сказал Бауман, пожимая им руки. — Я уж не чаял увидеть вас.

— Сейчас расскажем, потерпите, сейчас мы вам такое расскажем!.. — прищурившись, сказал Ульянов. И повернул голову к Потресову: — Сначала давайте вы, Александр Николаевич, а? У вас это должно получиться особенно красочно... при вашей, гм, гм, впечатлительности.

— Вы уж сами, Владимир Ильич, — угрюмо сказал Потресов. — Я что-то неважно себя чувствую, пойду в номер.

— Помилуйте, с головной болью гулять надо, гулять! — воскликнул Ульянов. — Сознаться, что вы попросту кисейная барышня, которая пуще всего боится печальных воспоминаний. Ну, ну, не обижайтесь, я шучу. Вы и в самом деле плохо выглядите.

Потресов ушел, свернув к гостинице. Ульянов взял Баумана под руку.

— Вы не представляете, — сказал он, — в каком нервном напряжении мы прожили эти дни. Столько всякого переговорено было — право, даже не знаю, с чего начать. Сколько дней мы не виделись? Четыре? Пять? За это время я постиг то, чего в обычных

условиях не узнал бы и за годы. Тяжелый урок... Но и полезный, — тут же добавил он. — Да! Полезный и поучительный — несмотря ни на что. Сядемте? Встать здесь, на скамейке?

Вообще-то, начал Ульянов, обо всем этом можно было бы рассказать в двух словах: дескать, после дебатов и споров пришли к такому-то итогу; ведь в конечном счете только это и важно — каков результат, не так ли? Вероятно, так бы он, Ульянов, и поступил, даже наверняка ограничился бы сейчас лишь сугубо деловой информацией, но есть вещи, о которых нельзя умолчать. Так что пусть Бауман вооружится терпением: придется, увы, говорить и о частностях, мелочах даже. При этом он, Ульянов, вполне отдаст себе отчет в том, что будет скорее всего пристрастен — слишком близко все это, не остыло еще; тут уж Бауману самому придется вышелушивать истину.

Устроившись на скамейке поудобнее, вполоборота к Бауману, Ульянов сказал, что начать, верно, следует с того вечера в Бельриве, когда они расстались. Павел Борисович, оказалось, приехал еще утром, так что задержка теперь уже была за ним, за Ульяновым. Первое, что сделали, собравшись все вместе, — прочли вслух (для затравки, так сказать) «Заявление», то самое, «от редакции», проект которого Ульянов составил еще в России, а здесь, по совету Плеханова, несколько подправил. Высказались все: Аксельрод, Засулич, Потресов; проект не вызвал у них возражений. Ждали, что скажет Плеханов. Тем более, что Георгий Валентинович с самого начала, буквально с первых же минут, повел себя как-то странно: был подчеркнуто безучастен, сидел с каменным лицом, скрестив руки на груди, и молчал. Ни одного замечания, ни одного возражения. Создавалось даже впечатление, что он будто отстранялся, именно так — отстранялся, попросту не желал участвовать в обсуждении. И лишь когда, выражаясь высоким штилем (Ульянов усмехнулся), когда взоры всех присутствующих обратились к нему и отмалчиваться больше было уже невозможно, — только тогда, снисходительно эдак улыбнувшись, он бросил вскользь, мимоходом, но в то же время достаточно определенно — замечание, что уж он-то, конечно, не такое бы заявление написал; судя по его тону, прибавил Ульянов, он хотел сказать — не так робко, не так скромно, не так оппортунистически!..

Бауман насторожился. Ему не понравилось, как произнес Ульянов последнюю эту свою фразу: очень уж «лично», с каким-то раздражением. При всем том, что Бауман отлично знал, сколько сарказма умеет вкладывать Плеханов даже в безобидные, казалось бы, слова, был он сейчас все-таки не на стороне Ульянова.

Ульянов, похоже, догадался о его мыслях. Потому что, едва взглянув на него, он тут же сказал — нет, нет, да не подумает Бауман, будто само по себе замечание Плеханова, хотя и было оно зело ядовитое, как-то очень уж уязвило его; это не так, да и не в том вовсе дело: он, Ульянов, можете верить, готов выслушать любую критику, даже несправедливую, но при одном всенепременнейшем условии: чтобы критика была доказательная, чтобы у противника были хоть какие-нибудь аргументы. Но в том-то и дело, что в данном случае критики не было, все свелось лишь к этому вот брошенному вскользь замечанию, без малейшей попытки обосновать свою точку зрения, — вот что особенно неприятно его, Ульянова, поразило, а если честно говорить — лютю разозлило даже, взбесило. Нет, в самом деле, спустя минуту и уже спокойно сказал Ульянов, стоит только представить себе: идет совещание соредакторов, и

вот один из них, которого, кстати, уже просили внести в проект свои исправления, этот соредактор не предлагает ровно никаких изменений, только иронизирует... Ну разве ж, хочется спросить, разве это нормальные, равные отношения с товарищами?

— Я понимаю,— сказал Ульянов, повернув голову к Бауману,— вы хотите сказать: стоило ли обращать на это внимание? Нужно-де было уступить. Мы с Потресовым так и сделали: уступили. Я не стал акцентировать внимание на саркастической реплике Плеханова, не стал помогать, что же, конкретно, не устраивает его. Я всерьез думал тогда, что это случайный эпизод, не больше того, что просто Плеханов нынче не в духе. Уступили мы и еще раз: когда решался вопрос о сотрудничестве со Струве и Туган-Барановским. Натолкнувшись на нежелание Плеханова приглашать их (объявил он нам об этом очень холодно и сухо, не снисходя до объяснения своих мотивов), мы сняли свое предложение. Плеханов встретил наши слова молчанием — словно это и само собою подразумевалось, что мы не можем не уступить...

По мере своего рассказа Ульянов горячился все больше. Понимает ли Бауман, в состоянии ли представить себе, какая сложная, какая тяжелая, какая невозможная сложилась обстановка? Ведь дело теперь, после этого случая, уже безусловно принимало такой вид, что Плеханов недвусмысленно ставит ультиматум: или он — или... Было ясно, что эта атмосфера ультиматумов неспроста: желание «Жоржа» властвовать, притом неограниченно, проявлялось совершенно очевидно. Уже и тогда, хотя и смутно, Ульянов догадывался, что их уступки — большая их с Потресовым ошибка, но, видит бог, ему и в голову тогда не приходило, к каким последствиям это может привести.

Главные события, помрачнев, сказал Ульянов, разыгрались на следующий же день. Только собрались,—Плеханов с какой-то непонятной торжественностью объявляет вдруг, что он отказывается от соредакторства, лучше он будет сотрудником, простым сотрудником, ибо иначе будут только трения, потому что он смотрит на дело, видимо, иначе, чем некоторые товарищи; потом он еще сказал, что он понимает и — даже! — уважает иную точку зрения, но согласиться с ней не может, а коль так — пусть редакторами будут все остальные, а он — сотрудником, на большее он не претендует. Естественно, все стали возражать. Тогда он спросил: ну, если все вместе, сколько же это голосов получится? Шесть? Нет, шесть — неудобно: а вдруг разделятся голоса? Тут же вступила Вера Ивановна: пускай уж у Георгия Валентиновича будет два голоса, а то, со смешком прибавила она, он всегда один будет. На том и решились. И тотчас...

— Нет,— прервал себя Ульянов,— об этом надо подробнее. Очень существенный момент. Значит, так: едва услышав, что все согласны отдать ему два голоса, он тотчас, буквально в ту же секунду, весьма энергично берет в свои руки бразды правления и начинает с видом хозяина распределять отделы и статьи, отдавая эти отделы то одному, то другому — и все это, разумеется, тоном, не допускающим возражений. Мы сидим, все — Аксельрод и Вера Ивановна в том числе — как в воду опущенные, не в состоянии еще переварить происшедшее. Мало-помалу становилось все яснее, что «новая система» фактически равняется голному его господству и что он, отлично понимая это, отнюдь не склонен церемониться с нами. И как всегда бывает, когда оказываешься в дураках, возражения и замечания наши становятся

все более тусклыми и робкими, и Плеханов без особых усилий отодвигает их (не опровергает, а именно отодвигает) все легче и все небрежнее...

Они уже и тогда, говорил Ульянов, понимали, что разбиты наголову, но до конца в тот миг все же еще не осмыслили свое положение. Зато потом, как только сошли они с парохода и пришли к себе, в Везену,— о, как прорвало их сразу, каким прямо-таки потоком негодования разразились они с Потресовым! Они ходили до позднего вечера по Везене, из конца в конец, кругом шумели грозы и блистали молнии; ходили и возмущались. Потресов, помнится, говорил, что личные отношения с Плехановым он считает теперь раз и навсегда прерванными и никогда не возобновит их; обращение его с нами, говорил он, оскорбительно. И — самое горькое — в этом ведь не было преувеличения; он, Ульянов, очень понимал Потресова, очень. Его влюбленность в Плеханова тоже как рукой сняло. Никогда (он просит Баумана поверить в это), никогда в своей жизни он ни к одному человеку не относился с таким искренним уважением и почтением, ни перед кем не держал себя с таким «смирением» — и никогда ни от кого не получал такого грубого пинка. А на деле ведь случилось именно так, что они с Потресовым получили пинок: их припугнули, как детей, припугнули тем, что взрослые их покинут и оставят одних. Яснее ясного стало, что отказ Плеханова от соредакторства был просто ловушкой, рассчитанным шахматным ходом, западней. И действительно, ведь если бы он искренне отказывался от соредакторства, боясь, как он говорил, затормозить дело или породить лишние трения,— разве б мог он сразу же, минутой спустя, обнаружить, и так грубо обнаружить, что его Соредакторство совершенно равносильно ЕДИНОредакторству?

Словом, возмущение их, как видит Бауман, было предельно велико; самым резким обвинениям не было конца. Так нельзя! — решили они. Они не хотят и не будут — не могут — работать вместе при таких условиях!

Ульянов неожиданно остановился. Он постарается, как это ни трудно, быть объективным, сказал он. Сегодня, спустя несколько дней, он понимает, что внезапность случившегося вызвала, естественно, немало и преувеличений, это бесспорно,— но тем не менее он и сейчас убежден, что в основе своей эти горькие слова были верны. Разошлись спать, твердо решив завтра же высказать Плеханову свое возмущение, отказать от журнала и уехать, оставив одну газету, а имеющийся журнальный материал издавать брошюрами; дело от этого, мол, не пострадает, зато... зато они избавятся от близких отношений к «этому человеку».

Ульянов говорил почти без пауз, горячо и быстро, как бы торопя слова, но, вместе, и обстоятельно, явно стараясь не упустить ничего существенного. Слушая его с нетерпеливым вниманием, Бауман все время следил за его лицом; оно было странно переменчиво.

Бауман не сразу понял, что странность эта состоит главным образом в неувловимости переходов от одного состояния к другому, вернее, в той молниеносности, с какой эти перемены происходили. Но и при этом, о чем бы ни говорил Ульянов в тот или иной момент и каким бы ни было в это время его лицо, все равно в глазах сохранялось, то больше, то меньше, выражение какого-то по-детски беспомощного удивления, точно он то и дело спрашивал себя: да полно, могло ли такое быть, мыслимо ли такое?

Как ни хотел Бауман поскорее узнать, чем же все-таки закончились переговоры, он слушал не переби-

вая. Ему было важно понять, как проходили переговоры, и в глубине души он был благодарен Ульянову, что тот не ограничился просто сообщением о происшедшем, а счел возможным посвятить его даже в личные свои раздумья; такая откровенность тем более была удивительна, что в конце-то концов они видят друг друга всего второй раз. Было это, понимал Бауман, знаком немалого доверия: так, с такими личными подробностями можно рассказывать только человеку, которому очень доверяешь; такой разговор возможен только с единомышленником, перед которым не боишься выглядеть жалким или смешным. Ульянов же, часто к невыгоде для себя, ничего не скрывал — ни обиды на Плеханова, ни душевной своей боли.

Бауману пришло вдруг в голову: может быть, такая вот, без утаек, откровенность как раз и заставляет его, Баумана, быть не просто слушателем; он чувствовал себя человеком, лично сопричастным к тому, о чем рассказывал Ульянов. Временами даже он ловил себя на том, что с отчетливой реальностью, до яви почти, представляет себе, что и как было там, в Корсье. Он, как въяве, видел и эту душную, со всполохами на краю неба ночь и одинокие (и почему-то далекие, как в перевернутом бинокле) фигурки Ульянова и Потресова, которые, перед тем как вернуться в гостиницу, твердо решили избавиться от близких отношений к «этому человеку».

Ульянов рассказывал уже о том, что происходило на другой день. Сначала они сообщили о своем решении Аксельроду и Засулич, — с Верой Ивановной был особенно тяжелый разговор; она была страшно угнетена и упраскивала, молила почти, нельзя ли все-таки попробовать, может быть, на деле не так страшно будет, за работой, она уверена, наладятся отношения, не так видны будут черты его характера...

— Это было, — помолчав, сказал Ульянов, — до такой степени тяжело, — слушать просьбы человека, слабого перед Плехановым, но человека безусловно искреннего и страстно преданного делу...

В назначенный час, после обеда уже, встретились все вместе. Плеханов завел какой-то сторонний разговор: явно уже знает все. Начинает говорить Потресов — сдержанно, сухо и кратко; говорит (также и от имени Ульянова), что оба они отчаялись в возможности вести дело при таких отношениях, какие определились вчера, и поэтому решили уехать в Россию — посоветоваться с тамошними товарищами; что же до журнала, то в силу упомянутых обстоятельств от него приходится пока отказаться.

Плеханов выслушал все это с легкой улыбкой. Он очень спокоен, сдержан — о, это великолепное, блистательно разыгранное спокойствие, знакомо ли оно Бауману? Затем, вполне и безусловно владея собой, он вежливо и очень осторожно (как врач безнадежного больного!) спрашивает: в чем же, собственно, дело? Он явно чего-то не понимает — по старости своей, что ли? Ульянов (признавался он сейчас) пришел в ярость. Такой прием — прикидываться непонимающим, едва речь заходит о неприятных вещах, — уже хорошо был знаком Ульянову. Это походило на насмешку. При всей безукоризненной вежливости тона чувствовалась в Плеханове пренебрежение, бесконечное высокомерие. Пришлось объяснить ему: мы находимся в атмосфере ультиматумов, так больше продолжаться не может — лучше уж нам уехать. Плеханов, вероятно, не ожидал такого поворота, такой прямоты обвинения: проходит минута полного, невозможного молчания.

Спустя эту минуту он отважно кидается в банк: «Ну, решили ехать, так что ж тут толковать. Мне тут нечего сказать. Мое положение, согласитесь, очень странное: у вас все впечатления да впечатления, больше ничего; получилось у вас такое впечатление, что я дурной человек, — ну что же я могу с этим поделать?» Поняв, к чему он клонит, Ульянов в ответ сказал, что если их с Потресовым вина в чем и есть, так это, может быть, в том, что они чересчур размахнулись, не разведав брода. «Нет, — тут же парирует Плеханов, — если говорить откровенно, то ваша вина в том, что вы (вероятно, в этом сказалась и повышенная нервность Потресова), вы придали чрезмерное значение таким впечатлениям, которым придавать значение вовсе не следовало». И добавляет — дословно! — следующее: «А если вы уезжаете, то, учтите, я ведь тоже сидеть сложа руки не стану и могу вступить в иное предприятие...»

— Да-с! — Ульянов придвинулся к Бауману. — Такие вот веселые вещи... Признаюсь: ничто, даже все то, что было раньше, так не уронило Плеханова в моих глазах, как эти его слова. Это была такая грубая угроза, что она могла только «доконать» его, обнаружив «политику» по отношению к нам: достаточно будет хорошенько их припугнуть... Но ничего у него не вышло! Мы были уже ученые! И вот, увидев, что угроза не действует, он пробует тогда другой маневр. Как же не назвать это, в самом деле, маневром, когда он стал через несколько минут, тут же, говорить о том (нет, вы только послушайте!), говорить о том, что разрыв с нами равносильен для него полному отказу от политической деятельности, что он и откажется от нее, уйдет в научную, чисто научную литературу, ибо если-де он с нами не может работать, то, значит, уже ни с кем не сможет... Все ясно: не действуют запугивания, так, может быть, поможет лести!.. Одного он, однако, не учел: по сле запугивания это могло произвести только отталкивающее впечатление.

Погрузившись в свои мысли, Ульянов умолк. Пауза была длинная, Бауман тоже молчал. Сложные чувства владели им. Точно проклятие какое-то, думал он с болью и горечью; только стало все налаживаться, вот-вот, казалось, завертится «машина» — и конец, все рухнуло. И из-за чего! Добро бы еще в основе разногласий действительно лежали принципиальные расхождения!.. Но вместе с тем Бауман отчетливо понимал и то, что нельзя, немыслимо начинать газету, где вместо товарищеского сотрудничества будет диктат одного человека, даже если этот человек — Плеханов; вернее, именно потому и нельзя, что этот человек Плеханов, человек, чье стремление господствовать иной раз сильнее интересов дела. Нет, по совести, ни в чем Бауман не мог упрекнуть Потресова и Ульянова. Они правы в главном: так, на основе таких взаимоотношений вести дело невозможно, бессмысленно, — оно, дело, неминуемо и очень скоро развалится.

Баумана вывел из раздумий голос Ульянова. Остаток вечера, говорил он, прошел пусто, тяжело. А наутро — это уже, таким образом, сегодня — мы решили в последний раз переговорить с Плехановым, может, удастся прийти к какой-нибудь новой комбинации, чтобы хоть как-то наладить дело, чтобы из-за порчи личных отношений не дать погибнуть серьезному партийному предприятию.

Живехонько собрались, поехали в Женеву. Плеханов вопреки ожиданию встретил их приветливо, с самого начала взял такой тон, будто вышло лишь печальное недоразумение. Ульянов сообщил ему, что они с Потресовым взвесили все «за» и «против» и

считают, что возможны только три комбинации в работе редакции: первая — они редакторы, он сотрудник; вторая — все они равноправные соредакторы; третья — он редактор, остальные сотрудники. В России, куда они намерены немедленно выехать, они обсудят все эти комбинации, выработают там проект и с этим проектом вернутся сюда. Плеханов, ни минуты не раздумывая, сказал, что, видимо, не стоит ехать в Россию: он решительно отказывается от третьей комбинации, больше того: он категорически настаивает на совершенном исключении ее; на первые же обе комбинации, на любую, соглашается безоговорочно.

Решили, что пока соредакторами будут все шестеро...

Тут Ульянов улыбнулся — впервые за время своего рассказа.

— Собственно, — сказал он, — на этом можно и закончить. Как видите, главного мы все-таки добились: не дали потухнуть «Искре». Все же остальное — в наизидание, так сказать, чтобы быть начеку: я вовсе не поручусь, что через какое-то время Георгий Валентинович не захочет вновь диктовать условия. Конечно, это ужасно — что порвалась какая-то струна и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с постоянным расчетом по формуле: хочешь мира — готовься к войне, — но тут уж ничего не поделаешь. Ну, а теперь за дело, Николай Эрнстович. Если не возражаете, мы сегодня же выедем в Мюнхен.

14

Находясь в Женеве, все эти месяцы Бауман постоянно думал о своей будущей работе, которая уж — стоит лишь приехать Ульянову — начнется. Свою же жизнь в эти месяцы, даже и понимая, что не очень справедлив, он воспринимал как безделье.

Да, подумал он, конечно, я был несправедлив. Разве счесть все диспуты, в которых принимал участие? А сближение с Плехановым, работа в группе «Освобождение труда» — разве это сбросишь со счетов?

Нет, нет, не так уж бездарно, не так уж бессмысленно провел он время в Женеве; особенно если ко всему прочему прибавить кучу книг — Маркс, Плеханов, Бернштейн, Струве, — которые не просто прочитал — изучил. Так что насчет «безделья» — это он явно перегибал тогда. Да, перегибал, думал он, сидя в купе поезда.

Последний месяц его не покидало ощущение такой полной, что называется, не в п р о д ы х, занятости, что, право же, не часто выпадала у него хоть минута для таких вот мыслей. А сейчас он едет в Лейпциг — из Мюнхена, где разместилась редакция «Искры», путь неблизкий — через пол-Германии почти, — и, пока поезд медленно, как бы взбираясь на кручу, ползет по пологим холмам, есть время подумать. Задним числом, теперь вот, он мог уже более трезво взглянуть на свою недавнюю жизнь в Женеве.

Он понимал теперь, что пребывание его там было хоть и несколько затянувшейся, но совершенно необходимой для него подготовкой к завтрашним делам. Понимал он также и то, что, оказавшись на его месте человек иного, чем он, склада, вполне возможно, что такой человек с самого начала нашел бы применение своим силам. Но Бауман не замечал в себе особого литературного, скажем, дара, не был он склонен и к теоретическим изысканиям, прежде всего он

был человек действия, его стихией была практическая, организаторская работа.

Потому-то и ждал он с таким нетерпением приезда Ульянова: надеялся, что в том деле, которое затевалось, непременно найдется занятие и для него.

Так и вышло. После того как закончились переговоры в Корсье, он и Ульянов уехали в Мюнхен. Ульянов познакомил его с Кларой Цеткин, Адольфом Брауном, Юлианом Мархлевским и другими видными социал-демократами — они брались оказать «Искре» организационно-техническую помощь; в дальнейшем Бауману уже самому предстояло поддерживать с ними связь.

Случилось так, что на первых порах делами газеты вплотную занимались лишь они вдвоем с Ульяновым. Потресова замучили болезни, он уехал лечиться. Мартов, третий член «литературной группы», был еще в России. А Плеханов, Аксельрод и Засулич не изъявляли пока что желания покидать Швейцарию; да это и к лучшему: мало было надежды, что эти милые, но очень уж непрактичные люди способны продвинуть дело «Искры».

Ульянов должен был, не медля ни дня, заняться подготовкой литературных материалов. Он поселился в Мюнхене, и, надо признать, лучшего города для центра редакции трудно было найти. Главное — здесь совершенно не было русских эмигрантов, среди которых вполне могли оказаться царские шпики. Но и все равно, чтобы и вовсе сбить охранку со следа, Ульянов поселился в Мюнхене вначале под фамилией Мейера, без паспорта, а некоторое время спустя, когда болгарские социалисты раздобыли для него «настоящий» паспорт, стал Иордановым. Из этих же, конспиративных, соображений всю свою обширную переписку с Россией он вел через чешского социал-демократа Модрачека, жившего в Праге.

Поселился Ульянов в маленькой, почти без мебели комнатке на окраине, питался кое-как, зачастую довольствуясь чаем с куском хлеба: жалко было тратить время на дорогу до ближайшего ресторанчика. Дел у него, и правда, было столько, что даже и при дьявольской его работоспособности суток явно не хватало.

День уходил на переписку с авторами и сотрудниками газеты, на редактирование присланных корреспонденций, и лишь ночью он получал возможность сосредоточиться на самом, может быть, главном: писал ведущие статьи для первых номеров, те статьи, которые, собственно, и должны были определить лицо газеты.

На плечи Баумана и немецких социал-демократов легли заботы, связанные с подысканием типографии.

Дело это оказалось даже более хлопотное, чем можно было предположить. Мало было найти владельца типографии, который решился бы печатать нелегальную газету, — в конце концов немецким товарищам все-таки удалось заручиться согласием на это социал-демократа Германа Рау, хозяина маленькой типографии в районе Пробстгейда на окраине Лейпцига. Беда, однако, была в том, что ни сам Рау, ни единственный его подручный не знали русского языка. Рау по этой причине вполне мог отказаться от предложения, поэтому, прежде чем начать с ним деловые переговоры, надо было позаботиться о том, чтобы поиски наборщика, которые вот уже длительное время вел Рау, непременно увенчались успехом и чтобы этот наборщик умел набирать русский текст.

И вот однажды к Герману Рау явился молодой че-

ловека, назвавшийся Вернером (на самом деле это был русский социал-демократ Блюменфельд. Выбор пал на него), и, сказав, что слышал, будто в здешней типографии нужен опытный наборщик, предложил свои услуги. Задав два-три вопроса, Рау сразу понял, что имеет дело с первоклассным специалистом, а когда узнал, что новый его работник, помимо немецкого, владеет еще и русским и польским, радости его вовсе не было предела. Он уже прикидывал, как, воспользовавшись столь редкими талантами, расширить дело: не съездить ли, к примеру, в Польшу, не так уж это далеко, во всяком случае, траты на дорогу с лихвой окупятся, если удастся заполучить выгодный заказ.

Тут-то и приехал к нему Бауман. О, да, да, с удовольствием; он, Герман Рау, польщен, что товарищи из Мюнхена посоветовали обратиться именно к нему, ведь его типография не самая лучшая в Германии, нет, не самая лучшая. Он всегда готов оказать содействие партийному делу, пусть даже и в ущерб себе... О, ущерба не будет? Тем лучше, тем лучше! Он вовсе не бесребреник, типография ведь требует расходов! Газета? Прекрасно. Нелегальная? Что ж, можно и нелегальную, у него уже есть в этом отношении некоторый опыт. Газета русская? О, в таком случае вы попали как раз туда, куда нужно! Нет, сам я не владею русским, но... Вам позвезло! Всего несколько дней назад я нанял нового работника, и он — представьте, такая удача! — отлично знает русский. Клянусь честью, во всей Германии вы не найдете другой типографии, которая могла бы выполнить подобный заказ!

Герман Рау рассказал, что его типография на Руссенштрассе, 48, специализируется на спортивных изданиях, в том числе напечатал он и собственную брошюру «Развитие гимнастики в Германии». Не читали? О, эта брошюра очень популярна, очень.

— Какое совпадение! — восклицал Герман Рау. — Не правда ли, какое знаменательное совпадение! На Руссенштрассе будет печататься русская газета! Кто бы мог подумать!..

Типография размещалась в неприметном, на три окна, домике, одна комната — вот, собственно, и вся типография.

В тот же день Бауман выехал за русским шрифтом. И вот сегодня, неделю спустя, он уже возвращается назад, в Лейпциг, и не только с тяжеленным чемоданом, но и с окончательно отредактированным текстом «Заявления редакции».

Медленно тащится поезд. Медленно, черт возьми. В окне пожелтевшие поля — уже октябрь, осень. Впрочем, нет, подумал он, почему уже? Еще октябрь, еще только октябрь. Все, что сделано, сделано всего за один месяц — даже самому не верится, подумал он. Нет, в самом деле, сказал он себе, в самом деле: какой-нибудь месяц назад издание «Искры» казалось делом таким далеким, почти что несбыточным, и вот теперь остановка лишь за шрифтом, упрятанным в чемодане, и уже вечером этот шрифт ляжет в наборные кассы, и Вернер сразу же начнет выуживать из них литеры, одну за другой, одну за другой, и они сложатся в слова, слова — в строки, строки — в абзацы, а потом — через день, ну, пусть через два — первое наше издание, еще не сама газета, а лишь «От редакции», но все равно с крупно набранным заголовком «Искра», будет напечатано, и весь первый тираж уйдет в Россию, растечется там по доброму десятку городов. Бауман ни на минуту не упустил из виду чемодан. Хотя и сомнительно, что кто-нибудь покусится на такую тяжесть, но зато и не было у него в жизни более драгоценного груза, чем этот.

Приехал он в Лейпциг вечером, и дальше все было точно так, как мечталось в вагоне. Вернер тотчас приступил к набору и проработал почти всю ночь, а утром были уже готовы чуть влажные оттиски гранок. Бауман вчитывался в знакомые строки, но, как всегда бывает после набора рукописи, ныне текст воспринимался с какой-то особой новизной. Читая статью, он не мог не думать о том, какое впечатление она произведет в России. Особенно живо он почему-то представлял себе, какой вой поднимут «экономисты», когда прочтут, что цель газеты — создать революционную рабочую партию, способную возглавить борьбу с ненавистным режимом. Что ж, пусть бесятся, подумал он. Главное — рабочие. А они-то примут газету, поймут и примут, не могут не принять, — поскольку бы только начала выходить эта новая газета...

И этот день настал. В скромной типографии, обремененной едва ли многим лучше, чем во времена Гутенберга, при свете керосиновой лампы происходило событие, не просто, чувствовал Бауман, венчавшее многомесячный труд нескольких человек, — нет, в то хмурое декабрьское утро в районе Простгейда свершалось нечто гораздо большее, чем даже выход «Искры»: начиналась борьба за партию. И что с того, с невольной торжественностью думал Бауман, что пока еще очень мало людей знает об этом; пройдет время, сейчас трудно угадать, сколько — месяцы или годы, но, раньше или позже, люди — даже враги — поймут: день этот, хмурый декабрьский день 1900 года, — вежа, рубеж, некая точка отсчета.

Бауман нарезал бумагу, тончайшую, но не папирусную, а прочную; газету, отпечатанную на ней, легче будет переправлять через границу. Работа эта — нарезка бумаги — была кропотливой, требовала предельного внимания, но все равно Бауман не мог удержаться, то и дело взглядывал на Ульянова, державшего последнюю корректуру, на его сосредоточенное лицо. Ульянов приехал сюда из Мюнхена для окончательного редактирования первого номера «Искры».

Закончив правку, Ульянов отдал испещренную значками полосу Вернеру для внесения исправлений в набор. Отдал и, возбужденный, явно не зная, чем занять себя. То он нетерпеливо подходил к наборщику, склонившемуся над кассой в поисках нужной литеры, то обращался с каким-нибудь незначительным вопросом к Бауману, то пытался шутить с Германом Рау (что-то насчет своего «варварского» произношения).

Наборщик не торопился. А когда он с той словно бы замедленностью в движениях, которая выдавала истинного мастера, перебрал наконец поправленные строки и, положив лист бумаги на валик, принялся крутить ручку, Бауман с трудом преодолел искушение тоже что-нибудь сделать — ну ту же хотя бы ручку покрутить. Но он подавил в себе это желание и, как и Ульянов, стоял молча и неподвижно по другую сторону машины, ближе к лотку, на который должен был вылезти из-под валика свежий оттиск. И вот тонкий газетный лист прятался на лотке. Первым взял его Герман Рау. Наверное, так и предполагалось: хозяин типографии первый смотрит свою продукцию. Но, должно быть, и сам Рау почувствовал, что в данном случае как раз это-то и не имеет существенного значения — что хозяин; он почувствовал это и, кажется, даже не взглянув на оттиск, бережно поднял его с лотка и протянул Ульянову.

— Поздравляю, друзья, поздравляю, — негромко и буднично произнес он при этом.

Ульянов не ответил. В этот момент он уже пробе-

гал глазами полосу. В левом верхнем углу стояли слова: «Российская социал-демократическая рабочая партия», в правом — эпиграф: «Из искры возгорится пламя!» и подпись: «Ответ декабристов Пушкину», а между этими строками, в центре и очень крупно было набрано: «ИСКРА». Стоя рядом с Ульяновым, Бауман вместе с ним проглядывал полосы. Первый номер при всем том, что был он довольно невелик, оказался очень насыщенным. Но, бесспорно, главной статьей была та, которой открывался номер, — «Насущные задачи нашего движения». В этой передовице, написанной Ульяновым, была изложена, по сути, программа деятельности всей русской социал-демократии. Взгляд Баумана задержался на завершающих статью строках (они были перед глазами, и Ульянов, должно быть, перечитывал сейчас эти строки).

«Перед нами стоит во всей своей силе неприметная крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного. И только тогда исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева: «подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

Бауману вдруг захотелось, чтобы Ульянов оторвался от газеты: хотелось сказать ему все, что думал о нем, сказать какие-то особенные, добрые слова. Ульянов оторвался от газеты и, обернувшись, посмотрел на него, но Бауман так ничего и не сказал ему. Он почувствовал, что любые слова, тем более «самые-самые», попросту неуместны в эту минуту. Верно, не он один чувствовал так. Потому что и Ульянов обыкновенно и очень деловито сказал:

— Ну что ж, начали!..

А глаза у самого блеснули в радостном возбуждении.

Бауман подумал, что, сколько бы он ни прожил и какие события ни заполнили бы эту его жизнь, все равно он навсегда и, вероятно, до мельчайших подробностей запомнит все, что связано с рождением «Искры»: так уж водится, что люди никогда не забывают счастливые свои минуты...



Он многого не знал тогда, Бауман.

Не знал, что отпущено ему будет на этом свете только пять лет еще, меньше даже.

Что дважды за это время попадет он в тюрьму — общим счетом на два года.

Что он будет первый, кто доставит в Россию «Искру».

Что доведется ему быть делегатом Второго съезда партии, где он станет большевиком.

И что потом — через десять дней после того, как откроются перед ним ворота Таганки, — его уже не будет: падет от руки пьяного черносотенца, подосланного охранкой. И ни о чем не успеет он подумать, оглянувшись в последний свой миг и увидев железный лом, занесенный над головой, ни о чем; и боли он не почувствует; лишь земля качнется ему навстречу. Лишь земля — навстречу.

Произойдет это 18 октября 1905-го в Москве. И будет тогда Бауману тридцать два года...

Полностью повесть о Николае Баумане — «Книга о счастливом человеке» — будет издана Политиздатом в серии «Пламенные революционеры».



Аркадий
Рыклин

Поэма о расстрелянной пластинке

*С записью ленинской, только что
прозвучавшей речи, юные, как сама
Революция, они ездили по селам
Украины, подымая народ на борьбу
с врагами. Юным ленинцам и посвя-
щается эта поэма.*

Вот они — мои трубы медные
И мой век.
Я иду медленно, медленно,
Как идет снег.
И святую, а не отверженную
Память лет
Я несусь бережно, бережно,
Как несут свет.
Там под окнами ветры стылые.
Черный прах.
У Надежды Константиновны
Бинт в руках.
И застлало глаза туманами.
Но себя там
Он не дал внести, даже раненный,
А вошел сам.
И я вижу сквозь эту бурную
Память лет
Не трибунного, не скульптурного,
Не из газет...
Снова вижу, как меж товарищей,
Стиснув рот,
Ленин, кровью истекающий,
Сам идет.

1 А на дальней степной тропе
Ночь расстреляна,
Но герой мой несет в себе
Правду Ленина.
Он прошел мимо нищих хат
По обочинам,
Он из Центра привез мандат
С полномочьями.
А еще, как свою судьбу
Предстоящую,
Он большую привез трубу
Говорящую.
Шея тонкая — худоба,
Жизнь бессонная:
А еще за плечом труба
Граммфонная.
Жизнь сказала: — Смелее стой,

Необученный! —
И буденовку со звездой
Нахлобучила.
Но пока он ведет в селе
Речь привычную,
Банда мчит по степной земле —
Кони с бричками.
И пока, предъявив мандат,
Он работает,
Десять бричек в село летят
С пулеметами.

А зовут как!

Антон.

В чем он!

В рваных ботинках.

А что вез!

Граммфон.

А еще что!

Пластинку.

После тифа его
Мастер стриг под машинку.
И сильнее всего
Что хранил он!

Пластинку.

Ах, Антон, ах, Антон,
Так не с каждым бывает,
Лично Ленину он
Слово предоставляет.
И гудит в голове
От неслыханных прений..
То: — Хай Ленин живе!..
То: — Невже же тут Ленин!
Но над сотнями плеч,
На майдане осеннем
Эта боль, эта речь
Разве не о спасении!
А сверху тополя
Машут, не уставая.
А вокруг вся земля,
Как пластинка без края.
Тут сейчас, как везде,
Пашни старые жестки.
Чей-то плуг в борозде,
Как иголка в бороздке.
Они пашут, пыля,
Они пашут по кругу.
И звучит вся земля
Под иголкою плуга.
Лишь с Антоном беда,
И сгорит он, как спичка.
Рвется банда сюда,
Рвется банда на бричках.
И не ведают тут
Ни селяне, ни Ленин, —
Через сколько минут
Будет парень расстрелян.

2

А с Антоном хлопчик
Тот, что не прогонишь.
Хлопчик — горобчик,
Хлопчик — воробьиный.
Это он, по сути,
Ассистент Антона,
Честно ручку крутит,
Ручку граммфона.
Ассистент, по сути,
Целый месяц ездит.
Целый месяц крутит
По всему уезду.
Но, скребя затылок,
Он мальчишкам вторит,

И от несознательности
Он с Антоном спорит.
Дескать, к той пластинке
На плацу гудящем
Краще бы и «Полечку»,
«Гопачок» бы краще.
Иль о Стеньке Разине,
Атамане грозном...
Только с каждым разом он,
Хлопчик тот, серьезней.

3 Дымится шлях, войной затоптанный.
И там, где пепла нанесло,
На черных бричках с пулеметами
Враги врываются в село.
И вот десяток дул нацелено.
И в галифе, как бог и царь,
Пластинку эту с речью Ленина
Бандитский слушает главарь.
И «шо нам Кремль!!» — бандит рассеянно
Цедит, скривив в усмешке рот,
Потом пластинку с речью Ленина
Берет и на траву кладет.
И, ни о чем не став расспрашивать,
В тревожно замершей степи
Он говорит Антону нашему
Одно лишь слово:
— Наступи!..
На чем записан голос Ленина!
Нет, не на плоскости на той,
А на шляхах, где сердцем велено
Идти в последний смертный бой.
И те шляхи, тогда горящие,
Шляхи в дыму, шляхи в пыли,
Потом уже в круги звучащие
На граммофонный диск легли.

4 Но, глядя на пластинку брошенную,
Стоит, не движется Антон,
Хоть сам главарь глазами скошенными
Следит, когда ж наступит он.
Антон над хатами и тропами
Стоит спокойно, как гранит.
— Ну, наступи!
Антон, как вкопанный.
— Ну, наступи!
Антон стоит.
— Наступишь, отпущу сейчас же я,
Шагай в любую из сторон.
А не наступишь,
в землю заживо!
Но только хмурится Антон.
А с главарем его приспешники,
От ненависти горячи:
— А ну, не лезь, парнишка, в грешники!
— А ну, дави!
А ну, топчи!

5 Ленин...
В пору труда бессонного
Я спрошу:
А не слишком ли по-казенному
Я пишу!
Дело жизни его поручено
Нам беречь.

Но не слишком ли я заученно
Строю речь!
И в поэме про то великое,
Что у нас,
А не слишком ли мной натыкано
Громких фраз!
А метель, словно белый маятник,
Снег в дыму.
Я иду, но иду не к памятнику,
А к нему...

6 Антон стоит,
хоть лезут бешено.
И та пластинка, как судьба...
Она на грудь ему повешена,
А он привязан у столба.
И вот удар, врагом обещанный,
И в той пластинке наяву
Кровавые открылись трещины,
Осколки ссыпались в траву.
И от осколков тех чернеющих,
Осенняя, едва жива,
Сперва в крови, потом седеющая,
Обугливается трава.

7 Ни при чем тут поминки!
Обрывается путь похоронный.
А осколки пластинки
Погребаются вместе с Антоном.
И пластинкою этой,
Необъятной, распаханной, черной,
Вся планета с рассвета
Зазвучала сурово и скорбно.
Степь гудит под набатом,
И селяне тревожатся глухо:
— Що же Ленин казав там!
Як узнать, як почуть, як послухать!
Так, быть может, хоть хлопчик,—
Он же речь эту слушал раз двадцать,
Хоть не точно, хоть в общем,
Но расскажет за Ленина, братцы.
И ведет он рассказ.
Хоть по-детски,
но снова и снова
Хлопчик Ленина речь
Повторяет от слова до слова.
А зовут как!

— Антон! —
Отвечает он всем чуть сурово,
Мол, Антон, теперь он,
Он несет теперь Ленина слово.
И то слово неся,
Подымаются села едино,
И в пожарищах вся,
За Советы встает Украина.

Вот они — мои трубы медные
И мой век.
Я иду медленно, медленно,
Как идет снег.
И святую, а не отверженную
Память лет
Я несу бережно, бережно,
Как несут свет.

Борис Василевский

РАССКАЗЫ

Рисунок А. Голицина.



I. НА ДЕЖУРСТВЕ

Весной успеваемость, несмотря на призывы учителей «поднажать в последней четверти», становилась хуже. Отчасти были виноваты в этом быстро набирающие силу белые ночи. Солнце с каждым разом садилось все позже и позже, и дети все дольше по вечерам не уходили с улицы, бегали по поселку, когда им давно пора было спать. В школе на общем родительском собрании постановили с этим бороться, а в помощь родителям организовали дежурство учителей.

Иван Васильевич и Юрий Александрович сошлись около десяти вечера у школы. Они покурили, глядя на море, которое уже открылось, только у берега метров на пятьдесят стоял припай. Полоса заката разлилась у горизонта, словно красные учительские чернила.

— Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса, — припомнил, продекламировал Юрий Александрович. Он первый год жил здесь, приехав сразу после института, а потому каждое время года и все, что оно с собой приносило, было для него ново. Новы были затяжные штормы осенью, пурги и сияния зимой, а теперь вот белые ночи.

— Скоро и полчаса не даст, — отозвался Иван Васильевич. — Скатится вот сюда, — он имел в виду солнце, — постоит напротив поселка и снова вверх. Иван Васильевич был старожилом.

Они пошли вдоль поселка, растянувшегося по косе, и справа у них было море, а слева лагуна, а за лагуной сопки — привычные их очертания. Сейчас на их склонах лежали тени: в той стороне были сумерки. Поселок был небольшой, одна прямая не длинная улица. Дети, еще издали завидев учителей, прятались за дома, пережидали там, а потом с любопытством выглядывали. Стояли возле домов и взрослые чукчи. Вспомнив уговор на собрании, они покрикивали на детей, но не было в их голосах настоящей строгости. Когда учителя подходили, они качали головами и сокрушенно улыбались по поводу своей родительской беспомощности.

Дежурство выходило совершенно бесполезным. Не бегать же за учениками и не затаскивать их в дома силой.

— Вон и Локке мой, — возмущился Юрий Александрович, заметив мелькнувшую за углом фигуру. — Добро бы хорошо учился, а то... Вот недавно отсутствовал три дня. Явился, спрашиваю: почему не ходил? Болел. А лицо — будто он месяц на Черном море загорал!

— В Дежнев ездил за утками, — спокойно сказал

Иван Васильевич. — Там сейчас самая охота. Утки на Север идут.

— Да. Пошел я к нему домой. А он, оказывается, с отцом и ездил!

Иван Васильевич засмеялся.

— Скоро не станут ездить, — успокоил он. — Утки через косу полетят, за поселком.

— Да не в этом дело. Дело в принципе, — горячился Юрий Александрович. — Родители не влияют на детей. Хотя сейчас, например...

Они уже прошли весь поселок и повернули обратно. Теперь море было слева, лагуна справа, а прямо перед ними вставала сопка. И дети как-то само собой оказались в противоположном конце поселка, мелькали под сопкой, и оттуда доносились их крики.

— А вы не думали, что они просто нуждаются в солнце? — сказал Иван Васильевич. — Долгая полярная ночь, пурги, сидение дома... Элементарная нехватка ультрафиолетовых лучей. А лето короткое. Вот они и используют каждую минуту. Пока солнце не зайдет, никто не ляжет. Да и вы не ляжете.

— Ну я, положим, и зимой поздно сижу.

— Тетради проверяете. А у них традиция, и не традиция даже, а естественная потребность. Посмотрите, сколько народу...

Действительно, люди стояли почти возле каждого дома. Некоторые ушли к морю. Колхозный тракторист Толя Унпелер сидел на крыльце со «Спидолой», ловил музыку. Походило это все на какой-то нешумный, но согласный праздник.

— Одно дело — взрослые, — еще возражал Юрий Александрович, — а дети...

— А здесь и дети — взрослые. Как-то попалась мне книга о северных народностях. Некого Штернберга. Я ее для вас найду. Так вот он пишет, что дети гиляков в 10—12 лет уже совершенно как взрослые. Стреляют, гребут, ловят рыбу, работают наравне со всеми. И постоянно среди взрослых: на охоте, дома, на празднике. Так и здесь. Обращали внимание, как разговаривают чукчи с детьми? Как с равными. А мы, учителя, об этом как-то забываем или не хотим понять. Он летом охотился в море, был полноправным членом бригады, стрелял и раздвигал моржей, да и китов приходилось, а вы его зимой в угол ставите. Ведь ставите?

Иван Васильевич преподавал в младших классах. На совещаниях в школе, где обсуждался очередной новый способ повышения успеваемости, он обычно помалкивал, выступал только, когда надо было охарактеризовать свой класс, причем прогнозы его бывали всегда такими мрачными, что директор только за голову хватался. Выходило, что у него

чуть ли не половина будет неуспевающими, но с четвертными и годовыми контрольными класс его справлялся лучше всех...

— Да, конечно, местные особенности! — воскликнул Юрий Александрович. — Но программа-то общая — что здесь, что на материке. И требования одни!

— В том-то и дело, — с досадой проговорил Иван Васильевич. — Кстати, вы кого оставляете в своем шестом?

— Локке, Икупчейвуна, Кеулина, — твердо перечислил Юрий Александрович.

— Ну, Локке — ясно, ему жениться пора, а Икупчейвуна с Кеулиным — зря! Я их учил. Любознательные ребята!

— Да ведь по десять ошибок в диктанте!

— А в начале года?

— Двадцать — двадцать пять.

— Вот видите, — обрадовался Иван Васильевич, — по десять! Это же очень хорошо. Вы не смотрите, что по нормам за пять ошибок надо ставить два. Поставьте им три...

— Это что же? Завышать?

— Не завышать. Условно. Притом, если вы их оставите, это будут жертвы вашей педагогической неопытности. В этом году вы сами учились. В будущем начнете работать творчески. Вот увидите. Позовите с ними еще год. Только учтите, что русский язык для них все-таки не родной. Что собственная фонетика у них другая. Учтите и... — Иван Васильевич помолчал. — Вы утку на лету подстрелите? — неожиданно спросил он.

— Не знаю, не пробовал, — растерялся Юрий.

— Наверняка сначала промахнетесь. А Икупчейвуна с Кеулиным подстрелят... Охотиться-то думаете?

— Ружье купил...

— И правильно. На воскресенье приглашаю а Дежнев. А летом ходите с бригадой в море. Побывайте у пастухов в стойбищах. Присмотритесь к их жизни. И в школе вам станет легче...

Они уже в который раз прошли по поселку. Улицы постепенно пустели. Далекие льдины, неподвижно застывшие в полосе заката, казались черными. Не понять было, закат это, или восход, или какое-то равновесие между ними, потому что полоса не меркла, но и не разгоралась.

— Часов двенадцать уже, пора и нам по домам. Насчет воскресенья договорились?

— Договорились, — сказал Юрий.

Придя к себе, он согрел остывший чайник, выпил чаю и долго сидел, глядя в окно на лагуну. Ему не спалось, потому что не привык он еще к белым ночам. Сопки на юге начали розоветь. Юрий взял недавно купленное ружье, из которого еще не стрелял, как и вообще не стрелял ни разу в жизни. Он снова вышел на улицу и пошел на берег моря, подальше от поселка. Во льдах, стоявших у берега, были протоптаны тропинки, зимой по ним охотники уходили к разводьям караулить нерпу. По одной из таких тропинок Юрий выбрался на кромку. Вдоль нее со стороны Берингова пролива низко над водой летели утки, бакланы и еще какие-то птицы с широкими красными клювами, похожие на больших попугаев. Почти над головой Юрия пролетел одинокий беспечный баклан. Решившись, он выстрелил. Баклан пролетел дальше и, как показалось Юрию, сочувственно на него посмотрел.

Юрий усмехнулся и пошел домой. Солнце уже поднялось — большое, красное, охлажденное — и стояло над морем, почти не слепя глаз. Тонкое,

узкое облако, надвинувшись, рассекло его пополам, и теперь оно напоминало Юрию Александровичу круглый приоткрывшийся рот Икупчейвуна, когда что-то вдруг поражало его в объяснении учителя.

2. ЗА МАЛЬЧИКОМ

После вечерней линейки, только я собрался на ужин, прибежал начальник лагеря. Был он бледен.

— Мальчик убежал, мальчик! — только и смог выговорить он.

Следом пришла старшая пионервожатая. Выяснилось, что Тыкку из 3-го отряда ушел в свой поселок, километрах в четырнадцати от лагеря.

Я не любил нашего начальника: на Север он приехал недавно, откуда-то из Пятигорска, не то из Сочи, и полон был еще материковской суеи и тех понятий о воспитании, которые так не подходили к здешней жизни. Сейчас я наслаждался его смятением. «Мальчик убежал. Надо же! Ай да мальчик, вот так молодец!» — бормотал я, собираясь. Я обул резиновые сапоги, сунул в рюкзак еду и взял карабин — дали мне его на морзверкомбинате для походов, только ни одного похода еще не было из-за дождей.

Я вышел из лагеря и пошел вдоль берега моря на север, поднимаясь все выше и выше по склону сопки. Земля здесь была ровная и твердая, без кочек, и идти было приятно. Наверху попадались выбеленные китовые позвонки и ребра, и я думал, как они могли здесь оказаться. «Наверное, раньше тут было море», — пришла мне в голову общая мысль, но потом я решил, что это следы древних стойбищ. Берег повышался чем дальше, тем больше, и, поднявшись довольно высоко, увидел я, что далеко в море еще стоят сплошные льды.

Отдельные льдины плавали и у берега, они были причудливо вырезаны, некоторые с правильными отверстиями — все это напоминало собрание абстрактных скульптур. Иногда раздавался короткий шум, льдина обрушивалась, я оборачивался, и такую льдину легко было различить: она медленно покачивалась среди прочих, неподвижных.

Часа через полтора я подошел к расселине и спустился в нее. Несмотря на июль, на дне ее лежал снег спрессованным могучим пластом, и слышно было, как под ним несется вода. Я перешел по снежному мосту, поднялся наверх и увидел обогреватель. Это была примета, что я прошел половину пути. Обогреватель стоял здесь для путника, застигнутого пургой, но сейчас был заброшен — крыша разобрана, и двери не было, а под полом жили евражки. Завидев меня, они коротко свистнули и опрокинулись в свои норы, и я успел заметить только рыжие, пушистые, как у белок, хвосты.

Я достал из рюкзака хлеб и банку тушенки, перекусил, а потом покурил, сидя на пороге, глядя на тундру и море в свете белой ночи, в каком-то неживом свете. Похоже было, что где-то горят скрытые, как на станциях метро, неоновые лампы...

От обогревателя дорога стала хуже, однообразнее. Теперь пошла ровная низкая тундра, вся в кочках, между которыми проступала вода. Впереди я видел большую острую сопку, цель моего пути, но до нее было еще более часа. Когда идешь по тундре, советовал один знакомый геолог, самое лучшее — углубиться в себя. Я думал, что наконец-

то мне удалось перейти эту линию сопки, которую уже второй год я только видел из окон нашей школы, и всякий раз казалось мне, что там, за сопками, и начинается настоящий Север. А мой Север до сих пор был — четыре стены классной комнаты, и тетради по вечерам, и поселок, который можно было пройти за пятнадцать минут, если не торопиться; не было на моем Севере ни собачьих упряжек, ни разлившихся в тундре речек, ни карабинов, ни медведей, ни китов. Да и поселок наш не был похож на северный — обжитой, устроенный. Живя здесь, даже валенками не надо было обзаводиться и шубой — все рядом: школа, магазин, столовая, клуб. Но Север все-таки был где-то близко, люди оттуда иногда появлялись в нашем поселке, прилетали, приезжали на собаках и вездеходах, и в ихнисходительных взглядах ясно читалось, что мы — не Север...

Показались дома. Несмотря на то, что была ночь, на берегу слышались голоса и стучал трактор. Я спустился в овраг, перебрался через речку, прыгая по камням, и вышел вдоль оврага к морю. Здесь разделявали моржей: валялись головы с клыками, пласты мяса, снятые шкуры. Еще два моржа перекатывались в прибое, лапы их сваливались то в одну, то в другую сторону, и от этого они казались живыми, только вода вокруг была красной. Подъехал трактор, моржей зацепили тросом за клыки и стали выволакивать на берег. Мальчишки вскочили на задние лапы и поехали. Народу здесь было полно, и работа шла вовсю: женщины скребли шкуры, мужчины рассекали туши, старухи копались во внутренностях. Охотники — все они, несмотря на лето, были в кухлянках, нерпичьих штанах и зимних шапках — снова погрузились в вельботы, чтобы идти в море. Это была такая же, как у нас на материке, страда, как сенокос или уборка.

На меня почти не обратили внимания. Один молодой чукча, ближе всех, оглянулся и сказал: «Етти». Я уже знал, что «етти» означало «пришел» и еще означало «здравствуй».

— Етти, — сказал я.

— Охотник? — спросил он, указывая на мой карабин.

Я сокрушенно покачал головой. — Да, здесь был настоящий Север, без обмана. Он засмеялся (смех его означал, что он и так знал, что я не охотник), с размаху всадил железный крюк в пласт мяса и поволок его к тракторным саням. Тут я увидел моего Тыкку.



Он тоже заметил меня и теперь прятался за какого-то старика, сидящего на бревне, поодаль. Я подошел к ним и начал объяснять, что пришел за мальчиком. Старик спокойно смотрел на меня. Может, не понял? Я еще раз повторил, что мальчику надо вернуться. Тогда он посмотрел на Тыкку, тот что-то сердито сказал, и я уловил еще знакомое слово «этки» — «плохо».

— Да, да, — закивал старик, — раз надо...

Я попытался объяснить, что не так, не надо, а наоборот, это хорошо — лагерь: много ребят, играют, и из Провидения специально привезли свежую картошку и яблоки.

— Этки, там скучно, — сказал Тыкку.

— И-и, раз надо, — повторил старик.

— Будет хорошая погода, пойдем в поход, — сказал я, стараясь говорить так же кратко.

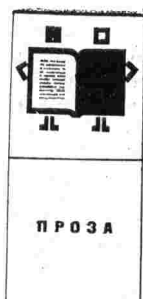
Тыкку молчал.

— Постреляем из карабина, — еще сказал я.

Он посмотрел на мой карабин, как бы сомневаясь, настоящий ли, может ли у меня вообще быть настоящий карабин, и тогда я сунул руку в карман и вытащил горсть патронов, блестящих и острых, как маленькие ракеты.

— Ладно, — согласился он наконец, — только посмотрим еще моржей...

Возвращались медленно, торопиться не хотелось обоим. Как и было обещано, стреляли в бакланов. Они сидели на льдинах возле берега по нескольку штук в ряд и были похожи на высокие кувшины с узкими и длинными горлышками. Черные кувшины на белых подносах.



Кирилл Ковальджи



ЛИМАНСКИЕ ИСТОРИИ

РОМАН

Рисунки Г. Новожилова.

Этот тихий городок с удивлением подмечает свою растущую популярность. Видно, кто-то рассказывал кому-то, а тот еще кому-то, и разнеслась молва, что летом здесь можно всласть отдохнуть: налицо все преимущества юга плюс раздолье — не то, что Сочи или Ялта, похожие на троллейбусы в часы «пик».

Тишина, одноэтажные домики и особнячки-кораблики — нет-нет да и попадаются окна круглые, как иллюминаторы. За причудливыми оградами — маленькие виноградники или фруктовые деревья. Ветки акаций и шелковиц зелеными сводами сомкнуты над мостовыми. А тротуары сплошь в каменных плитах, расчерченных квадратиками, — дожди моют их душем, быстро и чисто стекая в лиман, — калоши здесь так же непепы, как в запахе метро. А в самом днестровском лимане цвета кофе с молоком шныряет всякая вкусная рыба, и до Черного моря рукой подать — четверть часа на катере, и перед тобой расстилается уникальный золотой пляж без единого камешка.

О чем думает приезжий, открывая этот городок? О чем угодно, только не о том, что быть ему историком. Неважно — сразу или погодя, но никуда он от этого не денется.

Завидя издали серые контуры крепостных стен и башен, которые были бы под стать столице могучего царства, кто не удивится: откуда это и зачем? Скром-

I

ный, тихий городок, пресный лиман, в котором пока дойдешь до глубины: — состаришься; вокруг степь да степь, ни горы, ни ущелья, ни темного леса, ничего великого, хоть шаром покати; и вот, на тебе, посреди этой ровности, где глазу не за что зацепиться, вырастает этакая махина, чья-то каменная опора, фундаментальный оплот, прямо камень преткновения среди заштатной тихости, крепость — явно себе на уме.

Дикие племена и варвары всех мастей охотно посещали этот городок, но однообразные следы их посещений — пепел и зола — улетучивались со временем. Лишь те, что были покультурней, оставили здесь более долговечные следы: скифская утварь, молдавские надписи на камне, римские монеты да осколки греческих амфор — земля так густо насыщена историей, что начини ковырять ее перочинным ножом, и, пожалуйста, — можешь открывать домашний музей.

Этот город, кажется, существовал всегда: не был он ни слишком малым, чтоб бесследно затеряться в истории, ни слишком великим, чтоб взлететь под солнце и рухнуть раз и навсегда. Он живуч и явно притягивает на бессмертие. Он возвышался неоднократно, но не очертя голову и не раз бывал жестоко испепелен, но всегда оставался какой-то корешок, откуда сквозь пепел пробивались вскорости новые ростки. Теперь он угомонился и в мудрой скромности своей возвышаться уже не собирается, но и надеется никогда больше не быть развеянным по ветру.

Как правило, лиманские историки не удостоивают внимания ни себя, ни большинства живых и хорошо

Журнальный вариант.

знакомых лишь потому, что им не дано оставить имени в истории. Да, историки могут обойтись без любого из нас, но вот сама история складывается не только вообще, а случается с каждым из нас...

2

Мужчины не плачут,— повторял отец. Он, конечно, никогда не плакал. А я... силился быть мужчиной, но все-таки я был гораздо моложе отца.

Я загубил папину любимую пластинку, где Вертинский пел про ветер в нашей степи молдавской и про то, как легко с душою цыганской кочевать, никого не любя.

Эта мужская независимость была мне очень по душе. В порыве самостоятельности я, оставшись один в доме, покрутил ручку патефона и попытался установить пластинку на вертящемся диске. Она тут же весело выпорхнула из рук...

Сначала, не соглашаясь с бедой, я лихорадочно прикидывал, как скрепить осколки, потом понял, что судьбы не миновать и надо встретить ее, как подобает мужчине.

Я не убежал из дому, не заревел в голос, не отбивался, прося пощады, а, бледный и решительный, скинул штанишки, лег на диван и молча вытерпел порку. Отец, потрясенный моим мужеством, всыпал мне меньше, чем полагалось. А может, почудилось так, потому что боль не так больна, когда ее не боишься.

Мужчины не плачут...

Я стал следовать этому правилу и в драках, приходил домой, улыбаясь рассеченными губами, и счастлив был, если попадался отцу на глаза.

Но, оказывается, мне еще далеко было до победы над собой. Жил у нас Петька, белый петушок. Сколько петухов я потом перевидал — все на один манер: пустые, кичливые птицы. Но Петьку никогда не забуду. Петька любовно выделил из всех людей моего отца, и эта любовь выделила Петьку из петушиного рода-племени. Как только распаивалась калитка, он кидался к отцу, восторженно хлопая крыльями. Отец носил в кармане кукурузные зерна и кормил Петьку из рук. Обычно суровый, отец открыто радовался этой петушиной привязанности и светлел лицом.

В душный сухой полдень, когда вот-вот что-нибудь должно случиться — гроза или землетрясение, — отец открыл калитку, а Петька не появился. Удивленный отец нашел его в глубине двора. Петька понуро стоял у забора, зернышек с ладони не клевал. Отец пощупал его свесившийся гребешок, взял Петьку под мышку и пошел через дорогу к ветеринару. Мне велел ждать.

Больше десяти минут я не вынес. Крадучись, подобрался к той изгороди, за которой лечили Петьку, заглянул и похолодел от ужаса: ветеринар сидел на корточках и толстыми пальцами перебирал красные внутренности петуха. Отец стоял рядом.

— Ты смотри, — покачал головой ветеринар, — а я думал, что у него чумка. Зря его стрихнином угостил...

Отец круто повернулся к выходу, не простясь с убийцей, а я пулей бросился домой, заметался по двору, не находя себе места, потом заперся в дощатой уборной и тайно от всех вырвался до изнеможения.

Отец же вел себя, словно ничего не случилось. Правда, неделю спустя купил другого белого петуха, но тот был петух как петух, и мы его вскорости съели.

Мужчины не плачут...

Время шло. Петьку затмил Рекс — охотничий пес, умища необыкновенная. Отец говорил ему: «Рекс, нельзя!» — и бросал на пол кусок мяса. Рекс опускал печальную морду на лапы и выжидающе смотрел то на отца, то на мясо, лежащее у самого его носа.

— А вы уйдите! — предлагал кто-нибудь дотошный. Отец выходил на веранду покурить. Гости наперебой кричали Рексу: «Можно!» — даже подталкивали его, но он грустно упирался. Завидя возвращающегося отца, Рекс весело подскакивал к нему, оглядываясь на тот несчастный кусок мяса: «Видишь, я его не тронул, даже не понюхал, хотя, честно говоря, запах у него чертовский, за версту слышно...»

А когда отец (тоже при гостях) предлагал ему соленый огурец: «Рекс, ешь!» — Рекс ел. Ел уморительно — жевал кисло и вяло, чисто по-стариковски. Но никогда в его взгляде не было ни капли рабской угодливости. Он как бы говорил: «Что ж, ты хочешь еще раз испытать мою любовь, пожалуйста, убедись, я ради тебя все сделаю. Я тебя не подведу, не осрамлю перед этими твоими двуногими приятелями — они так громко хохочут, но разве ради тебя съедят какую-нибудь гадость? И вообще не умеют дружить».

Тут Рекс несколько преувеличивал: был у отца настоящий друг — Миша, которого никто не звал по отчеству, даже я. Миша, кстати, души не чаял в Рексе, но тот вежливо принимал его любовь, соглашался с ней, не более.

Как я уже сказал, Рекс был охотничьим псом. На охоте — совсем другое дело! — отцу не приходилось ни приказывать, ни запрещать. Они охотились молча, только переглядывались, прекрасно понимая и чувствуя друг друга. Часто даже отец его слушался, подхватывая на лету его немые команды, подаваемые скошенным глазом, левым ухом, кончиком хвоста.

Стратан отчаянно завидовал отцу и настырно пытался купить у него Рекса. Стратан частенько приставал к компании охотников, не раз встречался с отцом в клубе за партией в покер. Сначала как бы в шутку заговаривал: «Продай, не то реквизирую». Отец отшучивался: «Подарил бы, да сбежит ведь!» Но с властью шутки плохи. Стратан стал всерьез приставать, уговаривать, дуться. Хотя каждому дураку было ясно, что отец ни за какие блага не уступит Рекса, Стратан все набавлял цену, потому что был самодовольно упрям и не мог согласиться, что в Лиманске есть вещи, которые ему не удаются: Стратан шестой год возглавлял в нашем городе жандармский пост.

И все-таки настал день, когда шеф понял, что не видать ему Рекса. И он отомстил — в рамках закона. Улучил момент, когда соседские ребяташки выпросили у отца Рекса на зайца. Они бегом — с визгом и гиканьем — бросились на полянку за виноградниками. Вот тут-то появился Стратан и застрелил Рекса. «Сожалению, но я поступил правильно. Известно, что примария (городская управа) постановила пристреливать собак, обнаруженных за городом без хозяина. Я не успел заметить, что это ваш пес. Очень сожалею. Я готов возместить убытки...»

А мальчишки, которые плача прибежали к отцу, рассказали следующее: шеф подозвал Рекса. Тот остановился на скаку и, узнав, доверчиво подбежал. А когда Стратан, улыбаясь, направил на него двустволку, Рекс не шелохнулся: он отлично знал, что такое ружье, но вильнул хвостом, показав, что понимает шутку. Ему и в голову не пришло, что знакомый улыбающийся человек, подозревавший его, мо-

жет... Смог. Бедный Рекс, отец привил ему роковую иллюзию, что всякий человек собаке — друг...

Отец спокойно курил, не глядя на Стратана. Потом сказал:

— Мы с вами больше незнакомы, господин шеф.
— Да стоит ли из-за собаки...

— Стоит, господин шеф. Поторопитесь уйти. — Лицо у него было какое-то зеленое, странное, — шеф глянул на него и действительно заторопился...

Мужчины не плачут...

Хоть я любил и жалел Рекса куда больше, чем Петьку, в тот раз я выстоял. Во-первых, стал капельку постарше и сумел «прикусить сердце», как говорят молдаване. Во-вторых, ненависть сушит глаза: я придумывал тысячи способов мести Стратану, и все мне казалось мало.

Поэтому я удивился, что Миша чуть не разревелился. Он кусал губы и отворачивался.

Миша был не совсем мужчиной. Он на охоту не ходил, не курил и не имел врагов: «У меня есть друзья, потом дружки-приятели, потом знакомые, потом незнакомые. Зачем мне враги? Любого человека можно повернуть к себе хорошей стороной. А нет таковой — можно просто отвернуться, перевести в разряд незнакомых...» Каждый новый человек сперва обязательно нравился Мише, и сам он в ответ искренне стремился понравиться. И Мишу любили, особенно женщины. Я его тоже любил, хоть он и не был настоящим мужчиной. С ним можно было шалить, кувыряться по полу, и это было здорово, потому что Мише незачем было подлаживаться к моему возрасту — он только с виду выглядел взрослым...

Миша был ровесник отца, убежденный холостяк, шутник и балагур. Миша купил приемник и первым долгом поймал Москву. Вдруг мы впервые услышали:

Сердце, тебе не хочется покоя,
Сердце, как хорошо на свете жить.

— Какая песня, Алеша! Господи боже ты мой, какая песня! — всплеснул руками Миша. — Ты понимаешь, Алеша, большевики — настоящие русские, вот ведь какие песни поют!

— Да, — сказал отец, — у них свежесть. Это точно.

— Именно, — вскочил Миша и повторил (он сразу схватывал мелодию): — «Сердце, как хорошо на свете жить». Черт возьми, молодая страна, завидная. А что мы поем?

Ямщик, не гони лошадей.
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить...

Что мы поем, Алешенька? «Встретились мы в баре ресторана...» (Миша отлично пародировал Лещенко и Вертинского) или «Все равно — где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц...». Или румынские песни. Прекрасные песни, но все минорные, томные. Ты понимаешь, какая в этом политика? Где рассвет, где закат?

— Чур, без политики. Уволь, — отмахивался, улыбаясь, отец, для которого политика была бранным словом. — Лучше споём:

Как много девушек хороших...

— Дура, — смеялся Миша, — ты женатый. Это не для тебя.

Они были разными — отец и Миша. Но в одном сходились полностью — в неистребимой тяге к шутке, веселой проделке. Будто назло окружающим, они не только не торопились стать солидными и взрослыми, а, напротив, медлили и упирались. Промотав три четверти молодости, они никак не хотели расстаться с последней четвертушкой озорного мальчишки, выдумщика и затейника. Встречаясь, они модели на глазах. Хотя я не очень-то понимал их баловство — уж больно не вязалось оно с той каменной мужественностью, которая мне так imponировала, — это не мешало мне хохотать до колик, до слез — такие слезы я разрешал себе охотно.

А что придумал Миша на рождество!

Во-первых, он заставил себя ждать, чего с ним не бывало отродясь. Гости недоумевали, празднество не клеилось. Наконец двери распахиваются, и появляется торжественный Миша с огромным, высоченным тортом на вытянутых руках.

Дамы ахают от восторга и удивления, а Миша небрежно объясняет, что это он со своей матушкой изготавил. Миша водворяет торт на стол и предоставляет мсей маме почетное право разрезать его. Польщенная мама берет нож, возится с тортом, краснеет, встревоженно поглядывает на отца: торт не режется, нож не берет его. Мама волнуется: боится и Мишу обидеть и свой авторитет уронить. Отец с какой-то шуткой о мужском превосходстве спешит на выручку, приподнимает торт и замирает: больно уж он легкий! Тогда поворачивает его набок, и опешие гости с досадой видят обыкновенное сито, покрытое кремом. Хохот, мама бранит Мишу, а он выскакивает в прихожую, якобы спасаясь от дамского гнева, и возвращается с набором отличнейших пирожных... Мир восстановлен, праздник идет своим чередом, «торт» убран на подоконник, но Миша, как художник, не удовлетворенный своим детищем, все поглядывает на него, будто торт еще на что-то подбивает, а на что — не сразу поймешь...

— Дамочки и господа! — Озаренный Миша встал над столом, прося тишины. — Вручим-ка сей торт примарю... нет, Стратану! Беднягу население не балует вниманием...

Замазали кремом ножевые следы, позвали прислугу:

— Отнеси господину шефу, но не говори, от кого. Так, мол, и так, от почитателей, и сразу сматывайся...

Милые шутники, они никак не ожидали того, что произошло.

Вечер у Стратана начался неудачно. Сын его, Титус, великовозрастный гимназист, приехавший на праздники из Бухареста, нехотая стал рассказывать о покушении на премьер-министра. Он жестикулировал, судорожно заглатывал воздух и не мог остановиться, хотя аппетит у гостей был уже изрядно порчен.

— Железнодорожники, понимаете, подсунили в задник автомобиля бомбу с часовым механизмом... Трах-тарарах! Человеческие мозги, понимаете, у моих ног! Вот как этот студень подрагивают... Понимаете?

Тут служанка и внесла торт, объявив срывающимся голосом, что это подарок.

— От кого? — спросила мадам Стратан.

— Какая-то девушка принесла, сказала — от житей.

Стратан, несколько удивленный и все же очень довольный этой разрядкой, поднялся с салфеткой, заткнутой за воротничок, и лично освободил место для торта. Мадам Стратан, розовая и счастливая, оглядывала гостей: дескать, вот видите?

— Осторожно! Тут что-то не так! — сказал помощник шефа, худощавый и нервный молодой человек.

— Всегда у тебя что-то не так! — прогудел Стратан. — Вот ты, сластена, и отведаешь первый кусок! — Стратан решительно, как палач, резанул торт, нож задрожал, скользя, и раздался противный металлический скрежет. Во внезапной мертвой тишине помощник шефа деревянными губами прошептал: «Адская машина!» Гимназист с криком «караул» высадил окно. Реакция остальных была молниеносной: задыхаясь и воя, отпрянули от стола, и через несколько мгновений в столовой две дамы лежали в обмороке, а сам Стратан одиноко застыл над столом, выронив нож, не отрывая вытаращенных глаз от «адской машины». Затем, обливаясь потом и замирая, он стал пятиться задом в спальню, позвонил и поднял жандармов по тревоге. Дом был оцеплен, через окно самые храбрые пожарники ударили из брандспойта по «адской машине».

— Сито! Убей меня бог, сито! — радостно завопил рябой пожарник.

Он был потом уволен. Ибо прежде чем вопить правду, надо сообразить, не повредит ли твой вопль начальству.

Для сохранения престижа Стратану нужна была настоящая бомба. И она была представлена как вещественное доказательство в вышестоящие инстанции. Но тот idiotский вопль «Сито! Убей меня бог, сито!» услышал весь город, будто он передавался по радио.

И город хохотал. Стратан долго не появлялся на люди, исподволь пытался дознаться, кто ему такую свинью подsunул, но, говорят, безуспешно... Уже весной запахло; о «покушении», устав смеяться, вспоминали все реже и реже, как вдруг ночью в парке был найден Миша — без сознания, избитый до полусмерти. Придя в себя, он толком ничего не смог объяснить: возвращался из клуба полночь через парк. Тут его схватили сзади, заткнули рот кляпом, накрыли мешком и долго били, кажется, сапогами...

Стратан первым стал искать «бандитов». Искал необыкновенно шумно и ретиво, наконец задержал двух пьяниц, но за отсутствием улик месяца через два отпустил их.

Миша кашлял кровью: ему отшибли легкие. Врачи ничем не смогли помочь, — Миша умирал. Каждый день его навещал отец. Миша лежал в своей маленькой холостяцкой комнатке, день и ночь у его изголовья тихо плакала старенькая матушка, все просила у Миши согласия пригласить священника. Но Миша и отец — оба друга — были хоть и не воинствующими, зато убежденными атеистами. Отец в последний раз был в церкви, когда венчался, и то по слезной просьбе родственников матери. А Миша и не помнил, когда. Он слабо улыбался и пытался шутить, что все равно попадет в рай, ибо избегал женитьбы, как те святые отшельники, беспорочные мученики. Но в конце концов Миша пожалел мать, позволил отпевать себя в церкви, только с одним условием: чтобы до кладбища оркестр играл «Сердце».

Отец хоронил друга. Был нестерпимо яркий весенний день тридцать восьмого года. Миша лежал в цветах, спокойный и отрешенный. Было тихо, когда его вынесли из церкви, и тут впереди пошел оркестр и заиграл:

Сердце, как хорошо на свете жить.
Сердце, как хорошо, что ты такое.
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить...

Улицы были полны народу, двери магазинов и окна домов распахнуты, Миша плыл над толпой, цветы покачивались, музыканты высоко в небо бросали молодую радостную песню, и чем горше подкатывал к горлу горячий комок, тем громче били литавры, тем ослепительней горели медные трубы.

Сердце, как хорошо на свете жить...

Мне было жалко Мишу, я плохо видел его из-за набегающих слез, но никак не мог поверить, что он мертв навсегда, что он не слышит своей любимой русской песни, этой большевистской песни, которая впервые звучит здесь во всеуслышание по всему городу, и полицейские вынуждены перед ней снимать фуражки с королевским гербом. Часто потом мне снился Миша в гробу: он открывал глаза и поворачивал голову, а его продолжали хоронить, и я в страхе хотел крикнуть «Стойте, он жив!», но голоса не было, и гроб несли дальше, и Миша прощально смотрел в яркое небо над головой... Миша просил не плакать. Но, пожалуй, только один человек выполнил это: отец. Сосредоточенный и собранный стоял он в церкви, когда отпевали Мишу, и своей неподвижностью его лицо походило на Мишино. Сосредоточенный и собранный выносил он гроб и шел за гробом с обнаженной головой. Когда у кладбища порыв ветра ударил пылью в лицо и все стали тереть глаза, отец и здесь не заморгал, не зажмурился — может, потому, что был в очках...

Я никогда не видел слез отца. Но как-то много лет спустя он признался мне, что однажды...

3

Ярким зимним утром по сверкающему снегу идет высокий прямой старик в белом костюме с непокрытой седой головой.

Хлопают калитки.

— Ребята, Аристид пошел...

Побросав санки на горке, орава мальчишек срывается догонять Аристида Аристидовича. Он поднимает свои пушистые белые брови, потом улыбается в белые усы и дает болельщикам понести ломик и белый саквояж.

Ребята забегают вперед, перекидываются снежками. Аристид Аристидович изредка поправляет усы двумя пальцами левой руки, не спеша идет мимо крепости к лиману. Темные башни и широкие стены опущены сединой. Летом у голубого лимана, среди зелени, под синим небом крепость определенно выглядит белой, а теперь зима заставляет бывалый крепостной известняк признаться, что он просто сер.

Однако только до лета, ибо все в мире относительно. Аристид Аристидович, как аист, окруженный воробьями, ступает наконец на лед.

Я прибегаю позже всех, но вовремя. Он как раз отбивает затянувшуюся за ночь прорубь, быстро раздевается и... Дыхание у меня перехватывает, я всей кожей чувствую острый холод воды, хотя стою плотно закутанный шарфом, в теплом пальто и шапке-ушанке.

Старик подо льдом... Мы стоим немые: хоть и верим в Аристида Аристидовича, а все-таки страшно. Но он находит выход по световому столбу в воде, появляется в проруби, как морж, — волосы у него подстрижены ежиком, глаза окружены лучиками лукавых морщинок. Он докрасна растирается полотенцем.

Долго — лет до семи — я считал его волшебником. При встрече — дома ли, на улице — он вдруг вскидывал свои знаменитые брови:

— Ай, Стасик, что у тебя в ухе? — и тут же доставал из моего уха конфету. Откуда она бралась? Я никогда без него не находил этих шальных конфет. Он же их у меня обнаруживал в самых неожиданных местах — в ботинке, в носу, под чубом.

Однажды, отправляясь к нему за книжкой, я скрупулезно проверил себя с головы до пят и прямо с порога объявил ему:

— Нет у меня конфет! — Сказал это с вызовом, но не слишком твердо — уж очень хотелось, чтоб они были.

— А ну-ка, я поищу! — сказал, потирая пальцы, Аристид Аристидович.

— Покажите, пожалуйста, руки!

Аристид Аристидович протянул добрые, открытые ладони.

— Нет, — все-таки сказал я. — Издалека скажите, где у меня конфеты, я сам достану.

Аристид Аристидович опустил руки, помолчал.

— Ну что ж, давай-ка я угощу тебя своими...

— А где же мои? — Мне стало обидно до слез. — Где мои, Аристид Аристидович?

— Твоих уже нет. Они теперь у других мальчиков. Понимаешь, конфеты не любят, когда им ставят условия. Вот какая штука. Некий сорванец, когда я у него нашел конфету в носу, вошел во вкус и стал требовать еще. Ну, я нашел. А он: еще! «Зачем тебе столько?» — спросил я. «А вы трясите у меня из носа, пока целая гора насыплется. Я продам конфеты и куплю велосипед». «Так давай сразу вытрясем велосипед!» И я тряс мальчика за нос до тех пор, пока мы оба не убедились, что велосипед безнадежно застрял и дальше трясти нечего...

И Аристид Аристидович протянул мне конфету, как две капли воды похожую на те...

Но она была не такая вкусная.

Аристид Аристидович не любил рассказывать о себе. Знаю лишь, что когда-то он был военным врачом, но ему не повезло: под Львовом попал в плен к австрийцам, оттуда пешком вернулся зимой восемнадцатого года. С каких пор помню старика, он жил один. Жена давно умерла, а сын Федя работал где-то в Кишиневе и несколько лет сидел за политику.

В комнатах Аристида Аристидовича был образцовый порядок, хотя тесно из-за книг, аквариумов, всяких подозрительных труб и астрономических приспособлений. С войны медицина ему опостылела. «Надо лечить не тело, а душу», — говорил он. Решил стать учителем и даже преподавал года два, но при румынах русские школы вскоре были закрыты. Незнание языка, отказ присягнуть королю да неблагоприятный сынок преградили ему путь к кафедре. Он был вынужден прибегнуть к частной врачебной практике.

Я застал его уже преемником Шахразды, любимцем всех поколений городка. Он уже разменял шестой десяток. Поговаривали, что он составляет историю Лиманска, но это не подтвердилось. Кто слишком любит говорить, вряд ли станет записывать.

За несколько лет до войны в Лиманске стояла обманчивая тишина.

— Повезло нашему городу, — говорил Аристид Аристидович, — первая треть века его пощадила, войны обошли его стороной. Мировая рыскала совсем неподалеку, грозилась вот-вот нагрянуть сюда, да вовремя выдохлась. Гражданская война тоже ходила по самому краешку — бушевала на том

берегу лимана. Бывает так: на море буря, а лиман не шелохнется. Нередко слышали мы перепалку, рассказывались всякие страхи, будто в Одессе по два раза в день меняются власти, а то и хуже: налетают сразу две-три и, пока разберутся, кто они и за кого, делают город по веревочке. Кого там только не было — французы, немцы, турки, белые, красные, зеленые и даже какие-то черномазые — зуавы, что ли?

«И что себе думает этот мир?» — вздыхали лиманцы, наблюдая грозу из окна.

Так-то оно так, но того и гляди, шаровая молния влетит тебе в окно. Никто не знал заранее, что все обойдется. Обошлось, да только с виду. Из года в год терял город своих сыновей, век с самого начала брал с города дань — выбирал молодых парней и совал в руки ружье. Не потому ли в городе через двадцать лет объявилось целое сословие старых дев?

На том берегу лимана страсти вроде угмонились, шли слухи, что большевики отвоевались и теперь копают картошку. Между берегами пролегла незримая граница, она жила, как больной зуб, который дал тебе передышку, но не сказал, на сколько. Но-сишь тихий зуб с собой, но, обмирая, вспоминаешь о нем на каждом шагу.

Лиманцы точно сговорились не напоминать о себе, не лезть со своим мнением в Лигу наций, — авось, большой мир забудет о них между делом. Лиманцы равно опасались и знаменитых преступников и королей, воспитывали своих мальчиков и девочек с тем расчетом, чтоб им не захотелось ни того, ни другого. Они учили их дурачиться на привычных развалинах крепости, как на безобидной львиной шкуре. Мол, зарубите себе на носу, детки, все, что гремело тысячи лет — казни, козни, победы и беды, — все это навсегда отгремело и теперь никому не нужно: ни мне, ни тебе, ни дяде Илюше...

Но мальчики мечтали о войне. Они бог весть откуда подхватывали сведения о новейших видах вооружения, они поднимали в воздух саранчозые тучи самолетов, опускали на дно океанов субмарины, на их картах сшибались стрелки и перекраивались границы...

А взрослые, устав от длительного напряжения, были оглушены внезапной тишиной и поторопились ей поверить. Они очнулись с первобытной жадностью, варить кофе, подвязывать виноград и просто лущить семечки у ворот. Захотелось жить им, заткнув уши, чтоб не слышать мира, как морского прибоя, — слава богу, на лимане прибоя нет.

4

Лиманцы жили тихо-мирно, но вот объявился то ли человек, то ли черт — пришпорить, встряхнуть, пробудить этот город от вековой спячки, как он выразился. Этого молодого человека звали Ремус Корня, и прибыл он летом тридцать седьмого, казалось бы, отдохнуть...

Приезжий подкатил к гостинице на извозчике, щеголяя тростью и перчатками. Жесты его были небрежны, несколько вялы и изысканны, он казался человеком слегка усталым и презрительным. А его вытаращенные глаза с розовыми прожилками производили какое-то странное впечатление назойливости. Он погулял по городу, но не с целью осмотреть его, а скорей, чтоб его самого осмотрели. В ресторане он замучил кельнера, требуя миттеи (мясное блюдо, которое готовится на жаровне) какого-то особенно хитрейшего приготовления, потом — после шам-

панского — полчаса держал его стоя, все выпрашивал да выпрашивал. Зато на чай отвалил сполна.

Вечером Ремус зашел в клуб. Сыграл несколько партий в бильярд, но неудачно. Проигрывая, вдруг начинал тыкать кием, не глядя: дескать, вы думайте, что хотите, а мне плевать. Вскоре поил шампанским целый взвод бильярдистов. Следующим вечером проиграл в покер, причем уплатил денежки небрежно, нимало не огорчаясь. Компания вокруг него росла, как снежный ком. Стало известно, что он знает Париж и Вену, как свои пять пальцев, и денег у него куры не клюют. Сначала он расписывал Европу, женщин, но по отдельным его высказываниям было неясно, куда он гнет: то ли аристократ, то ли карбонарий. На восторги наших бедных провинциалов: «Ах, Париж, ах, Вена!» — он ответил, мягко улыбаясь, как человек, вынужденный вразумлять младенцев:

— Париж — сладкая зараза, расслабленная лакомка, красивая шлюха.

Это произвело впечатление. Дальше — больше. Причем частенько он, как бы проговариваясь, ронял: «Мы считаем», «Мы решим эту проблему». Это «мы» окутывало его смутной и жутковатой тайной. Молодежь мотыльками стала виться вокруг Ремуса. Он предложил как-то вечером:

— Айда в крепость с шампанским!

Так и сделали. Забрались на башню, нависшую над лиманом. Это была первая «трапеза» проповедника и апостолов. Кстати, апостолов было как раз двенадцать, но это чистая случайность. Важно, что Ремус понимал толк в романтике: тосты под небом, Млечный Путь, как пена шампанского, мертвые, загадочные контуры стен с бойницами, высота башни — все это заставляло предчувствовать нечто значительное, необычное.

И Ремус заговорил, сперва тихо и устало, потом резко и властно:

— Вот крепость. Она мне нравится и не нравится. Нравится, что она была могучим воплощением силы, не нравится, что одряхла. Как вам не стыдно жить в этом паршивом городишке, когда крепость живым укором торчит перед глазами? Вы мне тоже не нравитесь и нравитесь. Противно, что вы по уши сидите в этом тихом болоте, но здорово, что вы молоды. А значит, если вас надоумить, вы свое возьмете. Но сначала возненавидьте обывателей, которые хотят вас вылепить по образу и подобию своему. Как вам не тошно среди старых дев, юродивых и жалких кротов? Неужели вся жизнь в том, чтобы ходить в клуб, в парк, в церковь, жениться, растить брюшко, болеть подагрой, умереть в своей постели и перебраться вот на то кладбище? Видите, там много крестов, но места еще есть.

— А что делать? — спросил с тоской Николенька, сын дяди Мити — владельца рестораника.

— Друзья, вы спрашиваете, что делать. — Ремус встал во весь свой средний рост, сцепил пальцы и хрустнул ими. Апостолы вздрогнули. Ремус развел руки и стал дирижировать в такт словам. — Сначала надо понять, что происходит в мире, потом разделить мир на друзей и врагов. Точней: ищи врагов, а друзья найдутся.

— А что особенного происходит в мире? — спросил Сюня, сын парикмахера.

— Скоро война.

Тут у Николеньки и мелькнула впервые догадка, что это черт. Правда, он подумал возвышенной — дьявол, Мефистофель, а не просто черт с хвостом и рогами.

— С кем? — спросил Титус, сын Стратана, гимназист, приехавший на каникулы.

— Будет великолепная война, веселая, очистительная гроза, ураган! Вверх дном такие вот городишки, долой мусор. Останутся сильные, смелые, необузданные, которые хотят все и которым все позволено. Вот и решайте, с кем вы. Пробудится ли в вас орел, или останетесь курами? О войне еще поговорим. Теперь будем искать врагов. Пугливых прошу уйти.

Никто с места не стронулся. Тут уж и Титусу почудилось, что это демон, который заставил содрогнуться Париж и Вену, пролетел, презрительно усмехаясь, над ночной Европой и опустился на вершину этой старинной башни. А то, что он был в модном зеленом костюме, что руки с тонкими пальцами выглядывали из белых манжет, — так это было еще острее и заморательней.

— Отлично. Во-первых, долой церковь. Ее идеал — девственность, манная каша и сухие мускулы. А мы за грех! Мы хотим женщин, мяса и силы! Во-вторых, долой буржуазию. Она ожирела, копит золотишко, трясется над ним и хочет, чтоб за нее воззвали другие. А мы хотим жить ненасытно и молодо, транжирить золото и воевать! В-третьих, долой социализмов. Их идеал — уравнивать всех, свести к той серединке, которая ни рыба ни мясо. Они хотят всего в меру и чтоб мир превратился в единый муравейник, над которым висит серая радуга. А мы хотим нерзвенства! Высокие должны стать выше, низкие — ниже. В свое время обезьяны разделились: одни до сих пор обезьяны, другие уже люди. Теперь человеки должны разделиться: меньшинство — полубоги, герои, совершенные и ярые. Большинство — воли и рабочие лошади.

— Но полубоги переделаются, если их много! — сказал юркий Милька, сын вдовы.

— Конечно. Мы за войну. Она очистительный огонь прогресса. Только у властителей и война под стать им. Дуэли полубогов! Турниры! На шпагах, на кулаках! А пулеметы — это против рабов. Впрочем, пулеметы могут не понадобиться. Воли и лошади не бунтуют. Достаточно кнута.

— А как же я? — спросил престодушный Владик. — Я вот ростом не вышел да и драться, честно говоря, не люблю. Выходит, мне в воли?

— От тебя зависит. Если пойдешь с нами, плевать на рост. Полубог — это конечная цель. Пока что научись стрелять. А мы тебе найдем высокую женщину, чтоб дети сказали спасибо.

Все рассмеялись. Владик тоже. Выпили еще шампанского. И тут Ремус перегнул. То ли поторопился, то ли хмель ударил в голову. Он жестом попросил тишины.

— Но главное — мы должны очистить и возродить нацию! Мы прямые наследники римлян. Мы, и только мы — вот те дрожжи, на которых взойдут полубоги. Остальные в силу внутренней неполноценности и с нашей помощью станут волами. Сначала должна победить белая раса. Потом в белой расе должны победить европейцы, и, наконец, среди европейцев должны победить мы — потомки римлян. Многие из нас уже начали это великое дело: в Италии — Муссолини, в Испании — Франко, в Португалии — Салазар. Теперь очередь за нами...

— Значит, мы вместе с русскими будем сначала громить негров? — спросил удивленно Титус.

— Ни в коем случае! — увлекся Ремус. — Русские — это Азия, татарская помесь, болгары — тоже монголы. Нет! Мы сначала очистим белую расу. Мы, например, постараемся, чтобы в Румынии жили только румыны.

Вот тут, что называется, проповедник дал маху. Он почувствовал недоуменное молчание апостолов, но не догадался, в чем дело. Правда, Николенька

загорелся. Он представил себе, как героем вышагивает по главной улице Лиманска, тротуары полны народом и любая девушка кинется ему на шею — только моргни.

— Виват Рома! — воскликнул он.

— А при чем тут ты? — съязвил Титус. — Ты армяшка.

Николенька страшно удивился: он об этом не подумал. Действительно, несколько столетий назад его предки появились здесь. Но теперь Николенька чувствовал себя полноценным лиманцем и вполне мог воевать за идею. Потому он коротко возразил Титусу:

— А ты дурак.

— Я румын! — гордо отпарировал Титус.

Сюня опустил голову: он был еврей и не забывал этого.

— Да? — ехидно протянул Афоня. — А, по-моему, Титус, твоя мать наполовину гречанка!

— Сам ты грек! — обиделся Титус.

— Ну и что? — стал кривляться Афоня. — Зато моя мама знала твою бабушку, она жила на Харлампьевской, она была гречанка, как и моя мама. Фанариотка!

Апостолы заволновались.

— Тихо, юноши! — сказал Ремус. — Драка — хорошее дело, но не надо так примитивно. Я завтра объясню, что такое раса. Греки были предтечей римлян, не кипятитесь. Давайте завтра ровно в семь соберемся здесь же. Идет?

...Однако между «трапезами» произошли некоторые события. Во-первых, еще той же ночью, пока Ремус спал, Титус и Николенька подрались, Милька пыталась разнять противников, ему тоже попало, Владик тихо смылся, остальные с интересом наблюдали и мотали себе на ус.

Во-вторых, два скрипача из ресторана оркестра, Яша и Григ, не участвовавшие в «трапезе», поступали после полудня в номер гостиницы, где остановился Ремус. Он почивал, принял их недовольный, расстроенный, в немыслимо лиловой пижаме, как у фокусника. Того и гляди, выпустит из рукава сову или чего похлестче. Яша и Григ долго мялись, извинялись и никак не приступали к делу.

— Я слушаю! — сказал Ремус, причисываясь перед трюмо. Яша и Григ с беспокойством следили за двумя упругими вихрями, которые упорно высасывали из-под расчески и — торчали!

— Домну Ремус, — начал Григ. — У вдовы Мильштейн есть сын скрипач. Боже мой, какой скрипач, хоть и самоучка! Но не в этом дело! Моисей лежит с весны, у него чахотка. Моисей умрет, если его не послать в Италию. Но у вдовы Мильштейн нет средств. Не могли бы вы...

— Нет! — прервал Ремус, не оборачиваясь. Его глаза, как белые шары, выпирали из розовой сетки прожилок.

Яша и Григ оторопели. Солнце выглянуло в окно, пижама Ремуса вспыхнула лиловым издевательским пламенем. Прошла минута молчания. Ремус наконец кончил причисываться — волосы ровно улеглись, но явно торпорились спрятанные рожки.

— Ну? — Ремус подошел, ослепляя их лиловым.

— Домну Ремус! — вскинулся Яша и коснулся рукава пижамы: — Мы вас умоляем! У вас же есть деньги! Одолжите — талант погибает! — Он чуть не выпалил: «Возьмите мою душу, но спасите Моисея!»

— У меня есть деньги. Правильно. Но ему не дам.

— Почему, домну Ремус? Чем он вас обидел? Это

ангел. Если б вы услышали, как он играет на скрипке! Плакать можно!

— Во-первых, ондохлый, во-вторых, он... не румын. Зачем ему оставлять потомство? Это — преступление против жизни. Я не собираюсь быть пособником преступления, — улыбнувшись, объяснил Ремус.

Григ взорвался:

— Вы... вы просто жадный! Денег жалко!

— Сколько нужно? — холодно спросил Ремус.

Григ осекся. Яша сделал большие глаза и обрадованно пробормотал:

— Хотя бы... пять тысяч.

Ремус достал из шкафа пиджак на плечиках, вытащил бумажник и, не торопясь, отсчитал пять тысяч. Яша и Григ следили за ним в оба, боясь пошевелиться. Ремус посмотрел на них, усмехнулся:

— Я совсем не жадный, — щелкнул зажигалкой, взял две хрустящие бумажки и поднес их к огню.

— Еще? — спросил он и зажег следующие две.

Запахло паленой шерстью, и предательский хвост шевельнул лиловое пламя пижамы.

Яша и Григ выскочили из номера. Григ быстро перекрестился, а Яша сплюнул и бессмысленно спросил кого-то:

— Зачем?

Титус почувствовал себя новым человеком. В его душе совершился яркий и радостный переворот. До сих пор он следил за жизнью как за неясной, пуганой игрой, а Ремус, словно чародей, сорвал пелену с глаз, открыл смысл игры и указал цель. Прежде всего он должен стать беспощадным и сильным: одолей себя, тогда и других одолеешь... Но, боже мой, как тесно переплетается новое со старым! Новый человек Титус поймал себя на том, что идет по улице с коробкой конфет для тети Розы...

Тетя Роза лет до семи была его нянькой, и он всякий раз, приезжая на каникулы из Бухареста, привозил ей гостинцы. Не бог весть что, но все-таки внимание... Правда, Титус на этот раз не заскочил в первый день к тете Розе, отложил на завтра, а завтра как-то забыл... Прошла целая неделя, и мать Титуса раздраженно сунула ему в руки эти несчастные конфеты и приказала отнести. Титус по инерции взял коробку, думая о более важных вещах. И, только заметив впереди себя тетю Розу, которая тяжело шла с двумя ведрами воды в руках, он понял, куда идет и зачем. Это его потрясло. Он увидел тетю Розу в совершенно ином свете, как бы с высоты орлиного полета. Он еще приближался к ней широким шагом, прицельно глядя в ее сутулую спину, но озарение уже разделило их непроходимой пропастью: он устыдился прежнего Титуса, сентиментального птенца, устыдился своей привязанности к этой жалкой, безродной курице, квочке, высиживающей без разбору чужие яйца. Кроткая старая дева, провинциальная дура, вязкая тина, засасывающая дерзкий порыв. Последняя столичная шансонетка свободней и выше ее! Титус понял: жизнь — дикий жеребец, оседлай его, вцепись в гриву, оттолкни свое прошлое, рабское кисейное детство, дурацкую родню и все рыбе царство этого города!

Титус швырнул коробку на тротуар, наступил на нее ногой и, круто повернувшись, ушел прочь.

А тетя Роза тяжело несла ведра, стараясь не расплескать воду. Она так и не узнала, как с ней расправился Титус.



5

—Роза, целовалась ли ты с кем-нибудь? — любопытствуют бывалые соседки. Роза то ли виновато, то ли стыдливо улыбается.

— Да ну вас...

— Нет, Роза, признайся!

— Ходил за мной один такой молчун...

— Ну и...

— А что, я такая дурочка, как все?

— Мы, что ли, дурочки? Каждый день целуемся!

— Да ну вас... — Роза не знает, что сказать, ей стыдно про это думать. Когда соседские мужики обнимают в шутку старую тетю Розу, она отбивается, смущаясь, как девочка.

— Ну, а он что?

— Ходил еще... А я все занятая была, не имела времени.

— И тебе не жалко?

— А зачем мне?

— Детей бы завела.

— Ваших хватает. Вам бы все хиханьки да хаханьки, а как детки пойдут — на, Роза, держи!

Старшая в многодетной семье, Роза сызмала ухаживала за младшими и не успела оглянуться, как средние сестры выскочили замуж и срочно позвали ее на помощь. Роза поочередно носила на руках племянников и племянниц, укачивала их и пеленала, пока сестры ходили в театр «Одеон» с молодыми мужьями. Детишки души не чаяли в тете Розе, заснуть без нее не могли, их становилось все больше, а тетя Роза была одна.

Когда ж она опомнилась... пожалуй, нет, она так и не опомнилась, она раз и навсегда свыклась со своей ролью, ей, как пристяжной кобыле, и в голову не приходило, что можно жить своей жизнью. Некогда было опомниться — она каждую минуту была кому-нибудь позарез нужна.

В гимназии не доучилась, а чему училась, не помнит. После смерти матери ей достались две комнаты — светлая и глухая. Светлую сдавала, сама жила в глухой. Никогда не выезжала из города, не видела поездов, не ходила в кино. Незаметно состарилась, незаметно, потому что не ощутила смены возрастов, запросто путала годы, они в ее зыбкой памяти смешались, сдвинулись без всякой последовательности. Зато всех выращенных ею ребятшек прекрасно помнила по именам. А имен этих было — пропасть! И русских, и румынских, и армянских... К тете Розе водили детей, как в детсад: сначала родня, потом квартиранты, потом соседи, потом соседи соседей...

«Погляди, Розочка, за моей Манькой, пока я на базар сбегать!»

И Роза глядела в оба. С русско-японской войны и до наших дней не было случая, чтоб она упустила что-то, чтоб ребенок расшибся или, не дай бог, проглотил пуговицу. А еще тем была хороша тетя Роза, что все делала за так, ничего не брала, умудрялась даже гостинцами потчевать своих (то бишь, чужих!) малышей... Конечно, не совсем за так, но ох как трудно было тетю Розу отблагодарить! Пригласишь ее за стол, ни за что не сядет:

— Ой нет-нет, спасибо, я сытая-пресытая!

А если настоишь, замашет руками:

— Нет-нет, мамалыгу я не кушаю... (В Лиманске глагол «ем» почему-то неизвестен.)

— Так хоть пирожочек! Сладенький!

— Нет, нет, от него тяжело в желудке. Спасибо.

Нашелся верный способ накормить тетю Розу: вы преспокойно всей семьей обедаете, а тетя Роза возится с дитятей. Пообедав, оставляете еду на столе, просите тетю Розу посидеть с дитятей, пока уснет. А сами уходите на прогулку. Тогда тетя Роза тайком, как бы воруя, поест — пощипает то здесь, то там, добавок уберет со стола, посуду вымоет.

При всей своей покладистости тетя Роза быззет и мстительной. Конторщица Леля что-то насплетничала про тетю Розу, но одно дело — насплетничать, другое — обходиться без нее. Когда Леля ее позвала, Роза пришла как ни в чем не бывало, молча снесла все капризы Лелиной Светочки. Вечером Леля собралась в театр, хватилась — левой туфли нет. Побежала за Розой, Роза божилась и клялась всеми святыми, что туфли не видала (чтоб глаза мои лопнули, повторяла она), помогала искать и искренне сокру-

шалась... Леля с ног сбилась, муж побежал вернуть билеты в театр... Туфля нашлась лишь на третий день. А Роза еще с неделю среди всегдашних забот то и дело не к месту улыбалась, склонив голову набэк...

6

Через два часа Ремус вышел из гостиницы, поигрывая тростью, и направился к крепости, куда должны были сойтись апостолы.

За это время известие о его поступке облетело город. Среди поклонников Ремуса разразился кризис. Большая часть города ужаснулась, отпрянула, отреклась от дьявола — главарями этой партии были Яша и Григ. Они перебежали из дома в дом, собирали прохожих на улице и наконец решили объявить лотерею в пользу Моисея, чтоб все-таки снарядить его в Италию. Другие стали молиться на Ремуса — необыкновенный, высшего сорта человек, кто знает, может, таким и уготовано великое будущее...

А Ремус шел к крепости. По дороге он встретил Аристиду Аристидовича, остановился и почтительно приподнял шляпу:

— Честь имею... Я ждал случая познакомиться...

— Вы утверждаете, что скоро будет война? — спросил тот в лоб.

— Поверьте, Аристид Аристидович, вы мне нравитесь. Я много о вас слышал и преклоняюсь перед такой молодой и сильной старостью. Вы, Аристид Аристидович, патриарх этого города, вам верят, вас слушают. Вы должны быть с нами.

— Будьте добры, объясните.

— Да, Аристид Аристидович, война будет. Гитлер готов обрушиться на Россию...

— Позвольте, у Германии и России нет общих границ!

— Будут! Между ними цепь небольших государств: прибалтийские страны, Польша, Румыния. Что делать им, чтоб не попасть в жернова? Кажется, ясно: стать на сторону сильнейшего. Но в правительствах этих стран засели тупые и слепые буржуа. Нам надо заменить их настоящими азартными политиками, которые пойдут с Гитлером и разделят его добычу. Другого выхода нет. Вот мы в Румынии постараемся сделать это. Нашему кораблю нужен дерзкий капитан, а не коронованный бабник! Всех нынешних политических импотентов мы заставим мостить автостраду Бухарест — Берлин.

— Позвольте, господин Ремус. По вашему мнению, что ли, раса — потомки римлян. А Гитлер считает иначе. Дойчланд юбер аллес.

— Господин Мутафолов, это неважно. Гитлер ошибается, называя немцев избранной нацией. Германцы ходили на четвереньках, когда римляне уже владели миром. Но мы выиграем на этой ошибке. Гитлер выдохнется, пока разобьет Россию. Тогда мы потихоньку и оттесним его!

— И вы заранее вербуете...

— Конечно! Надо подготовить почву.

— Еще вопрос: вы проповедуете нечто в духе Ницше — дескать, смерть слабым, падающего подтолкни.

— Допустим.

— Так Ницше первым подлежал уничтожению: он был немощным, несчастным, глубоко больным человеком. По-видимому, ненависть к собственным слабостям родила в его душе мечту о сверхчеловеке. Но если б его кокнули в колыбели, кто бы создал такое учение?

Ремус не сразу нашелся, что ответить. Старик не дал ему опомниться и продолжал:

— Полагаю, вы зря спешите в крепость.

— Это почему?

— Никто не придет.

— Вы? Вы их отговорили?! Ты, старик, обявляешь нам войну?

— Молодой человек, нервничать не к лицу сверхчеловеку. Честно говоря, я их не отговаривал. Это — дело ваших собственных рук.

— Что вы мелете?

— Это не я. Просто Лиманск не разбирается в национальностях. Он на человека смотрит, кто он: дурак или умный?

Ремус двумя пальцами быстро и ловко крутанул трость пропеллером, произнес с высокомерной досадой:

— В таком случае этот город — лишний. Придется скрыть до основания и на его месте построить военно-морской лагерь. Называться будет «Восточный форт». Я вам обещаю.

И, не дожидаясь ответа, Ремус твердо зашагал в сторону крепости.

Аристид Аристидович остался посреди тротуара. Он покачал головой:

— Старая песня. Ой какая старая.

До сих пор историки не пришли к согласию, сколько было названий у этого города — две дюжины или три. Доподлинно известно лишь то, что от Адама до наших дней на него натыкался каждый завоеватель, а наткнувшись, брал штурмом, первым делом сравнивал с землей и тут же, в донесениях о победе, переименовывал — то ли потому, что завоеватели не терпят всего, что было до них, то ли предчувствуя неминуемое возрождение городка.

И действительно, само пепелище немедленно начало сортировать завоевателей: одни, как перекаки-поле, уносились дальше, другие оглядывались и прикидывали — был здесь город, и, кажется, не зря.

Так не сдуру ли покуражились, спалив и порушив все, что могло гореть и рушиться?

Между тем возвращались невесты откуда уцелевшие старожилы и с удивительной сноровкой и упорством брались за старое — вили гнезда, ибо воители огнем натешились вдоволь, но их праздник весь вышел и настали будни.

И замешкавшиеся пришельцы начинали ощущать зуд в руках, сначала как бы от нечего делать оглядывали уцелевшие стены, потом устанавливали каменья на камне и не могли удержаться, чтоб не припасть и крышу. Город возрождался — под новым именем.

Однако почему жители, принимаясь за старое, не возвращались к старому названию? Может быть, потому, что надеялись впредь не подвергаться опустошению, скрыв под псевдонимом прежнее имя — невезучее или ставшее кому-то ненавистным. Но если столько псевдонимов, то поди отыщи настоящее! Нет, пожалуй, всякий раз новая жизнь, начинаясь, меняла и паспорт, — именуясь по мужу, по завоевателю... Но скорее всего, что и это не так: здесь чаще всего пахло не супружеской любовью и даже не браком по расчету, а просто насилием. Завоеватель, бессильно чувствуя неистребимость этого городка, довольствовался тем, что ставил свое клеймо, и оно держалось до следующего нашествия.

Но упрямый этот город исподтишка завоевывал завоевателей, превращал их в оседлых жителей своих, и они, питаясь соками этой земли, в который раз

смыкали разорванную цепь, полагая, что начинают с чистого листа.

Эти рассуждения успокаивали Аристиду Аристидовича, но не было в них гвоздя. Он остро пожалел, что нет рядом сына. Федя отбрил бы как следует этого молодца... Но Федя в начале мая был посажен за решетку, непонятно за что. Он же мальчишка, ему всего семнадцать. Почему его засудили? Конечно, он горяч не в меру, конечно, его заносит, но он же не потрясет основы...

Аристид Аристидович не соглашался с резкими взглядами сына, его вообще корбило от всех немедленных рецептов переустройства мира, он считал, что опасно сортировать людей по расам или классам, лучше воздействовать на разум и совесть большинства... Конечно, чувствовал шаткость своей идеи, но оправдывал ее: человечество не созрело для разумных поступков, хотя идет к тому. Надо терпеливо вдальбивать ему в голову, что дважды два — четыре. Да, если уподобить суткам возраст Земли, то возраст человечества окажется меньше секунды. То есть разумная жизнь на Земле только-только прорезывается...

Однако, столкнувшись с Ремусом, Аристид Аристидович затосковал по страстным убеждениям сына. Ему до боли захотелось увидеть, как Федя положил бы на лопатки Ремуса. Он бы гордился и восхищался сыном, это уж точно. Он представил себе нечто вроде диспута, где перед лиманской молодежью стоят лицом к лицу Федя и Ремус.

«Браво, господин Ремус! — сказал бы Федя, усмехаясь убийственно и свысока, хотя он ростом чуть пониже Ремуса. Зато плотней. Федя ни за что не унизил бы свою правоту до раздражения и гнева. — Браво! Великолепно! Вы провозгласили исключительность румын и заставили меня рыдать от восторга. В самый раз созвать на съезд всех Ремусов из всех держав — вот будет потеха! Ведь итальянский Ремус ни в жизнь не уступит румынскому в исключительности! А французский Ремус — у того в запасе Наполеон, не шутка! А у испанского — Колумб! Тут налетит монгольский Ремус с Чингисханом, британский потрясет ключами всех морей, американский козырнет мировым долларом, шведский воскресит викинг, венгерский — Аттилу, арабский и турецкий выставят две шеренги властителей полумира! Короче, у каждого Ремуса — полная рука козырей. Но кто выиграет, когда у всех жуликов исключительно козыри?! Когда за каждого бог и историческое право?! Заметьте, ложь, подделываясь под правду, всегда совершает ошибку — принимает одновременно тысячу правдивых обликов, а у правды одно-единственное лицо! Но давайте рассмотрим поближе ту румынскую нацию, за которую ратует наш доморожденный Ремус. Входит ли в нее полуголодное, темное крестьянство? Ни в коем случае! По Ремусу, оно быдло, оно не имеет ничего общего с истинными наследниками римлян. А рабочие, потрясшие недавно все королевство Гривицкой вооруженной стачкой? Тоже нет. Они прокаженные, в них гнездится зараза коммунизма. Они, по Ремусу, врожденные рабы, сиречь тоже быдло, а не потомки преторианцев. Наш Ремус отвергнет и духовенство за проповедь смирения, и интеллигенцию за ее преступные умствования, и буржуазию за опьяняющую салом лень и тупое самодовольство. Итак, румынская нация тает на глазах. Остается идея и наш элегантный господин Ремус! Посмотрите на него внимательно: под его модным костюмом кроется целая нация! Кто за ним пойдет, если пойдет? Мясники и кретины, как за его германским двойником — тем, с усиками...»

Да, на такой отпор у Аристиде Аристидовича не хватило бы пороку. Его утешало, что Ремус и сам оплошал. Аристид Аристидович действительно не отговаривал его так называемых апостолов. Каждый порознь по личным соображениям решил малость переждать, сочинив оправдание перед остальными. Один лишь Титус, говорят, рвался, но его не пустил отец. То ли Стратан из осмотренности охранял сына от подвохов политической игры, то ли успел пронюхать, что погода меняется и железногвардейцам грозит опала...

И все-таки как жаль, что не было Федей! Пусть идут события, как им положено, но отсутствие нужной личности делает их куда бледней и медлительней. Тем более когда личность эта — родной сын. Аристид Аристидович тяжело переживал его арест, но где-то в глубине души повторял, что нет хуже без добра, надеялся, что реальные тяготы отрезвят Федею, убедят его, что жизнь не волевой наскок, а куда более хитрая штука...

Федей был арестован в Кишиневе вместе с другими за участие в беспорядках, то есть в перломайской демонстрации. На допросах вел себя вызывающе, чем сразу выделился из остальных, и был удостоен особого внимания.

Когда Федею взяли, он даже тайне обрадовался. Жаждал испытать себя в столкновении — лицом к лицу с врагом показать свое превосходство.

С какой-то веселой ненавистью Федей ждал побоев и пыток. Он знал, что его презрительного взгляда не выдержит ни один агент сигуранцы. Но по воле случая Федей попал в руки следователя, который слыл интеллигентом и либералом. И притом, Серджиу Поп был в своем роде неглуп и обладал достаточным опытом.

— Вот что, Теодор, — начал он сразу, усадив Федею, — я знаю, что ты связан с большевиками и утистами¹, потому не морочь голову и не играй со мной в жмурки. Давай по-джентльменски, начистоту. Я откровенно скажу, что думаю. Я думаю, что ты дурак. Ты лезешь на рожон, а нам с тобой бороться неохота. Мы живем в мирной стране, и нам борьба ни к чему. А ты затеваешь кавардак в этой стране. Кому это нужно? Я скажу, кому. Только иностранной державе. Ты слепая пешка московской агентуры. Вот почему ты дурак. И отсюда первый вопрос: не пора ли тебе поумнеть?

Серджиу Поп был отчасти искренен. Ему жилось легко и приятно, он смотрел на свою службу сквозь пальцы и выбрасывал ее из головы, как только отбавывал положенные часы. Он любил жизнь и умел ею пользоваться. Пожалуй, это было единственным его убеждением. Он и за карьерой не гнался, вполне довольствовался достигнутым и обосновывал это застойной мудростью: перепьешь — стошнит. К своему королю он относился, как к галстуку: нужды в нем никакой, но так уж повелось... Он и к богу был вполне безразличен, хотя исправно захаживал в церковь. Приличия есть приличия.

А Федей, приготовившийся к удару и отпору, насторожился и с любопытством глядел на следователя. Лицо у того было мирное, слегка утомленное. Ни злобы, ни звериного блеска в глазах. «Что за фрукт? — подумал Федей. — Разыгрывает роль добряка или в самом деле мямля?» А вслух сказал:

¹ УТЧ — румынский комсомол.

— Не старайтесь. От меня ничего не услышите. Серджиу Поп сокрушенно покачал головой. Молча стал постукивать пальцами по столу. Вроде подбирал ритм какого-то танца. Он понял, что ему лень допрашивать. Игра не стоит свеч. Знал по опыту эту интонацию, эту позу, это мертвое упорство, которое только крепнет от попыток его сломать. Серджиу Поп прикидывал, как оформить протокол допроса, заранее зная все результаты.

Федей, тяготясь молчанием, крепился. Его так и подмывало вернуть что-нибудь такое, чтоб эта самодовольная рожа перекосилась. И не выдержал.

— Позвольте и мне, дураку, быть откровенным, — начал он тихо, ощущая легкую дрожь напряжения. — Только без обид.

— Какие могут быть обиды? — Серджиу Поп поднял глаза и перестал выстукивать румбу.

— Ну так вот. Я считаю, что вы паразит. Клоп. Клопу тоже неохота бороться с человеком, ему и так хорошо, но человек давил и будет давить клопов. Хотя занятие это пренеприятное. Смердит!

Серджиу Поп похолодел и тут же вспотел. Но не дрогнул. Только глаза его помутнели, будто он перестал видеть Федею, а кадры дернулся, как от глотка. Нельзя поддаваться этому хаму. Лучший способ не унизиться до обиды — отогнать ее, как муху. Он помолчал, выигрывая время. Его глаза медленно обретали зрячесть. Пальцы опять вспомнили румбу.

— Теодор, ты проговорился. Значит, ты коммунист. На паразитах помешались все коммунисты, даже в свою песню вставили, мол, «паразиты — никогда». Ты попугай, Теодор. То есть, по-вашему, товарищ Федор. Итак, продолжим. С какой ячейкой ты связан?

Серджиу Поп понимал, что ничего с допросом не выйдет, но надо было спасти честь мундира. Федей усмехнулся и стал рассматривать портрет короля на стене.

— Видный мужчина, — сказал он.

— Вполне, — ответил Серджиу Поп. — К нему ты и обратишься за помилованием. Но чистосердечное признание...

— Не тратьте время зря, — сказал Федей, закинув ногу на ногу. — Зовите сразу своих живодеров.

Серджиу Поп был не прочь поскорее избавиться от этого парня. Он инстинктивно сторонился больных, пьяных и одержимых. Особенно одержимых. Он не верил, что здоровый, нормальный человек может поступаться своими интересами ради идеи. Он видел насквозь людей своего круга, знал, что служение богу, родине или королю — просто привычное притворство, одно из необременительных правил для всех, кто принял условия игры. Но этот парень не притворяется. Он окончательный дурак, фанатик. В таких случаях пытки — отвратительное, зрящее дело. Кто слаб, тот и без пыток расколется, надо только умеючи запустить руку в его внутренности. Да и вообще пытки, мордобой — это некультурно, они не делают чести молодой европейской стране. Кто их только придумал!

— Ты прав. Давай кончать. — Серджиу Поп зевнул, прикрывая пальцами рот. — Меня ждут к ужину.

Он позвонил. Вошли трое.

— Будьте добры, заткните ему рот кляпом и привяжите к стулу, да покрепче.

Приказ был выполнен.

— Поверните лицом к стене. — Серджиу Поп не хотел встречаться с Федей глазами. Он чувствовал себя неловко. — Теперь отрежьте пол-уха. И отведите в камеру.



Серджиу Поп хлопнул дверью и ушел.

Связанный Федя недоумевал. Поведение следователя было странным, даже бессмысленным. Что это за пытка, когда у тебя ничего не выпытывают?

А следователь торопился сочинить протокол. Он велел отрезать арестованному пол-уха для отчета. Иначе вышло бы, что он не исчерпал всех методов дознания. Служба есть служба. У нее свои правила игры.

Встреча с таким следователем многому научила Федю. В тюрьме да и после Серджиу Поп назойливо торчал у него перед глазами. Сначала Федя задыхался от ярости. И бессилия. Все его силы, сжатые в кулак для борьбы с врагом, ухнули в какую-то свистящую пустоту. Единоборства не получилось. Этот мямля оказался хуже всякого зверя. И страшной. Федя раскусил загадку, понял, что такой безразличный исполнитель, не верящий ни в сон, ни в чох, опасней убежденного в своей правоте негодяя.

Феде мучительно хотелось еще раз встретиться с ним. Особенно после победы народа. Но, если следовать правде, выходило, что Серджиу Поп при перемене власти не ощутит большого потрясения. Он с легкой душой продаст всю сигуранцу со всеми ее потрохами. Я, мол, подневольный чиновник. Зато теперь могу пригодиться, весь к вашим услугам. Я, мол, в душе никогда не одобрял мерзостей... И ведь в чем-то правду скажет, сукин сын! Действительно не одобрял. И борьбы не хотел. И самолично не бил, не пытал. Даже сводил к минимуму страдания заключенных!

Федя думал, думал, переворачивал этого типа и так и эдак, как дотошный исследователь, ищущий суть. Может, такие, как он, в самом деле слабое место врага, вынужденного за неимением лучшего вербовать пустых приспособленцев? Может, стоит это учесть, стоит поприжать таких — и откроется зияющая брешь в твердыне старого мира?

А может, как раз наоборот — это самый тайный, самый неистребимый его продукт? Может, это тот песок, который страшнее горы? Та песчаная пустыня, в которой захлебнется самая бурная река? Мертвый мелкий песок, забивающий уши, ноздри, глаза... Лучше ходить по гвоздям, чем увязать в песке.

Нет, никогда Федя не допустит, чтобы светлый дворец будущего занесло песком! Нет, никогда Федя не коснется подлой руки. Даже утопая. Иначе подлая рука тут же прирастет к твоей — не отдерешь!

Только чистые, только чистые, только чистые руки — для революции!

Отрезанная мочка уха — памятка на всю жизнь. От миролюбивых, безразличных, не верящих ни во что.



Ремус потоптался на башне, потыкал ботинком камни и, раздосадованный, отправился в клуб, где решил отыгаться, с лихвой перекрыть издержки — проигрыши, угощения и банкноты, демонстративно сожженные перед Яшей и Григом.

...В тот вечер в клубе мой отец, его друг Миша (это было за год до его гибели) и нотариус Коврига решили сыграть в покер. Как раз искали глазами четвертого, когда подвернулся Ремус.

— Покер? — спросил он, поздоровавшись.

Отец промолчал, а Миша радостно согласился. Он обрадовался новому человеку и еще немножко тому, что этот новый человек, по слухам, играл небрежно и легко проигрывал.

Сели. Ремус был задумчив. Часа полтора игра шла с переменным успехом. Ремус пальцем поманил кельнера:

— Ужин на четверых. С шампанским. — И, обратившись к партнерам, добавил: — Я угощаю.

Кельнер подкатил маленькие столики с закуской к каждому играющему. Под столиками висели ведерки со льдом, в которых покачивалось шампанское. Пока один сдавал карты, остальные закусывали. Коврига по обыкновению отставил стул и сидел боком, чтоб дать место своему прославленному животу.

Отстранив кельнера, Ремус собственноручно откупорил бутылку, причем весьма ловко — не уронил ни капли пены. Разлил. Миша стал отказываться: я, мол, пить не люблю.

— Прошу, — сказал Ремус грустно. — Хоть пригубите. Ради меня.

Чокнулись, и Ремус стал тасовать колоду. При этом он вдруг вдохновился, рассказал несколько крепких анекдотов про похождения короля и его брата Николая.

Еще смеясь, отец чуть-чуть раздвинул свои карты, чтоб угадать их по уголкам. Три залета! Отлично. Открыл игру. Вошли все. Ставка была триста лей. Отец купил две карты и почувствовал толчок удачи: прибыл четвертый валет. Значит, каре, то есть редкая и сильная фигура. Чтоб не отпугнуть партнеров, предложил плюс двести лей. Но Миша тут же дает плюс пятьсот. Интересно, на что он надеется? Не поднимая глаз, Коврига говорит:

— Плюс тысяча.

— Тысяча пятьсот, — с запинкой говорит Ремус.

«Я быстро стал соображать, — рассказывал отец, — у Миши, наверно, не бог весть что — он любит рисковать, у Ковриги хорошая карта, — он зря не ползет на рожон, а вот господин Ремус, ей-богу, блефует, у него полно денег, вот и берет нас на испуг. Не выйдет. Как-никак, у меня каре валетов. Гозоро!»

— Тысяча восемьсот, — и выкладываю деньги.

— Две пятьсот! — говорит Миша, радостно вертя головой.

Колыхнув животом, Коврига прогудел:

— Пять тысяч.

— Ну... десять тысяч, — сказал Ремус.

На столе уже куча денег. И тут меня осенило: Ремус — шулер! Он под анекдоты с шампанским сделал накладу, сдал нам всем сильные карты, а себе — сильнейшую. Вот теперь и втягивает нас в ловушку.

Я бросил карты и толкнул ногой Мишу, чтоб и он не платил. Черт с ними, с теми тысячами, стоп! Миша с минуту молчал. Я понимал, какая происходит борьба в его душе. Однако вера в друга взяла верх — он бросил карты и, как потом рассказывал, тоже толкнул ногой Ковригу. Но тот набычился и, ни на кого не глядя, все-таки выложил десять тысяч.

Открыли карты.

Как я и предполагал, у Миши оказалось дамское каре, у Ковриги королевское, а у Ремуса — тузовое! Ремус спокойно собрал наши денежки. Я и Миша поднялись. Коврига с картами на горизонтальном животе сидел, как прикованный. Он тупо уставился на руки Ремуса. А Ремус удивленно перекатил свои выпученные глаза по нашим лицам:

— Игра кончена?

— Да,— сказал я.— Ничего не поделаешь, не пойман — не вор. Но учтите, господин Ремус, здесь с вами никто больше играть не будет. И вообще, мне кажется, вам лучше уехать.

Ремус пожал плечами, встал и ушел, не оборачиваясь».

Конечно, завсегдатаи клуба заметили, что Ремус положил в карман кругленькую сумму. Они поздравляли его, набивались на угощение, но, сославшись на спешные дела, он покинул клуб навсегда, сказав одну-единственную фразу:

— Дураки всегда проигрывают!

Той же ночью он укатил в Бухарест, заклеив Лиманск позором за его косность и тупость.

Мелькнуть-то он мелькнул, да след оставил. Оставил смутную тревогу какого-то нарождающегося веяния: сначала охотно откупоривают шампанское, а впоследствии требуют крови. И вдобавок бедные апостолы почуствовали свою национальность, как нечто особенное. Разбуженное внимание к своему происхождению вызвало у многих смешанное чувство неполноценности и превосходства. Николенька, например, уже не думал, глупей он или умней других, а думал, что он армянин, то есть, с одной стороны, хуже других, потому что живет не на армянской земле, своей земли не видел и своего языка не знает, но, с другой стороны, он лучше многих, потому что является потомком мужественного древнего народа, создавшего свою письменность и культуру тогда, когда румын, болгар или поляков еще и в помине не было. Так же думали и еврей Сюня и Милька-цыган. Последний открыл свою прародину Индию и увлекся учением йогов.

Сыновья все чаще стали обращаться к родителям с вопросом: кто я такой? Разразилась повальная страсть к истории десятков народностей, осевших в наших местах, и великое смущение овладело многими, в ком скрестилось по две, а то и по пяти кровей — поди разберись, кто ты. Особенно если у тебя мать молдаванка, а отец турок. Неужто левой рукой разить правую?

Это было околным увлечением прошлым, околным, потому что в поисках начал исследователи отходили все дальше и дальше от Лиманска, от живой истории земли, где родились и выросли.

9

Когда Титус после каникул вернулся в Бухарест, он кинулся искать Ремуса, потрясшего Лиманск. Раз господин Ремус знает весь Бухарест, то и весь Бухарест знает Ремуса! Но почему-то никто его не знал ни по имени, ни по приметам, ни по великим идеям, обуревавшим его. Точней, были десятки Ремусов, но других, а великие идеи — одна радикальнее другой — высказывались чуть ли не в каждой кофейне.

— Конспирация. Его, наверное, знают под другим именем. Возможно, он правая рука самого капитана Кодряну. Мы еще о нем услышим, помяните мое слово,— говорил Титус.

И действительно, в Лиманске еще услышали о Ремусе, а потом даже увидели.

В конце августа тридцать девятого года Николенька по поручению дяди Мити побывал в Яссах. На третий день он заскочил в отделение Камера Мунций (Дом Труда — нечто вроде официальных профсоюзов под управлением государства) и нос к носу

столкнулся с чиновником, у которого было лицо Ремуса. Пополневшее, но с теми же выпученными глазами.

Николенька опешил. Черт в тихой канцелярии напугал его сильней обыкновенного черта с рогами.

— Домну Ремус... — прошептал он.

— Вы меня не знаете, и я вас не знаю! — сухо и быстро, не разжимая губ, проговорил Ремус и скрылся за какой-то дверью.

За два года Николенька повзрослел, его уже нет-нет да и называли по имени-отчеству, потому он довольно быстро преодолел замешательство и стал прикидывать: черт испугался меня больше, чем я его. А если так, то почему? Не потому ли, что время другое?

Время было другое. Король запретил все политические партии, в том числе и железную гвардию. Капитан Кодряну был убит, прочие главы легионеров сидели за решеткой или скрывались.

Николеньку затомило любопытство: неужто черт сдрейфил и отрекся от самого себя? Может, и в церковь ходит? Вот потеха, как он теперь заговорит...

И толкнул дверь, за которой скрылся Ремус. Увидел его, уткнувшегося в бумаги, подошел вплотную.

— Домну Ремус, я здесь никого не знаю, составьте мне компанию. Где можно хорошо поесть и выпить?

Глаза Ремуса быстро обшарили комнату (в ней никого больше не было), потом внимательно ошупали Николеньку, его лицо, костюм, руки. Николенька простодушно улыбался.

— Где вы остановились? — спросил Ремус. Николенька назвал гостиницу и номер. — Прекрасно. Я зайду за вами в семь. — И Ремус опять уткнулся в бумаги.

Он появился на полчаса раньше, сразу подошел к окну и поглядел, куда оно выходит.

— Поужинаем здесь.

Заказали. Только на сей раз Ремус отказался от любимого шампанского, запросил цуйку. После нескольких рюмок он преобразился, стал говорить без умолку, вскакивал, вскрикивал, совершенно забыл свои предосторожности, хвастал, рисовался, даже пел легионерские песни. Тараторил торопливо, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, не договаривая, часто хватал Николеньку за руку или хлопал по плечу. Под конец обнимал его и порывался целовать, но ограничивался тем, что прижимался к его щеке щекой, избегая губ, — видимо, брезговал. Николенька чувствовал в его прорвавшемся темпераменте двойственность: Ремус пьян и одновременно понимает, что пьян, он откровенничает и следит за собой и за своим собеседником, он раскрывается, но при этом неясно, когда раскрывает себя, а когда — того, которого играет. И все это вместе отдает чем-то лихорадочным и надрывным.

— Так и живешь, друг мой, так и живешь, — говорил Ремус, — живешь добропорядочно и кисло, цуйку плохо пьешь, хочешь, я встряхну тебя, ты парень не дурак, я из тебя человека сделаю. Сейчас пригласим женщину, две, три — сколько душа пожелает. Женщину надо брать молча. Я тебе покажу. Это как на охоте, как на войне. Стрелять надо молча. На войне женщин берут без реверансов. Позволь себе безобразничать — тогда почувствуешь свободу. У нас нет свободы, потому что мало насилия. Я никогда не женюсь. Дозволенное — это смерть. Все дозволенное — смерть. Ты будешь с нами? Ты будешь с нами! Некуда тебе деваться. Скоро наступит размежевание. Или туда, или сюда. Никому не уда-

стся, отсидеться. Мы тебе обещаем все, они ничего. Они сулят тебе растительное существование, ты будешь деревом, и тебя будут подстригать садовыми ножницами. А от нас ты получишь все недозволенное. Пей, пей, не бойся! Сейчас мы пригласим женщину... Давай выпьем и споем, пусть слышат Берлин и Москва. Мы переживаем трагические дни. Король запретил нас. Нас у-би-ва-ют. И в этот момент Гитлер, гениальный болван, — только гениальный вождь может свалить такого дурака! — Гитлер протягивает руку Москве. Нас предали вместо того, чтобы... А они призваны драться. Драться! Я смеюсь. Но сквозь скрежет. Они должны глотки друг другу грызть! Что они делают, что делают? Я всегда говорил, что Гитлер хорош для начала, только для начала. Мне бы власть, я б не валял дурака. Как в картах. Для меня все карты прозрачные. Что хочешь, то и делаю. Сейчас позовем женщину. Да здравствует отдушина! У тебя есть деньги?

Николенька кивнул.

Его не смутило, что женщину можно позвать за деньги. Он привык, что его отец в ресторанчике угощает лучшими блюдами за деньги, улыбается и с предупредительной нежностью ухаживает за клиентами. Не притворство, нет — он вдохновляется, входит в ресторан, как актер на сцену, входя в роль. Актеры тоже получают деньги.

Николенька наивно мечтал о нежности. Войдет женщина и сыграет ему нежность. Он совсем не хотел безобразничать.

В Лиманске жили четыре проститутки, но те не в счет. Николенька еще мальчишкой считал их дурочками, а когда подросток, брезгливо воспринимал их существование: какие они женщины?

А здесь, в незнакомом городе, незнакомка ясно представилась ему кинозвездой в купальнике. Николенька трусил, но хотел. Потому он не смог произнести «да», а тихо наклонил голову и тут же вспотел.

— Прелестно, — сказал Ремус.

Налил себе цуйки, поморщился: цуйки хватило на полстопки. Стал доить бутылку, считая капли. Вытащенные глаза его налились кровью.

— Давай лучше закажем еще цуйки, — сказал он. — А то здешние курвы или работают в сигуранце или больны сифилисом. Выпьем и махнем к одной вдовушке, она во какая! А ты, кстати, не работаешь в сигуранце?.. Я шучу.

Николенька оскорбился и за кинозвезду и за сигуранцу, но виду не подал. Он уже стал жалеть, что связался с Ремусом. Но дальше — хуже. Вылакав еще полбутылки цуйки, Ремус вдруг объявил, что хочет поспать. Он снял пиджак, повесил его на спинку стула, лег на Николенькину кровать поверх одеяла, зевнул и прикрыл ладонью глаза.

Опешивший Николенька прошелся по номеру, поправил пиджак Ремуса на стуле, поглядел в окно и, обернувшись, вздрогнул: Ремус сквозь слегка раздвинутые пальцы следил за каждым движением.

Николенька похолодел. Не зная, что предпринять, он выровнял подбор дряхлой расческой. Потом решительно снял пиджак, повесил на другой стул и ушел в туалет. Пусть Ремус проверит его карманы и перестанет подозревать!

Минут десять он шумно мыл руки и отфыркивался. Наконец вышел. Ремус лежал в той же позе. Николенька сел на стул и стал ждать. Оба не двигались.

Прошло с полчаса, пока Ремус встал.

— Все. Поблаженствовал. — Он потянулся за бутылкой и допил ее. — Пошли.

Николенька не стал допытываться, куда. Лишь бы вывести Ремуса из номера. Было поздно, накрапывал дождь.

Ремус выглянул в окно.

— Эти двое возле фонаря давно стоят? Кто они? — спросил он.

— Откуда я знаю?

— Так, — сказал Ремус. — Так. А что у тебя в шкафу?

— Два жандарма! — не выдержал Николенька.

— Ты не смейся. Нас убивают. Травят. Потому что нас боятся. Чуют, какая мы сила... Но чем сильнее стиснешь пружину, тем стремительнее она распрямится!

На улице Ремус схватил Николеньку за плечи и прошептал в ухо:

— Донесешь — каюк! Из-под земли достанем и кокнем. Слишком много знаешь, будешь у нас на примете. Всю жизнь.

— Я ничего не знаю. Я в политике не разбираюсь, — сказал Николенька.

— Посмотри мне в глаза. Отвечай! Ты с сигуранцей не связан?

— А вы? — отпаривал Николенька. Ему стало невмоготу.

— Я? Да ты пьян, что ли? — Ремус потряс его за плечи, потом обнял и прижался щекой к его щеке. — Держись за меня, орленок, со мной не пропадешь. А теперь отведи меня домой. Дождь идет.

— Извините, — сказал Николенька. — У меня голова болит. Спокойной ночи.

— Лети, орленок. Я не держу... Постой. Дай пять-сот лей до завтра. Слово мужчины.

Николенька дал. С облегчением.

Всю ночь он не мог заснуть. Хотя выпил гораздо меньше Ремуса, его мутило. Он задремывал и вскакивал от каких-то гадких видений: Ремус выходил из шкафа и тихо заползал под кровать. Вместо луны — глаз в кровавых прожилках, не мигая, глядел в комнату. Пахло цуйкой и еще чем-то кислым. За стеной взвизгивал женский голос, и как будто двигалась мебель. Кинозвезда в купальнике издевательски смеялась ему в лицо. Где-то далеко вспыхивали немые бледные молнии. Бесшумное пламя охватывало гостиничный номер. Через окно бесшумно проплыл самолет. Пахло гарью и войной. Война (Николенька не знал) как раз в это время начиналась на несколько сот километров севернее, в Польше...

За стеной все будто двигалась мебель. Николенька сжал уши и, измученный, заплакал. Ему захотелось домой. И как можно скорее.

10

Федю преследовали неудачи. Отсидев три года, он вышел весной сорокового.

Сумел восстановить связи, но вскоре крупно рассорился с товарищами из УТЧ. Его обвиняли в том, что он отстал, не понимает обстановки, эмоции берут верх над тактикой. Федя возражал, что он видит обстановку яснее, чем когда бы то ни было, с возмущением отметил отступление от принципиальной революционной программы и наотрез отказался подчиниться новым директивам, противоречащим его убеждениям.

Когда Федя появился в Лиманске, он был одинок, но полон дерзких замыслов. Он решил действовать на свой страх и риск, доказать оппортунистам свою правоту.

В первый же вечер он порвал с отцом.

Аристид Аристидович страшно обрадовался возвращению сына, но силился скрыть свое счастье: сын не выносил бурного изъяснения родственных чувств. Он ни о чем его не расспрашивал, только все видел перед глазами усеченное ухо. Хлопотал, застилал кровать свежим, белоснежным бельем. Примус шипел — на нем варилась картошка, а керосинка подогревала бак с водой для купания.

Федя думал, глядя в окно. Ему было в ту пору двадцать лет. Добродушное некрасивое лицо с широким носом делало его похожим на простоватого недалекого парня. Но молчаливый, неподвижный или спящий Федя — это не Федя. Когда он говорил, становился Дантоном. Быстрая речь, быстрые движения — Федя говорил всем телом, он был весь — напор чувства и убеждения. Он шуток не понимал («Разве можно шутить в такое время?»). Он был плотью и голосом идеи, а не толкователем ее. Боль, искренность, требовательность преображали его маленькие карие глаза. Будто не был сыном своего отца. Аристид Аристидович тоже мастер поговорить, но совсем в ином роде. Старик как бы вне идеи, которую излагает. Верней, над ней. Тон снисходительного всепонимания. И непреодолимое желание выставить в смешном или нелепом виде все радикальные страсти века.

В тот вечер Аристид Аристидович прикусил язык. Боялся повредить своему счастью. Он надеялся, что с Федей после всех перипетий произошла какая-то перемена, только надо учуять, какая. Ужин дымился на столе, покрытом белой скатертью.

— Садись, Феденька!

— Сейчас. — Сын просматривал книги отца. — Визит у тебя, мешанина под видом порядка. Как можно по алфавиту располагать? Пушкин — Писарев, Маркс — Малтус... Примиряешь непримиримости?.. Как ты можешь спать в этой комнате? Все твои книги ссорятся! Это гвалт, умопомрачение!

— Феденька, время многое примиряет...

— Ничего не примиряет.

— Хорошо, Федя. Я переставлю книги. Садись. У нас сегодня картошка со сметаной, жареные бычки, мамалыга со шкварками. Все или на выбор. Потом будет кофе с каймаком. Ты любишь.

— Кофе! — сказал Федя горько. — Ты не знаешь, что у меня на душе.

— Ты много пережил, Федя. Знаю.

— Не обо мне речь. Я не о себе думаю!

— Понимаю. О революции. Ты ее четыре года назад предсказывал, а она опаздывает. Революция не поезд, она не ходит по расписанию. — Видя, что Федя вскинулся, Аристид Аристидович торопливо добавил: — Но она будет. Сто революций было и еще будет. Никто не говорит, что больше их не будет! Садись, стынет.

— Отец, происходят вещи пострашней. Я остался один, как перст. Пока я сидел, наши сняли лозунг борьбы с фашизмом. Мне, понимаешь, объясняют, что у Советского Союза договор о ненападении с Германией и этот договор нельзя подрывать. Мол, Гитлер только и ждет, чтоб его спровоцировали. Не тот, мол, момент. Я кричу, что это бред, что договор — дело не партийное, а государственное. Сталин правильно рассудил: пусть империалисты дерутся, революция приближается. А у нас другое дело. Мы подпольная партия в стране, которая на распутье: или мы, или Гитлер. Мы должны бороться против агрессора и его румынских слуг! Иначе король не сегодня-завтра падет в ноги Гитлеру. У нас будет фашизм, ты соображаешь?

— Федя, я тебя умоляю. Поговорим спокойно по-

сле ужина. Поешь, родной. Тебе еще искупаться надо. Ты устал.

— Ты издеваешься? Или тебе плевать на все, что я говорю?

— Феденька, не горячись. Я очень хорошо тебя понимаю и думаю, что ты прав. Гитлер для меня отвратительная загадка. Как он мог появиться в наши дни? Ну, Нерон, ладно, дело было на заре цивилизации. Но сегодня! И в такой стране, как Германия, на родине Гете, Бетховена. И Маркса!

— Никакой загадки нет, — сказал Федя резко. — От капитализма к империализму, от империализма к фашизму — одна цепь.

— Может быть. Все-таки загадка, как ему поверили все немцы! И твои рабоче-крестьянские массы. Но не в этом дело. Я с тобой согласен, ему нельзя дать развернуться, он таких дров наломает, что сто лет не очухаешься... И хуже всего, что это не в наших силах. Судьбы мира решаются не здесь, нас не спрашивают. Войны начинаются не здесь и здесь не оканчиваются. Мы всегда на обочине. Мы — побочные. Печально, но факт.

— Наконец-то! Прекрасная формула. Вот тебе разгадка, почему Гитлер пришел к власти. В Германии тысячи городков, как этот. Вся Германия состоит из таких милых городков. И в каждом городке по мудрому седому старику, проповедующему, что «наша хата с краю». Гитлер должен в ноги поклониться таким мудрецам за их философию. А он, скотина, топает по их головам кровавыми сапожниками!

— Я пособник фашизма?! — Аристид Аристидович попробовал засмеяться, но у него не вышло. — Ну, а что ты можешь? Расскажи, пожалуйста. Языком трепать и я умею.

— А то, что жизни не пожалее, всех растормошу, всем глаза открою. Вот на том берегу лимана пролетарская власть. Вы что, ослепли, не видите? Свобода — вот она, рукой подать! Там захотели сами решить свою судьбу, не по-слушались милых седых старцев! Мне стыдно за своих земляков, которые называются подданными божьей милостью короля, в то время как на том берегу любой пионер помирает со смеху, когда слышит о боге и короле. Любой пионер понимает больше тебя. Он знает, что делать.

— Ты хочешь революции в Лиманске?

— Промедление смерти подобно. Гитлер только что проглотил Данию и Норвегию. Он через Бельгию рвется к Парижу. Французские предатели, заправившие компартию, будут разбиты. Значит, Гитлер завтра возьмется за нас. Слепые идиоты, он устроит здесь кровопускание!

— Федя, бедный мой Федя, ничего ты не делаешь. Где ты возьмешь в Лиманске промышленный пролетариат для революции? У нас полторы дюжины рабочих на мельнице и электростанции. Я их всех знаю наперечет. Авердяк не хочет неприятностей и дает им жить сносно. А на консервном заводе одни женщины. И те не подымают с голоду. Румыны ведут себя осмотрительно, кумекают, что город — на границе. И держат приличный гарнизон в казарме, не считая пограничников. Как тебе втолковать? Город у нас дурацкий, не такой, как тебе надо. Не здесь начинается твоя классовая борьба.

— В крестьянской России пролетариат тоже был в меньшинстве. И однако! Возьми бинокль и погляди на ту сторону!

— Федя, я только хочу тебя уберечь от разочарования. Просто-напросто ты опять угодишь за решетку.

— Не ты ли побежишь в полицию?

— Федя!

— Прости. Но я больше не могу. Не могу. Будь здоров. Нам с тобой не по пути.

Федя схватил кепку, хлопнул дверью и ушел в майскую ночь. Старик долго сидел за столом, прикрыв глаза. Будто умер, сидя. Давно остыли картонка со сметаной, бычки и мамалыга со шкварками. Сиротливо белела застеленная кровать для Феде. Бак на керосинке кипел. О нем забыли.

Отец хотел вылепить сына по своему образу и подобию, а невольно толкнул его к революции. Аристид Аристович удалял от Феде отроческие иллюзии, учил его трезво глядеть на мир. Отец мягко и доступно объяснял сыну законы природы — чем больше разгадок, тем меньше места для бога.

Аристид Аристович наставлял сына ради свободного развития его разума, а вовсе не ради бунтарства. Он избегал разговоров о том, советском береге, который виден был из окон дома, — считал это преждевременным и небезопасным. Он поправлял и высмеивал сына, когда тот пытался забежать вперед и самостоятельно мыслить. Непререкаемость отца стала со временем раздражать Феде. Он все чаще спорил, упирался и тяжело переживал удары иронической логики Аристида Аристовича. Молодость требует решительных выводов и действий, а Аристид Аристович находил удовлетворение в самом процессе познания и считал, что глупо соваться под слепые колеса истории, лучше мыслью воспарить над ней.

Но советский берег вместе с солнцем каждое утро вставал перед глазами сына, когда он просыпался, и ежедневно множество былей и небылиц, слухов и пересудов толкали к разгадке тайны красного флага; но в городе сохранились еще очевидцы татарбунарского восстания двадцать четвертого года, бессарабского восстания, над которым развевался тот же красный флаг; но в библиотеке отца нашлись книги, которые шли дальше отца и открывали смысл и цель немедленной революционной борьбы. Писарев и Горький, Роллан и Барбюс, популярные брошюры о Бакунине, Марксе и Плеханове. Из последовательного чтения Федя выбирал лишь то, что ему было нужно, лишь то, к чему рвалась его душа. А рвалась она к ясности. И ясность пришла озарением: на планете существуют всего две нации — нация угнетенных и нация угнетателей. Вековая классовая борьба на наших глазах завершает предисторию человечества. Час пробил: одна шестая часть земли уже свободна. Началось триумфальное шествие новой эры. Эры социальной и человеческой справедливости.

Федя был счастлив, что родился вовремя, что он современник величайшего исторического преобразования. Он торопил свой возраст, спешил действовать.

В пятнадцать лет Федя в одиночку попытался переправиться на тот берег, был жестоко избит пограничниками и возвращен домой. В шестнадцать он с двумя школьными товарищами готовился к побегу в революционную Испанию, но во время сборов с ним установили связь утечисты и отсоветовали: надо сначала войти в организацию, приобрести революционный опыт, научиться действовать сообща... Федя с радостной готовностью вступил в подпольный комсомол. В том же году он бросил школу, ушел из дому, чтоб стать рабочим — поступил учеником на кишиневский механический завод. В семнадцать он уже был арестован.

Аристид Аристович не мог остановить сына. Не мог остановить германские танки, мчащиеся к Ламаншу. Не мог остановить тех людей, которые распоряжаются людьми и дают имя событиям. Тех, которые понятия не имеют о Феде, о самом Аристиде Аристовиче и обо, всем Лиманске. Тех, которые мыслят более широкими категориями и округленными числами.

На Аристида Аристовича накатил давнишний кошмар. Чувство полной бессмыслицы, ярости и бессилия. Как в 1916 году, в Галиции, когда он, молодой военный врач, вторые сутки без перерыва оперировал и бинтовал раны, извлекал осколки и пули, ампутировал руки и ноги и ни о чем постороннем не думал. Некогда было думать. Канонада сотрясала окна лазарета. Война тоже работала без перерыва, втыкала осколки и пули в здоровые тела, не считаясь с тем, что у него только две руки, что он не поспевает. Когда в лазарет внесли новую партию раненых, Аристид Аристовича внезапно обожгла острая обида. Он закричал:

— Прекратите! Прекратите это издевательство! Перестаньте стрелять! — Он затопал ногами. И услышал, что канонада затопала на него ногами, приказывая продолжать страшную игру. Ей почему-то хотелось, чтоб Аристид Аристович вытаскивал пули, которые она старалась загнать поглубже. — Перестаньте! Иначе я застрелюсь!

Теряя сознание, услышал:

— С ним истерика... уложите...

Теперь та же истерика, только тихая. Немая. Аристид Аристович видит, как сын шагает по ночным улицам, решительно и сердито несет свою жизнь кому-то невидящему, глядящему поверх него. Несет свои двадцать лет, свою завтрашнюю любовь, завтрашнюю зрелость, завтрашних детей. Такую бесценную ношу. И такую обесцененную...

II

Но с Федей ничего не случилось. Аристид Аристович узнал, что Федя тайком ночует у Милочки, чей муж в солдатах. Она работала на консервном заводе и знала Феде еще до тюрьмы. Аристид Аристович обрадовался: любовь — хорошее дело, Феде как раз в пору... Он зря обрадовался. Огорченная Милочка ему потом рассказала, что Федя спал на полу и на нее ночью никакого внимания не обращал. Днем был внимателен и заботлив, а к ночи суровел...

Не выдержала однажды Милочка, заплакала. Федя тут же вскрикнул, видно, не спал:

— Не реви. И без тебя тошно!

Милочка поняла, что Федя не спит ночами из-за нее, мается. Наверно, боится обидеть. Вот глупый! Милочка мигом сбросила рубашку и юркнула к нему вся в слезах и смеем.

Федя отпрянул, как ошпаренный. Издалека слышал сдавленным голосом:

— Не подходи и слушай. Иначе уйду.

Он объяснил, что любит и уважает Милочку, но пусть она не будет душой и не испытывает его волю. Он, да будет ей известно, против всяких предрассудков. Он за полную свободу отношений. Но для всех, кроме себя. Во-первых, есть дела поважнее, и преступно в такие дни устраивать личное счастье, отвлекаться. Во-вторых, чтоб никто не смел поду-

мать, что он ратует за свободу отношений ради себя, в погоне за удовольствиями. Будто хочет первым этой свободой воспользоваться. Так вот, не первым, а последним. Это принцип.

— Я никому не скажу. Вот тебе крест!

Милочка поняла, что он боится, как бы не прознали... Но ведь и она тоже хочет, чтоб никто не узнал, принимает тысячи предосторожностей, впуская его в дом и выпуская.

Федя застонал.

— Но я буду знать! Как ты от меня скроешь?

С этими словами он вышел на кухню и вылил себе кружку воды на голову.

— Придется от тебя уйти. Это невыносимо,— сказал он из-за двери.

Милочка плакала в темноте.

И еще узнал Аристид Аристович, что с Федей беседовал Авердян. Низенький, кругленький, в светло-сером костюме, под широкой серой шляпой Авердян был похож на гриба. Во время перерыва он шел через двор мельницы и увидел Федю, сидящего с четырьмя рабочими на ящиках. Федя торопливо ел огурцы с хлебом — видно, был голоден. Рабочие, заметив хозяина, встали. Федя, покосившись уголком глаза, продолжал есть.

— Здравствуй, Федя,— сказал Авердян.

Федя промывал что-то, не поднимая головы.

— Я хочу с тобой поговорить, пойдем,— сказал Авердян.

— Говорите при них,— ответил Федя.

Авердян пожал плечами и отошел. Федя пошептался с рабочими, встал и догнал Авердяна.

— Я слушаю,— сказал он сухо.

— Что я тебе плохого сделал? — спросил Авердян.— Ты меня считаешь врагом.

— Не вас лично...

— И за то спасибо. Вот что, Федя. Я давно знаю твоего папу. И тебя — с тех пор, как ты молоко сосал. Я вижу, ты честный и упорный юноша. Мне плевать, что ты сидел в тюрьме. Будешь у меня работать?

Федя промолчал, насупившись.

— Разве ты не должен зарабатывать себе кусок хлеба, как все люди? Разве это мешает твоим убеждениям?

— Дальше.— Брови у Федя были сдвинуты, но он начал улыбаться.

— Мне нужен делопроизводитель. Жалованье твердое. Будешь сыт, одет и еще останется.

— Так,— сказал Федя.— Премного благодарен. Я согласен, но только грузчиком. Если грузчиком — пойду.

— Вай-вай, зачем такой цирк? Ты же не грузчик, посмотри, какая у тебя спина. Голова из нее все соки высосала. Твоя работа — головой. Каждому свое, Федя.

— Как хотите. Я сказал.

— Ага! Ясно, как божий день. Ты боишься быть сытым, боишься, что рабочие тебе не поверят? Но если пойдешь в грузчики, они помрут со смеху. Рабочие не любят фокусы-покусы.

— Значит, вы не согласны. Нет так нет.

— Интересный ты юноша, просто интересный! Можешь ты мне объяснить, чего ты хочешь? Чтоб меня рабочие повесили? Хорошо, я буду висеть с высунутым языком. Ты отдашь мельницу рабочим. Если они будут управлять, они не будут работать. Если будут работать, кто-то другой будет управлять. Зачем же ты меня вешал? — Этот вопрос произвел впечатление на самого Авердяна. Образ виселицы

задел его за живое, потому следующие фразы он произнес обиженно и будто оправдываясь: — За то, что плачу рабочим, как положено? За то, что помогаю бедным людям, покупаю одежку их ребятишкам? За то, что кормлю даром на усение две сотни человек? За то, что бесплатно провел электричество в церковь? За то, что у меня долги в банке на десять лет вперед?

— Господин Авердян, не делайте из меня дурака. И не тяните за язык. Чтобы понять грозу, как вы догадываетесь, надо изучить электричество. Так чтобы понять развитие общества, надо изучить социальные науки. Надо много книжек прочитать, господин Авердян. Истина существует независимо от меня. Узнайте истину и оставьте меня в покое. Честь имею! — Федя с преувеличенным почтением отклонялся и отошел.

Говорят, что Авердян приобрел кое-какую социально-экономическую литературу, но прочитать не успел.

Он был самым богатым человеком в Лиманске. Кроме электростанции и мельницы, он владел пятьюдесятью гектарами виноградников и тремя домами. Получив наследство наравне с братьями, он один умножил его. Ему уже стукнуло пятьдесят, а детей не было. Братья — что братья? Вертопрахи и моты. Потому богатство ради богатства не очень-то занимало Авердяна. Он увлекся благотворительностью, пожелал стать самым уважаемым и любимым в городе. Отцом Лиманска. Он любил, когда к нему обращались за помощью. Частные лица, общественность и местные румынские власти. Обратиться к нему Федя за средствами, он бы наверняка дал. Снискать любовь революционера — это же чрезвычайно лестно. К тому же он верил, что ласка укротит и самого что ни на есть сердитого...

12

Деятельность Федя была окутана глубокой тайной. Как потом выяснилось, он намеревался в урочный день выбросить красные флаги в крепости, на башне электростанции и на пожарной вышке, чтоб их увидели с того берега. Одновременно состоялся бы митинг перед примарией, где первую речь сказал бы Федя. К тому времени распропагандированный румынский гарнизон присоединится к митингующим. Пред штыками солдат полиция с жандармерией и пикнуть не посмеют. Восставший Лиманск послужит примером для остальных городов и сел. Даст толчок. Даже если погибнет. Лучше погибнуть, чем покориться надвигающемуся фашизму. Но скорей всего братья с того берега не допустят падения Лиманской республики. Федя знал настроения лиманцев, знал, что они недоверчивы, норовят увилить от решений и выжидать. Он знал, что их надо поставить перед фактом. Когда их ставишь нос к носу с фактом, они делают правильный выбор. Значит, первое дело — заручиться поддержкой гарнизона. Румынские солдаты — поголовно крестьянские парни, с ними найдется общий язык. Они на собственной шкуре испытали нищету и никогда не станут стрелять в тех, кто за бедных, против богатых. А офицеры...

Тут навстречу Федю — неожиданная удача. Ему рассказали, что лейтенант (то есть лейтенант) Ион Георгиу — свой человек. Читал Маркса, убежденный интернационалист. Солдаты — редкий случай — любят его и уважают. Его помощь невероятно ускорила бы дело.

59

Федя думал. Открыть карты офицеру — риск колоссальный. Придется лично встретиться с Ионом Георгиу и прощупать его, прежде чем... Но как проверить его стойкость? Единственный скорый способ — рассердить. Тогда выяснится, что для него идея — романтический налет или дело жизни.

Итак, Федя отправился на ссору. Офицер должен был ждать его в крепости на вершине полуразрушенной башни в воскресенье в девять вечера. Федя знал, что в десять у лейтенанта свидание с барышней, но был беспощаден и подошел к условленному месту без четверти десять. Он наткнулся на Иона Георгиу у подножия башни. И, не подумав извиниться за опоздание, сразу набросился:

— Почему ты здесь, внизу?

— Что? — смеялся тот. — Я не умею лазить ночью...

Федя чиркнул спичкой и осветил Иона Георгиу. Затаенный в талии молодой офицер, прямые сапоги в обтяжку блестя. Лицо без особых примет. Тонкие усики над крупным ртом. Большие, немного испуганные глаза.

— Придется лезть, — сказал Федя, бросив спичку, и ловко стал взбираться по разрушенной стене, цепляясь за камни. — Где ты там?

Георгиу тяжело дышал в темноте и шаркал по камням. Значит, все-таки лез. Федя стоял на вершине башни. Справа — огни Лиманска, слева, на том берегу, — тоже огоньки. И одно небо над ними. Странная, лживая картина. На самом деле между этими и теми огоньками пролегает граница двух резко противоположных миров. Здесь — тьма, там — свет. Здесь — прошлое, там — будущее. Федя мысленно накладывал карту на окрестность, карту, где сталкивались два цвета: черный и красный.

Минут через пять на башне появился Ион Георгиу. Наверно, был еле жив, но держался.

— Товарищ Георгиу, — начал Федя в лоб, — готов ли ты на опасный шаг во имя общего дела?

— Я готов, — тихо ответил Георгиу.

— А почему ты так легко соглашаешься? Ты даже не знаешь, о чем речь.

— Так я ж вам верю. Я давно ищу кого-нибудь из вас...

— Кому нужна слепая вера? Это в вашей армии учат не рассуждать.

— Товарищ Константин (так назвался ему Федя), я не знаю, почему вы сердитесь. Я один, а у вас организация. Я хочу подчиниться организации, чтоб правильно действовать.

— Значит, ты согласен на опасное поручение?

— Так точно.

— И не откажешься от него через десять минут?

— Никак нет! — четко и весело ответил Георгиу. В этих «десяти минутах» ему почудилась легкая улыбка, смягчение тона.

— А скажи, пожалуйста, как увязываются твои убеждения с королевскими погонями? С этой дрянью? — Федя стукнул по плечу офицера.

Георгиу вздрогнул от неожиданности.

— Я не думал, что вас смутит моя форма. Вы же знали...

— Брось. Ты вырядился и блеск навел на сапоги, потому что спешишь на свидание...

— Я не спешу, товарищ Константин! У меня к вам много вопросов, особенно по теории... — Но прервать Федю не удалось.

— От тебя одеколоном пахнет! Ты не хотел лезть на башню, чтоб не замараться...

— Я полез, товарищ Константин!

— Ты так легко на все соглашаешься, чтоб сократить разговор, тебя фифочка ждет!

— Кто? Как вы сказали?

— Фифочка.

— Товарищ Константин, что с вами? Она честная девушка!

— Честная девушка! Если ты марксист, ты должен знать, что честь — понятие классовое. Твоя Маргариточка — мелкобуржуазная девица. Ее папочка держит зубной кабинет и дерет за каждый зуб. Все ее наряды — от зубов! У ней губа не дура, она не станет гулять с рабочим, ей подай офицера. Ведь ты же офицерик, дорогой кавалер!

— Прекратите, это не ваше дело! Прекратите сейчас же, или я...

— Или — что?

— Или я уйду!

— К фифе?

Георгиу, дрожа, повернулся и стал нащупывать ногами спуск. Он хотел быстрее, но не получалось. Он вскрикнул, колотя ногой по стене. Камень с грохотом покатился в темноту.

— Помочь? — спросил Федя серьезно и устало.

Георгиу молчал и возился. Когда он почти добрался до подножия башни, Федя наклонился и спросил:

— А как же поручение?

— Идите к черту!

— Ну вот. Не прошло и десяти минут...

Георгиу сорвался и шумно соскользнул на землю. Стало тихо. Георгиу не двигался.

Федя быстро спустился к нему.

— Ты что?

— Я думаю. — В его голосе слышались слезы. Он медленно приподнялся и стал отряхиваться. — Вы мне устроили проверку. Это дурацкая проверка.

Федя помолчал и сказал грустно:

— Пусть. Мне очень жаль. Но на тебя положить нельзя. У тебя нет выдержки.

— Вы ошибаетесь.

— Я не могу рисковать. Прощай. Постарайся, когда пробьет час, быть с нами. — И Федя протянул руку Иону Георгиу.

Хотя лиманская молодежь воспринимала классовую борьбу как-то отвлеченно, теоретически, то есть без живой ненависти, которую требовал от нее Федя, ему кое-что удалось. Его интернациональная проповедь сразу нашла прямой отклик. Я уже говорил, что наша молодежь, с легкой руки Ремуса, безбоязненно запуталась в национальном вопросе. А у Федя ларчик просто открывался: Лиманск — не румынский, не русский, не армянский, не болгарский и т. д. То есть ничей! То есть социалистический! Важен ты, твой труд, твой ум, а не кровь твоей бабушки! Братству трудящихся безразлично, кто ты по крови, как безразлично, белокрыс ты, черняв или лыс, как колено!

Заборы, ограды, межи, рубежи, демаркационные линии, кордоны, границы — все это придумано собственниками. В будущем свободном мире не будет никаких границ, как нет их внутри Союза Советских Республик, где дружно живут сто народов!

13

И вдруг все провалилось. Федю предупредили о предстоящем аресте. Сесть за решетку, да еще в такое время? Да ни за что на свете! И Федя скрылся. Четыре дня о нем не было ни слуху, ни духу.



На пятую ночь рыбак Грицько — молодой смешливый парень — загнал свою лодку в камыши, в нескольких верстах севернее Лиманска, и через плавни, в обход вернулся домой.

За полночь Федя стал пробираться к условленному месту. Его задержала какая-то возня, шум и перекличка среди пограничных постов. Он был вынужден притаиться в камышах, по пояс в воде. Шли часы, шум не прекращался, вспыхивал свет, визжали и тявкали собаки. То тут, то там в слепом небе урчали моторы. Что-то потрескивало — то ли далекий гром, то ли тоже моторы. Федя, измаявшись, почти отчаялся, когда возня стала стихать. Он осторожно начал пробираться к лодке. Долго ее не находил. На востоке медленно проступала розовая полоска. Федя подумал, что вот теперь картина правильная: свет идет с востока, за спиной густая тьма. Но подумал с горечью: ночь проходит, срывается весь его план.

Надо: спешить, скорей!

Федя наткнулся на что-то твердое, оступился и громко шлепнулся в воду. Он чуть не задохнулся от досады — сейчас поднимется переполюх и его схватят! Он замер, всмотрелся в то темное и длинное, на которое наткнулся. Лодка! Ну, где наша не пропадала, будь что будет! Федя подтянулся, залез в лодку и лежа стал отталкиваться веслом. Камыш

зашуршал. Шуршал противно и, как казалось Федю, оглушительно. Но он уже махнул рукой на все — полоска рассвета алеет и ширится. Надо немедленно выплывать. Лодка вышла из плавней и легко заскользила по открытой воде, лиман плескался тихо, будто вздыхал. Федя почувствовал озноб удачи.

Тревога не поднялась. Он сел, вскинул оба весла, бесшумно погрузил их в воду и откинулся. Он греб быстро и глухо, как в немо кино. С каждым взмахом увеличивались его крошечные шансы на успех. Уходящий берег был темен и мертв. Будто не было свирепой границы старого мира. Федя не сводил глаз с черного удаляющегося берега, грозящего окриком и вспышкой выстрела.

Прешло минут двадцать. Федино сердце колотилось — не так от спешки, как от наплывающего ликования. Ускользнул! Стояла такая невозмутимая тишина, что ни о каких сторожевых катерах не могло быть и речи. Через считанные минуты он пересечет границу.

Странно, нелепо, забавно; он и не заметит этой воображаемой линии посередине лимана. Его пренебрегают все — волны, рыбы, птицы, облака, солнце, но человека карают смертью за прикосновение к ней. А ее-то на самом деле нету. Отважась, пощупай — нет, и баста! Федя разогнал лодку, поднял весла и, обернувшись к восточному берегу.

И оторопел.

В розовой предутренней дымке по воде на него шла бесконечная цепь темных предметов. От ужаса он выронил весла, в глазах зареяло.

Что это? Неужели на самой границе стоят цепью румынские катера? Бред какой-то! Федя глядел, глазам своим не веря.

Цепь судов приближалась. Высоко в небе зарокотали самолеты. Был миг, когда Федя почувствовал себя ничтожной песчинкой под огромным небом между далекими берегами. Как во сне, все четче обозначались понтоны, амфибии... И вдруг Федя ясно услышал звонкое:

— Товарищ командир! Впереди лодка!

— Гляди, лодка!

— Рыбак, наверное.

— Черта с два рыбак! Руки вверх!

Федя, качаясь, встал во весь рост и высоко поднял руки. Он плакал. Стоял и, всхлипывая, плакал, обессиленный, опустошенный вспышкой немислимой радости. И жмурился: солнце всходило.

...Федя вернулся в Лиманск утром 28 июня 1940 года вместе с частями Красной Армии. Федя, пожалуй, последним из лиманцев узнал, что границы уже нет: за ночь она распахнулась, и теперь от Лиманска на восток — никаких границ, вплоть до Тихого океана.

Но тем не менее Федя был первым лиманцем, встретившим первых красноармейцев при первых лучах солнца.

14

Лето сорокового года началось тревожно. Немцы вошли в Париж, а англичане отчалили к своему острову, побросав все вооружение в Дюнкерке.

В Лиманске с осени прошлого года появились польские беженцы. Они рассказывали про немцев страшные вещи, не успокаивались, не забывали с течением времени, а напротив, припоминали все более ужасные подробности. Лиманцам казалось, что беженцы преувеличивают...

В Лиманске сияло солнце, дул ветерок, первые пляжники старательно загорали. На базаре появились черешни и вишни. Ждали огурцов. Приятно было обманывать себя, что война выдохлась: немцы наелись досыта, проглотили пол-Европы. Куда же больше? Сто лет будут переваривать, если не лопнут...

Жизнь в городе шла по-прежнему. Власть были на местах, управленческие колесики крутились, как заведено, иногда заедали и требовали смазки, как положено.

Властям было невдомек, что на том берегу изучали карту Лиманска, расположение учреждений и предприятий, списки лиц, на которых можно положиться. Каждую ночь прибывали войска. Настроение

было радостное, приподнятое. Ждали. Редакция газеты «Лиманская правда» уже готовила первый номер. Типография печатала листовки, воззвания и плакаты.

В эти же дни румынские пограничники получили секретное указание: усилить наблюдение за границей. Королевские войска стягивались к Днестру.

Через голову Лиманска — между Москвой и Бухарестом состоялся короткий и энергичный диалог.

Был ли он неожиданным? Вряд ли.

Аристид Аристидович помнил, как двадцать два года назад бессарабцы по примеру Петрограда сами установили у себя дома Советскую власть, помнил, каким удивительным было чувство свободы, похожее на предчувствие первого полета.

Но румыны под шумок ввели свои войска в Бессарабию.

Приятно было румынскому королю (как и всякому королю) расширить свои владения, но еще приятней было бы заполучить Бессарабию без самих бессарабцев, ибо население этой неблагополучной провинции успело вкушать свободы, а вкус свободы, как известно, ничем не вышибить. Бессарабцы распространяли заразу по всему королевству, бунтовали, митинговали, протестовали, объявляли голодовки, то есть никак не понимали тех благ, которые им сулил королевский порядок. С превеликим трудом к концу тридцатых годов удалось утихомирить их. Власть удовлетворилась видимостью спокойствия, ибо власти тоже подвержены иллюзиям и охотно толкуют молчание как знак согласия с ними.

Была ли у короля надежда уйти от ответа? Вначале, пожалуй, была. Падение большевиков ожидалось со дня на день, потом с году на год... К сороковому году уже не ожидалось вовсе.

А значит, вплотную приближался час ответа на бессарабский вопрос.

Король попробовал было сочинить длинное послание: пока его в Москве прочтут да пока разберутся, может, какая лазейка и откроется.

Но Москва не стала читать, Москва желала услышать ДА или НЕТ.

Часы стучали.

В Лиманске наступил вечер. В парке играла полковая музыка, в ресторане «Континенталь» пела Розита, в киноматографе «Одеон» Чарли Чаплин выстукивал чечетку, в клубе стучали бильярдные шары.

Никто в Лиманске не прислушивался к часам, но они стучали.

В Бухаресте кабинет министров лихорадило. Ора-торы перебивали друг друга, кричали, требовали, но даже самые воинственные то и дело поглядывали на часы. Не отстают ли, не спешат ли? Который час точно?

Карманные, ручные, стенные — все тикали на разные голоса и не в лад. В речах сама собой открывалась пауза. Сварялись часы.

Уже было ясно, что придется сказать ДА. И это слово начало выговариваться — с великим трудом, будто самое длинное и замысловатое на свете. Оно билось в стиснутых зубах и выворачивало скулы. Обнаружилось, что правительство во главе с королем мучительно заикается. Но пока челюсти дробно выстукивали «дддд...», отозвались отбойным молотком телеграфные аппараты, дрожь пошла по радио-волнам, и от этого сотрясения карточным домиком стало осыпаться многоярусное королевское господство между Прутом и Днестром.

Проблема чемоданов разразилась во всей своей потрясающей остроте. В чемоданы не вмещались осбняки и виноградники, магазины и сады. В чемоданы не вмещалась красная мебель, монументаль-

ные вазы и верстовые ковры. Мелкие вещи — и те издевательски раздулись, разбухли и, топорщась, не укладывались, не набивались, не втискивались. Крышки чемоданов выстреливали и отскакивали, извергая взбесившееся добро.

Румынский летчик Мирча Пуркару, квартирант тети Розы, в полночь бегом вернулся домой, кинулся собирать пожитки. Мирча был совсем еще юноша, маленький юркий крепыш. Весельчак и задавака, он сейчас был туча тучей. Торопливыми точными движениями он хватал и складывал свои вещи.

Тетя Роза стояла и смотрела, опустив руки вдоль платья.

— Болваны! — вырвалось у Мирчи. — Струсили! Какой позор на весь мир! Надо было дать отпор! У них фанерные самолеты, всем известно! Финны их чуть не побили, а мы в десять раз сильнее финнов!.. Черт знает, что такое!

Тетя Роза молчала. Мирча коленом прижал чемодан и защелкнул замки. Мимо окон прошла песня. Молодые голоса вызывающе горланили «Очи черны».

Мирча цепким взглядом впился в черное окно. — Вот как! Корми, корми волка, а он все в лес смотрит! Так вы нас провожаете? — Горечь искреннего возмущения прозвучала в его словах. Он оглянулся на тетю Розу.

Она... улыбалась, склонив голову набок. Невольная, слишком откровенная улыбка играла на ее лице. Как тогда, когда Леля убивалась в поисках туфли, а тетя Роза прекрасно знала, что она ее не найдет...

— Что вы сказали? — вскрикнул Мирча.

Тетя Роза пожала плечами, все еще улыбаясь.

Мирча схватил чемодан и, не попрощавшись, хлопнул дверь.

— Мы еще вернемся! — Стекла звякнули, посыпалась замазка.

Отец бреется, щедро намазывая кисточкой щеки. Собирается в клуб. Радиоприемник «Минерва» говорит что-то по-болгарски. Вдруг замечаю, что отец с бритвой на весу смотрит на аппарат, будто из него должна вылететь птичка.

Он громко зовет маму:

— Лиза, скорей! София только что передала, что завтра здесь будут русские. София врать не станет. Я потрясен. Завтра здесь будет Россия! Россия, которую я никогда не видел, но знаю по Пушкину, Гоголю, Шалапину. Причудливый вихрь взбудораживал мое воображение: почему-то показалось, что завтра будет зима, яркий белый день и над снегами встанут березы России и ели сказочной высоты. И воздух, которым нельзя надыхаться. А крикнешь — все четыре стороны света отзовутся эхом...

— Да? — всплеснула руками мама. — А когда пойдем встречать? А какое мне платье надеть?

Меня покорило, что мама приняла это чудо, это небывалое событие как нечто само собой разумеющееся, будничное.

Я не сообразил в тот миг, что мать и отец родились, когда здесь была Россия, и она, Россия, была им привычной. Они с облегчением услышали весть о возвращении к знакомому с детства. Пожалуй, незосознанно знали всегда, что так оно и будет рано или поздно. Но в тот миг и они не подумали, что той, знакомой России, в сущности, давно уже нет...

Я трепетно ждал открытия России. Я собрался не спать всю ночь, но предательский сон умыкал меня.

Ночь была неподвижно длинной. Свет горел в гостиной, взрослые приходили и уходили, по улице мчались машины, тархтели подводы. Песни, ругань... Я просыпался, вскакивал.

— Уже Россия?

Еще нет. За окнами темно. Свет в гостиной. Шорох разговора. Суета на улице.

Ах, какая она медленная, эта ночь! Я с мальчишеской жестокостью мгновенно откинул все румынское, даже те песни, сказки и книги, которые успел полюбить.

Да здравствует перемена! Перемена прежде всего!

Отец и нотариус Коврига были добрыми приятелями. Никогда между ними не пробежала кошка. В картах ли, в деловых ли отношениях, любая напряженность снималась шуткой. Оба чурались политики, казалось, они полностью свободны от нее. Рассорить их было немыслимо.

Ночью двадцать седьмого июня «форд» подкатил к нашему дому. С рекордной быстротой Коврига преодолел ступеньки крыльца, коридор и ввалился в столовую. Он был неузнаваем. Глаза искали сочувствия. Комната, где все вещи на местах, потрясла его и ужаснула, как улыбка сонного младенца при кораблекрушении. Но, встретившись глазами с отцом, Коврига понял, что здесь все знают и... не собираются бежать. Отец встал и молча предложил ему стул. Коврига, задыхаясь, не мог вымолвить ни слова.

Между двумя приятелями пролегла государственная граница. Переговариваться через границу было нелегко. За несколько секунд молчания выяснилось, что они, сами того не ведая, просто играли роль приятелей в какой-то дурацкой комедии. Игра прервана резким ударом, и каждый — сам по себе...

Прозрение тяготило. Коврига отстранил предложенный стул.

— Я спешу, — с трудом выговорил он.

— Я тебя провожу, — сказал отец.

Они вышли. Минуты через две «форд» рванулся с места и умчался в ночь.

15

Счастливый и смущенный стоял Федя на берегу лимана среди праздничной суматошной толчеи. Каждый красноармеец немедленно обрастал встречающими, словно намагниченный. Объятия, поцелуи, восклицания... Федя обмяк и оглох, как от резкого подъема на головокружительную высоту. Солнце сияло слишком ярко; синева неба, зелень акаций и сквозная голубизна береговой воды ослепляли его. Все зыбилось, рябило, как от резкого перехода из тьмы крошечной в радужный свет. Федю счастье было столь внезапным и непомерным, что казалось галлюцинацией. Над толпой заструилось ярко-красное знамя. Федя зажмурил глаза и тряхнул головой. «Вот незадача! Не хватает еще грохнуться в обморок! Совсем раскис!» — подумал он, покачнувшись и не замечая, что его в самом деле толкают, постепенно оттесняя в сторонку. Ведь так получилось, что он как бы путался под ногами, не будучи ни встречающим, ни прибывающим. И тем и другим было не до него. Возможно, он так и остался бы незамеченным, если б не Милочка. Она

63

бог весть как сумела его разглядеть и бросилась ему на шею с воплем:

— Феденька! Федя-а! — Милочка открыто и бурно осыпала его поцелуями (все целуются!), взяла в ладони его голову. — Где ты пропадал? Я уж думала...

Федя опомнился. Живые Милочкины губы вернули ему ощущение того, что все вокруг настоящая правда, явь и никаких гвоздей. Он улыбнулся.

— Да погоди ты... — До него дошло, что надо действовать, как того требует исторический момент. И немедленно. — Погоди, дай сообразить.

— Как я рада, Феденька! Теперь ты будешь большим человеком. Твоя взяла!... Боже, где ты так вымазался?

Федя увидел, что к нему пробивается отец. Видно, услышал Милочкин вопль.

— Так, — сказал Федя. — Отец идет.

Милочка коротко оглянулась и зашептала:

— Федь, приходи вечером.

— Зачем?

— Затем, — и юркнула в толпу.

Отец шел к нему, протянув руки, как слепой. Федя выглядел странно. Озаренное лицо, жеваная рубашка, заляпанные брюки и ботинки. Еще не обсох после тех камышей. Федя смотрел на отца, не двигаясь. Ноги не шли. Федя провел ладонью по глазам. Он решил обняться с отцом, и ему стало тепло и легко. Но Аристид Аристович неправильно истолковал его жест и то, что он не шагнул навстречу. Да, Федя не любит нежностей, может опять обидеться. И опустил дрожащие руки. Просто подошел и сказал:

— Здравствуй, сын.

— Здравствуй, — ответил Федя и заморгал. Может, оттого, что его слепил белоснежный костюм отца. Может, оттого, что объятие не состоялось. Но оно все-таки состоялось, мысленно все-таки состоялось.

— Я рад тебя видеть.

— Я тоже.

— Вот и кончен наш спор, Федя.

— Да, отец.

— Можно пригласить тебя домой? — осмелился Аристид Аристович, стараясь придать своему голосу шутиливо-торжественный тон.

— Можно, — улыбнулся Федя. — Только не сейчас. У меня уйма дел, голова кругом идет. Я одурел от радости. Правда.

— Когда тебя ждать?

— Зачем ждать? Приду. Сегодня приду. — Он протянул руку отцу и быстро стал подниматься по склону в город.

Дорогой Федя лихорадочно обдумывал сиюминутный план. Пружинистая жажда деятельности возвращалась к нему. Во-первых, надо немедленно помочь установлению новой власти. Экспроприировать богатей, раздать всем поровну сады и виноградники... Нет, не с этого начинать! Сперва взять в свои руки вокзал, почту. Открыть тюрьму. Закрывать церковь. Нет, собрать митинг перед примарией. Нет, скорей в банк, на склады. Нет, все-таки первым долгом открыть ворота тюрьмы. Нет, собрать сначала верных людей и распределить обязанности... Голова раскалывается, с ума сойти, и только! Ах, черт возьми, я же не один устанавливаю власть рабочих и крестьян. Что это я так размечтался? Мне поручат конкретное дело... Нет, ждать нельзя, и так опоздал! С чего же начать?

Аристид Аристович мучился. Он успел пригласить к себе русского командира, когда услышал Милочкин вопль: «Федя-а!» А теперь не знал, как быть.

Возвращение Федя, примирение с ним меняли все дело. Старик хотел в первый день побыть с глазу на глаз с сыном. Поговорить по душам. Впервые в жизни Аристид Аристович совершил позорный поступок. Он не вернулся к русскому командиру, воровато выбрался из толпы и, не оглядываясь, улизнул домой. Казалось ему, что и усы покраснели от стыда.

Аристид Аристович хлопотал. Наводил порядок в доме, соображал ужин для Федя. Он хватался то за одно, то за другое. Куда подевалась его всегдашняя четкость? Но не удивительно: день-то выдался из ряда вон выходящий! Вдобавок ему и мешали. То и дело врывались соседи или знакомые: им позарез нужно было узнать, что думает Аристид Аристович о Сталине, о диктатуре пролетариата, о курсе рубля по отношению к лее, о значении таких кабелистических слов, как «комбат», «помкомзвода» или «зампредгорисполкома»... Поминутно извиняясь и отбиваясь от них, Аристид Аристович вышел из дому и поспешил к дяде Мите раздобыть чего-нибудь вкусенького. И винца.

Ресторанчик дяди Мити шумел, как улей. Сам дядя Митя бросался от столика к столику, будто спасал утопающих. Он торговал по сниженным ценам, а с красноармейцев вообще денег не брал. Однако же смеялись и, уходя, оставляли смятые рубли на столике. Дядя Митя принимал и рубли и леи. Говорили, что рубль стоит сорок лей. Дядя Митя диву давался — русские явно переплачивали, бросали рубли, не считая. Неужели правда, что они презирают деньги и вскорости их отменят?

Аристид Аристович с трудом пробился к стойке и, улучив момент, крепко поймал дядю Митю за фалды.

— Митя, бутылочку муската. Знаешь, того самого...

— Дядя Митя, мне только бутылочку муската! — услышал Аристид Аристович заискивающий голосок. Это была Милочка, взволнованная, сияющая, в ситцевом платье в горошинку, с красным бантиком на груди. Она впиалась в дядю Митю, никого не видя. Аристид Аристович наклонился к ее плечу.

— Добрый день, красавица. Твой муженек вернулся?

Милочка ойкнула.

— Как вы меня напугали! Разве можно так — в самое ухо!

Аристид Аристович тихо прошмыгнул в свой дом и запер дверь изнутри. Меня, мол, дома нет. И взялся за дело. Между прочим, он переставил и книги — пусть не гневается Федя, что чистые с нечистыми вперемежку...

Смеркалось. Стол был накрыт. Аристид Аристович достал старый граммофон, завел его, установил толстую пластинку с «Эй, ухнем...», подул на нее. Осталось только запустить... Ба! Придется зажечь свет, иначе Федя подумает, что его действительно нет дома.

На свет, как мотылек, тут же прилетел Афоня — сосед через дорогу. Он единым духом выложил все новости: как проходил митинг на площади, как провозгласили, что теперь все равны и свободны и кто не работает, тот не ест, как потом пели песню со словами «...весь мир насилья мы разрушим до основания». И еще, между прочим, ваш сын Федя хотел выступить, а ему сказали: пойдя, переоденься!.. Он был, кажется, простите меня, немного выпимши. Конечно, на радостях...

А Федя шел по темнеющей улице задумчиво, не торопясь. У него свистело в ушах от этого вихрем промчавшегося дня. Именно вихрем. Будто машина времени рванула его вперед на два десятилетия. Вчера еще он был дореволюционным подпольщиком, а сегодня окупился в волну двадцать третьего года революции. Вот об этом он никогда всерьез не думал. Ему почему-то казалось, что он хоть и в сжатые сроки, но пройдет все ступени, все этапы революции от вооруженного восстания до первого кирпича в фундаменте социализма. А вышло так, будто он сразу попал на вторую серию фильма и теперь усиленно воображения мучительно пытается восстановить пробел и одновременно понять то, что происходит перед глазами. В нем совершалась напряженная внутренняя работа, может быть, даже ломка, потому, когда его оклинули, он вздрогнул и решил, что бредит: к нему бежал румынский офицер в полной форме.

— Господи, какое счастье, что я вас нашел, товарищ Константин!

Перед Федей стоял запыхавшийся Ион Георгиу.

— Понимаете, я не знаю, что делать. Это ужасно! Меня три дня назад послали на Днестр... Когда узнал, что произошло, я вырвался оттуда и вот... Марго не хочет никуда ехать, я решаю остаться, мне говорят, что румынские офицеры должны в течение трех дней покинуть Бессарабию, а ее отец плачет, что меня русские посадят как шпиона и их тоже, за компанию... Товарищ Константин, помогите мне остаться! Вы же знаете...

Федя взял Иона Георгиу под руку и направился к крепости. На них оглядывались. Больно уж нелепо выглядела эта пара при свете фонарей: подтянутый румынский офицер и вихрастый чумацкий парень в мятой одежде и грязных ботинках. Двое красноармейцев, шедших по мостовой, — может быть, патруль — обменялись мнениями:

— Никак расстаться не могут!

— Чего здесь только не увидишь!

А Федя говорил серьезно и твердо:

— По-моему, тебе надо уезжать... Постой, выслушай сначала. Я тебе вполне верю. Но там ты будешь нужней. Понимаешь? Здесь достаточно сил, здесь и без тебя обойдутся. А там каждый наш человек — на вес золота.

— Но я люблю Марго! Мы любим друг друга!

— Будет ребенок? — серьезно спросил Федя.

— О нет! Она честная девушка. Мы собирались пожениться... О боже, как мне жаль, что не успели!

— Товарищ Георгиу, личные дела потом. Не отвлекайся. Пойми, что в Румынии предстоит то же самое. Там обязательно победят коммунисты. Сейчас, после потери Бессарабии, в румынском правительстве разразится кризис. Весь ихний строй затрещит по швам! Я думаю, недолго ждать — вы встретитесь и поженитесь...

В конце улицы загрохотало. Взлетели занавески, из окон выглянули любопытные встревоженные лица. Калитки захлопали, ребята с визгом понеслись навстречу танкам.

Мостовая дрожала. Тяжелые танки шли с открытыми люками. Им конца не было видно.

Федя зачарованно смотрел на эти темные громады. Ион Георгиу снял фуражку и китель, чтоб не бросаться в глаза. К тому же вечер был теплый. Оба молчали, пережидая.

— Видел ли ты когда-нибудь подобные махины? — крикнул Федя, глядя вслед последнему танку.

— Нет. У нас нет танковых войск. Но, товарищ Константин...

— Меня зовут Федор. И говори мне «ты». Я тебя

понимаю. Так вот. Я это беру на себя. Ни один волос с ее головы не упадет. Я буду помогать ей, пока ты не вернешься. Но только там не зевай. Считай, что это мое тебе революционное поручение. Рассказывай правду о коммунистах, о завтрашнем дне всех трудящихся, товарищ Георгиу.

— Товарищ Федор, сегодня решается моя судьба. Я буду откровенен. Я тоже думаю, что сейчас в Бухаресте будет кризис. И король полетит к чертям. Но ведь может так случиться... А что, если вместо всего того... Я говорю, что если будет война?

— Война? — Федя помолчал. — Да, война. Сейчас перед Гитлером нет никого, кроме Советского Союза. Да. Но если в ближайшее время в Румынии и на Балканах победят коммунисты, то Гитлеру придется туго. Кроме того, ты думаешь, оккупированные французы, чехи, поляки будут терпеть? Германский пролетариат, ты думаешь, будет долго молчать? Так что война, помани мое слово, будет короткой... Ты видел, какая мощь у Красной Армии?

Прощание было душераздирающим. Марго ревела, как по мертвому. Ион, закрыв глаза, все гладил и гладил ее по голове. Федя, не ожидавший, такого взрыва чувств, взял с полки наугад книгу, машинально перелистал. Она любовно была надписана Ионом Георгиу Маргарите. Иллюстрированное издание легенды про мастера Маноле, зодчего, который замуровал жену в стене строящегося храма. Федя хмуро разглядывал рисунок, где склоненный мастер Маноле, потупив глаза, обкладывал камнями бедра молодой женщины. Она смеялась, думала, что это шутка...

Федя захлопнул книгу. Маргаритин отец, зубной врач Иванченко, плотно закрыл ставни: незачем всей улице знать, что дочь не может оторваться от румынского офицера.

Как она сквозь слезы глядела на Иона! Никто в жизни на Федю так не глядел. Ему захотелось уйти. Зачем он, устроивший это прощание, еще торчит здесь? Все сказано, растолковано... И прощаться бы им надо побыстрее... Лишние переживания. Поцелуй только растравляют душу... Он вспомнил, что его самого тоже целовали сегодня утром. Конечно, не так, но все-таки... Смешно и глупо: это были первые его поцелуи. Самые первые. Хотя он, собственно, ни разу ее не поцеловал...

Маргаритин отец впервые видел такое. Его дочь... Тревожная догадка терзала его. Неужели, не дай бог, у них так далеко зашло?.. Какое там неужели? Ясно, как божий день.

Он поманил Федю пальцем, дескать, тут посторонним делать нечего.

Они вместе прошли в зубо-врачебный кабинет, похожий на уютную камеру пыток. Иванченко был суетлив и растерян. Здесь, в сверкающем кабинете, Федя определенно выглядел босяком и бродягой. Но как раз это делало его в глазах дантиста грозным представителем новой власти.

— Да вы присядьте. Вот кресло... — сказал он Феде.

— Нет уж. У меня зубы здоровые.

— Пardon... Я хочу поговорить с вами как мужчиной. Мы остаемся, я не могу бросить свой кабинет. А он уезжает. Вы совершенно уверены, что ненадолго, вы утешаете. Но если она забеременела? Может быть, лучше сделать ей аборт?

Федя почувствовал омерзение. Он поглядел на хобот бормашины, на блестящие инструменты за стеклом.

— Теперь, значит, вы будете драть русские зубы?

— Что? — смеялся Иванченко. А Федя, засунув

руки в карманы, глянул поверх его головы. И увидел на стене красочный портрет короля.

— Подходящее место,— сказал он, ухмыляясь.— Слушать стоны больных... А ну дайте его сюда!

Иванченко съехал и окончательно сдрейфил. — Пожалуйста. Мне он совершенно не нужен. Я и забыл про него.— Он подкатил к стене винтовой стул с круглым сиденьем, взобрался на него, покачиваясь, и торопливо снял портрет.

— Клеши!— приказал Федя, как врач во время операции. Дантист мигом подал блестящий инструмент, напоминающий клещи. Федя ловко вытащил гвоздочки, отбросил задник портрета и извлек Карла Второго из-под стекла.

— Порвите,— сказал Федя.— Мне руки марасть не хочется.

Иванченко с готовностью рванул короля пополам.

— Прелестно. А теперь слушайте: если Маргарита забеременеет и не родит, с вас будет спрос. Честь имею!

Федя вышел из зубо-врачебного кабинета прямо на улицу. Теплое звездное небо стояло над головой. Где-то пели. Федя почувствовал, как он устал. Ночь без сна и такой день... Отец, верно, давно его ждет. Только сначала он на минутку заглянет к Милочке, она звала его, может, у нее какое затруднение...

По дороге он старался вспомнить, почему мастер Маноле замуровал свою жену. Кажется, потому, что было ему видение: без таковой жертвы храм не достроить... И мастера поклялись: чья жена первая придет поутру, та и будет замурована. Стояли мастера на недостроенной стене, и каждый молился, чтоб его подруга опоздала. Первой пришла жена Маноле. Она торопилась принести ему завтрак. Маноле молил и ветер и дождь остановить ее, задержать. Но она пришла первой с тем несчастным завтраком... Она все смеялась и смеялась, пока не дошли камни до ее груди. Тогда она сказала, что ей больно, что камни давят молодую грудь...

«Странная легенда,— подумал Федя.— Но она народная. Что хотел ею сказать народ? Конеч-то понятно: воевода погубил мастера Маноле, чтоб тот не построил в иных местах лучшего храма. Осуждение воеводы ясно выражено. Но к чему вся первая половина? Хотел ли народ сказать, что без жертв ничего не построишь? Или, наоборот, что жертва была напрасной? Да и вообще во имя чего строили храм? Во имя бога? Надо будет перечитать. Да, предстоит учиться и учиться...»

16

Милочка шумно обрадовалась Феде. Ее миловидное курносое личико по-детски сияло. Какая-то она новая: волосы, обычно стянутые в узел, распущены и падают ниже плеч. От них несет одеколоном. Руки оголены, платье с красным бантиком туго перехвачено пояском. А на столе — закуски, салфетки, бутылка вина.

— Что ты так вырядилась? Ждешь кого?— спросил он.

— Тебя, Феденька,— игриво улыбнулась она.

— Ну вот. Я к тебе на минутку. Я устал.

Тут Милочка заметила, что он и вправду какой-то печальный, не только усталый. А она ждала его веселого, ликующего.

— Что-нибудь случилось?

— Да как тебе сказать...— Федя сел на стул, Милочка — подле него. Она ловила каждое его слово.— Я, значит, хотел ночью перебраться на ту сторону.

Ну и...— Федя развел руками и виновато улыбнулся.— Ну и вернулся вместе с ними... то есть с нами. Как-то непривычно еще говорить — нами. Страшновато. Какое у меня право на это? Я ничего не успел сделать, прямо скажем, не заслужил. Так вот. Весь день я носился, как угорелый, хотел им... хотел нашим чем-нибудь помочь. Но, понимаешь, Милочка, у наших все великолепно организовано. Пока я туда-сюда, все ключевые позиции города взяты под контроль. Все четко налажено, продумано... Олух я этакий, радоваться надо, а мне немножко досадно, что не сумел пригодиться. Я так ждал этого дня! Знаешь, я даже газету хотел выпустить, а она, оказывается, уже вышла... Когда только успели ее набрать — ума не приложу!..

— Только и всего, Феденька?— всплеснула руками Милочка.— Вот глупости! Завтра же они тебя позвуют. Еще спасибо скажут. Ты ж за это в тюрьме сидел, бедненький мой, молоденький... Федя, давай я тебя выкупаю, накормлю и спать уложу. Завтра будешь свеженький, как огурчик, красивый.

Федя оторопело глянул на Милочку.

— Ты боишься, Феденька?— Милочка вскочила, обвила его руками, плеснула в лицо волной волос, душно пахнущих одеколоном, и горячо шепнула в ухо: — Теперь ведь можно, Феденька. Можно.

Федя хотел сказать что-то, но горло сдвинуло, стало жарко и зябко. Он будто целый век стоял, упираясь, в быстрый поток и вдруг с облегчением сорвался и поплыл, поплыл...

...Среди ночи ему приснилось восстание. Он первым вскакивал на баррикаду, а она оказывалась пустой. Он бежал дальше и нигде никого не находил. Потом хватился, что он вообще один в опустелом городе. Куда-то все подевались. Он, видно, отстал, его забыли предупредить. Свистел ветер, хлопая открытыми дверями и окнами. Потом он увидел Иона Георгию — тот строил стену, делая вид, что не замечает Маргариту, которая сидела рядом на камне. Федя почему-то возмутился:

— Ты ж поклялся ее замуровать! Не увиливай!

Ион Георгию испуганно обернулся, схватил Маргариту за руку и потащил к стене. Она засмеялась и сказала Феде:

— А про лодку ты забыл? Забыл?

Федя опрометью бросился искать лодку. С бьющимся сердцем он ее нашел и вытолкнул из камышей. И сразу яркое солнце ударило в глаза: на корме сидела Милочка в чем мать родила.

— Что ты здесь делаешь? Как не стыдно!

— Теперь можно, Феденька,— улыбнулась она и скользнула к нему.

...Федя полупроснулся в объятиях Милочки.

Она целовала его. Федя плыл куда-то, воздушный, легкий. Он чувствовал, что любит Милочку.

А он-то думал, что это сложно. Темно и хищно, как обман или воровство. Вчера еще это казалось для него предательством. И потрясением, падением для женщины. А Милочка делает это с таким веселым удовольствием, что все сложности с Федей как рукой сняло. Так же неожиданно просто, как сегодня пришла свобода. Феде казалось, что все противоречия разрешились, что утром он встанет новым человеком, умудренным и переполненным поющей силой. Первый день свободы! Он улыбался, засыпая, слегка стесняясь своей слабости.

Аристид Аристидович ждал Федю далеко за полночь. Под утро он забылся, сидя у окна. Так и заснул одетым, на стуле, он, не выносящий никакой расхлябанности.

У тети Розы на квартире остановились два молодых лейтенанта. Тетя Роза стирала им портянки и готовила картошку в мундире. Они же ей раздобыли валенки — редкость по тому времени. Правда, валенки ей негодились — зимой у нас большей частью сыро, — но тетя Роза обменяла их на шерстяные варежки и была чрезвычайно довольна.

Один из лейтенантов, Игорь, начитанный и серьезный, еще комсомолец, пристально поглядывал на тетю Розу, как бы разгадывая некую проблему. Наконец спросил:

— А румынские офицеры останавливались у вас?

— Были, как же. Домну Мынтулеску, такой поленький, потом Мирча Пуркару, вертлявенький.

— И вы им тоже готовили картошку в мундире?

— Им? Нет. Они хотели бифштекс, а я не умею. Я им только кофе варила. По-турецки.

— Та-ак... — Игорь стал рассказывать по комнате, поскрипывая сапогами. — Так... Вот мы вас освободили, ясно?

— Да, — согласилась тетя Роза.

— Вас всю жизнь эксплуатировали. Все эксплуатировали — и родня и соседи. Пора с этим кончать, ясно?

Тетя Роза озабоченно посмотрела на сапоги Игоря. «Надо их почистить», — подумала, но, взглянув на Игоря, не решилась это сказать.

— У нас нет эксплуататоров, ясно?

Тетя Роза закивала несколько испуганно.

— Я за это возьмусь, — решительно продолжал Игорь. — Я вас устрою при госпитале. Будете зарплату получать.

Наверное, лейтенант сдержал бы слово, если бы их часть не перевели куда-то. Тетя Роза испекла блинов на дороге — уж очень ей понравились эти молодые русские лейтенанты. Второй, Степан, чувствительно играл на баяне, был домовит, обстоятелен и любил повторять: «Це дило треба розжуваты».

Кстати, она так и не усвоила, как их величать. Ей без конца объясняли, что не «господа офицеры», а «товарищи командиры». Тетя Роза безбожно путалась, извинялась и нашла выход: называла их только по именам. Это ни у кого возражений не вызывало.

Дядя Митя приходит к отцу посоветоваться. Дмитрий Карпович, собственно, никому не дядя. Но вот уже более десяти лет все его так называют. Из-за ресторанички. Вывеска гласит скупое и солидно: «Ресторан». Но настоящее имя ему — «У дяди Мити». Хотя по справедливости надо бы «У тети Анюты», ибо на ней рестораничка держится. Она знаменитая стряпуха, а в Лиманске почти немислимо прослыть знаменитой стряпухой: на каждой улице уйма знаменитостей по части кулинарного искусства. Каждый дом чит свою богиню стола, но избыток богинь порождает вежливую войну и любезное единоборство. Конечно, прокатываются моды и новые веяния, однако любая хозяйка в муках творчества силится внести что-то свое, ибо, как во всяком искусстве, и здесь презирают за эпигонство и явное подражание.

Границы признания той или иной знаменитой хозяйки колеблются, и одна только тетя Анюта пользуется вселиманской привычной славой. А привычная слава всего прочнее. Это значит, ты победил давно, страсти вокруг тебя улеглись, ты спокойно паришь над схваткой — пусть соревнуются остальные. С тобой же никто и потягаться не смеет. Ты вне конкурса, точно классик.

Итак, победил всеобъемлющий талант тети Анюты. Я бы сказал, интернациональный талант. Все блюда, все вкусы, все кухни ей по плечу. Щи и шашлык, мамалыга и паприкаш, мусака и курабье — все дается ей легко и непринужденно, как музыка Моцарту. И в каждом блюде — будь то суп по-гречески, или судак по-польски, или тефтели по-молдавски — неизменно присутствует неповторимый Анютин почерк.

Рестораничка на сорок мест обслуживается дядей Митей и тетей Анютой. Она, понятно, творит, он добывает материал для творчества. Но, кроме закупок, у дяди Мити еще три немаловажные функции. Во-первых, он винодел и виночерпий. Вино — это его независимое и самостоятельное владение. Тут он царь и бог. Его замыслы вынашиваются и зреют в бочках под землей.

Во-вторых, дядя Митя принимает заказы гостей, подает на стол и производит расчеты (наличными или в кредит). Потому он всегда на виду, как артист, в то время, как режиссер — на кухне. Николенька, их сын, непричастен к рестораничке — он метит в художники.

А в-третьих, дядя Митя именно артист. Он подсказывается к гостям, он раскрывает идею каждого блюда, придает ему smak, создает поэзию предвкушения.

Дядя Митя не любил румын. То есть не румын вообще, а тех, которых видел — налетевших командовать и хозяйничать. Он не очень-то говорил по-ихнему и вдобавок нарочно коверкал их слова. Не любил их и за то, что открыли в парке шикарный ресторан «Континенталь» с летней верандой, фонтанчиком, беседками, цыганским оркестром, певицей Розитой и четырьмя отдельными кабинетами. Кормили там дорого и паршиво, нагло доили и обсчитывали, но глупые лиманцы бог весть почему, как только заведутся деньги, спешат сунуть их в лапы владельцев «Континенталю». Дядя Митя недоумевал и чертыхался. Он бросил в бой все свое красноречие, чтобы разоблачить и высмеять «Континенталь». Лиманцы хихикали, соглашались, что, конечно, «Континенталь» — жуткая обдираловка и рассадник желудочных язв, но на завтра от них же можно было услышать хвастливое и томное: «Ну и кутнули мы в «Континентале»!»

Дядя Митя видел, что число его верных поклонников не только не растет, но даже редет. Он подстегивал тетю Анюту, требуя от нее выдумки сверх всякой выдумки. Со своей стороны, увеличил кредит всегдатаям, устраивал дегустации вин с конкурсом: «Кто угадает, что пьет». И вручал победителям премии. Он попробовал заманить к себе скрипачей Яшу и Грига на полное угощение. Яша и Григ стали приходить попеременно в свободные часы. Каждый сначала садился за столик и чувствительно играл, пока подадут. Откушав, играл на ушко желающему любые мелодии и романсы.

Но только днем. Вечером скрипачи принадлежали тому же проклятому «Континенталю».

Тогда дядя Митя решил и купил патефон. Он собственноручно крутил его и ставил пластинки, презирая себя за то, что редкое искусство тети Анюты он вынужден подпирать механической музыкой.

Как бы то ни было, но популярность заведения удалось удержать на определенном уровне.

В первые дни Советской власти дядя Митя торжествовал. «Континенталь» за ночь лопнул, как мыльный пузырь. Говорили, что на его месте откроется пункт общественного питания. Демократический ресторан на честных народных началах. Никакой Розиты и отдельных кабинетов. Но больше всего дядю Митю радовало, что пришли русские, с которыми можно разговаривать по-русски и которые охотно, но не-

сколько поспешно едят Анютины угощения и пьют Митино вино. Расплачиваются, денег не считая и сдачи не требуя. От посетителей отбою нет. Тетя Анюта и дядя Митя с ног сбиваются, но счастливы. И вот приходит дядя Митя к отцу советоваться. Он чем-то смущен.

— Понимаешь, Алеша, — говорит он, — садится за стол симпатичный военный, просит скумбрию и спрашивает: «А что, столовая у вас частная?» «Само собой. Я с женой Анютой...» «Мы против этого. — Он помолчал и добавил: — Революция уничтожила частную собственность».

— Что же мне делать? — спросил дядя Митя.

Отец подумал и сказал:

— По-моему, сходи в исполком и подари государству рестораничку. Уж лучше самому...

— Алеша, ты меня не поймешь. Ты всегда пускал деньги по ветру, тебе легко говорить.

— Подожди, я не кончил. Передай заведение с просьбой: пусть тебя с женой оставят в нем работать. Понял? Все по-прежнему, только ты с Анютой получаешь зарплату, а выручку — государству. Да и пенсия к старости...

Любопытно, что дядя Митя не спрашивал, почему отныне нельзя держать рестораничку. Не ища причин, просто искал выхода. И отец ему не объяснял, а советовал.

Дядя Митя сиял. В исполкоме с похвалой приняли рестораничку, переименовали его в столовую № 2 Лиманского горторга, но город говорил по-прежнему: «У дяди Мити», — потому что Митя с Анютой по-прежнему полновластно царили в нем. Дела шли великолепно, тетя Анюта творила, как никогда. Дядя Митя не мог нарадоваться своему званию «заведующий» и стал немножко задирать нос.

Недели через две ему вручили новые штаты. Всего семь человек. Дядя Митя долго не понимал и горячо отказывался.

— Да мы вдвоем вполне справляемся, не обижайте нас, мы, если хотите, расширим столовую, пристроим веранду и все разное справимся!

Товарищ Никаноров, лысый длинный человек, встал из-за стола и подошел к дяде Мите. Он как-то извинительно сутулился, моргая добрыми глазами. Дядя Митя тоже сутулился, хотя рост у него был вполне средний. То ли его крупная, тяжеловатая голова перевешивала, то ли привык в рестораничке наклоняться к сидящим.

Никаноров схватил дядю Митю за пуговицу.

— Дорогой товарищ, наше государство никого не собирается эксплуатировать. Незачем вам из сил выбиваться. Вы заведующий, вам положено управлять. Подавать — обязанность официанта. Вашей же не — она тоже человек — нужны помощники: повара, судомойка и уборщица. Ну, а без кассира-экономиста никак не обойтись. Посетитель будет выбивать чек в кассе. Никаких чаевых, унижающих советского труженика. В итоге вам станет куда легче работать. Мы вас не обижаем, а заботимся.

Дядя Митя растерялся. Ему страшно польстило, что он будет «управлять». Но все же практическая сметка взяла верх.

— Извините меня, дурака. Вам, конечно, огромное спасибо. Однако же, ей-богу, вылетим в трубу. Дохода не видать, если к нам двоим прибавить еще пятерых на жалованье.

Никаноров улыбнулся:

— Не волнуйтесь, товарищ. У нас никто не «вылетает в трубу», как вы выразились. У нас нет конкуренции. Вы будете исправно получать оклад.

Советская власть полностью гарантирует оплату труда.

Дядя Митя не понял, но согласился.

Поначалу дела шли вроде бы ничего. Дядя Митя малость обленился, стал попивать винцо с посетителями, а тетя Анюта, хоть и была назначена замзавстоловой, крутилась белкой в колесе. С Нюркой, новой поварихой, у нее вышел конфликт. В первый же день, когда тетя Анюта сокрушалась, что для мусака мясо не то и помидоры битые, новенькая, здоровая бойкая девка, которую дядя Митя знал маленькой, а теперь, удивившись, как она выросла, потрепал по щеке и даже ущипнул, сказала небрежно:

— Ничего, сойдет!

Тетя Анюта приревновала, рассердилась и стала делать все сама, легонько отстраняя Нюрку от плиты. Та не горевала и уходила в кино.

18

Эта скала над лиманом — две косые каменные плиты, нацеленные в небо. Под ними кипят волны, будто скала мчится к морю на всех парусах. Каменный нос корабля в пене, в брызгах! Я был маленьким, а море большое. Но я бороздил его вдоль и поперек, взобравшись на самую вершину скалы. Я причаливал к берегам Африки, измотанный бурями, с пересохшими губами, язык едва шевелился во рту. И огромный добрый негр протягивал мне кокосовый орех. Я надрезал его ловким ударом ножа и, замирая, пил прохладный сок черной земли — молоко. Потом вместе с огромным добрым негром (жаль, забыл его имя) я спешил к южному полюсу — обезьянка сидела у меня на плече. Я спешил, мне надо было спасти кита от гарпунов. Я очень жалел китов — их так мало осталось...

А когда спускался вечер и пора было идти домой, чтобы мама не волновалась, я прерывал свои тайные путешествия: закрывал глаза и снова открывал их...

Удаляясь от скалы, я оглядывался на нее снизу — у самой крепостной стены скала, как крокодиловая пасть, полна была звезд...

Так, день за днем я ткал свой фильм, самый хороший фильм, потому что его можно было продолжать бесконечно и смотреть без конца. Закрывал глаза и снова открывал их — значит, фильм прерван, и все остальное не в счет, а когда, взобравшись на скалу, мигал опять, — фильм возобновлялся.

Я как действующее лицо всегда старался быть на высоте перед собою — зрителем, а как постановщик бдительно оберегал фильм от чепухи, мелочей и от всякого вторжения реальности. Лиманская действительность никак не годилась для фильма. Единственное, что стоило признать в Лиманске, было его прошлое. Хотя и прошлое приходилось исправлять, чтоб оно неизменно оставалось героическим. Не мог же я, например, согласиться с дурацкой концовкой такой вот легенды:

...Нагрянули басурманы и не в первый и не в последний раз осадили Лиманск. Молдаване бились храбро и отразили все попытки взять крепость приступом. Прошли лето и осень, наступали холода. И вот появились признаки того, что турки, отчаявшись, собираются снять осаду. В их лагере происходило какое-то волнение. Сам паша постучался в ворота: так, мол, и так, сказал он, вы отважные воины, мы не смогли вас победить и уходим. Но войско голодает и отказывается идти в дальний путь. Позвольте нам испечь хлеба на дорогу. Мука у нас есть, но нет печей...

Обрадовались молдаване, что турки уходят, и впустили их испечь хлеба. Пекли турки до самой ночи, стали вино попивать с молдаванами на прощание, а в полночь по знаку кинулись к воротам и сумели открыть их. Хлынула в крепость орда басурманская и устроила дикую резню...

Это было немислимо. Я переигрывал историю с хлебами по-своему: защитники крепости смеялись в лицо неприятелю, и он уходил, скрежеща зубами. Или допускали его «испечь хлеба» и все-таки побеждали в бою...

Реальность сама ворвалась в мой фильм. Оказалось, что все предыдущее, все ковбои и мореплаватели гроша ломаного не стоят. Я был в отчаянии: как я не догадался, что жил при капитализме, как не сообразил, что надо бороться против короля! Героическая правда революции и гражданской войны открылась мне тогда, когда ни капитализма, ни короля не стало в наших краях.

В древней крепости прямо на стене вывесили белое полотно, и как только стемнело, среди башен, под звездным куполом появился Чапаев на лихом коне, шли капеллецы в психическую атаку...

Кино в крепости показывалось бесплатно каждый вечер. Там гибли матросы-кронштадтцы, пели три танкиста, три веселых друга, выныривали из туч кургузые ястребки, потом опять под восторженные крики распахивались ворота Зимнего дворца, и порывисто, даже весело направлял величайшую революцию совсем простой с виду Ленин в Октябре.

Некоторое время я не вспоминал о своей скале, а когда вспомнил, превратил ее в крейсер «Аврора», который выплывал в океан и нес красное пламя революции к африканским неграм и американским индейцам. Я торопился наверстать упущенное, мне стыдно было, что целых десять лет был слеп и ничего не понимал.

Однажды мне помешал мальчишка, я издали увидел, что он, свесив ноги, сидит на моей скале. Я бродил поблизости, кидал камешки в воду — ждал, пока уйдет. Не дождавшись, крикнул:

— Тебя мама зовет!

— Ладно врать-то, — ответил он.

Я закрыл и открыл глаза — это белогвардейский лазутчик проник на мой корабль. Я быстро вскарабкался, ободрал коленки, и страшная схватка над морем продолжалась недолго, мы оба, чуть живы, скатились к подножию скалы. Мой враг, ревя и обливаясь слезами, покинул поле боя, а я



кусал губы и не плакал, не имел права: фильм продолжался...

В игру со скалой ворвалась настоящая война и властно повернула сюжет, приземлила его. Однако, сколько бы тягот и горя ни выпадало на долю, я оставался ребенком. Хоть и страшно бывало, и голодно, и холодно, и тоскливо, но прежде всего было интересно.

И незаметно для себя я стал строго придерживаться того, что со мной происходит. От прежней игры остался только условный знак: моргнул — с этого мига все регистрируется памятью как входящее в

фильм, моргнул еще раз — стоп, остальное долой. Я старался не лгать: выбрасывал из течения дней только незначительное и скучное. Разумеется, я с удовольствием выбирал все свои удачи и поступки, которыми был доволен, но приходилось выставлять напоказ и свои оплошности и грехи. Перед самим собой не солжешь. Остается лишь поскорей поправить впечатление и впредь не попадать впросак...

Война превратила нас в беженцев, — покидая родные края, я оставлял себя там, на скале, дожидаться продолжения. Я был уверен, что если война и способна прервать мою игру, то ненадолго.

(Окончание следует.)



НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ЛЕНИНИАНЫ

Во всех странах и на всех языках выходят новые книги о Ленине, о его жизни и борьбе, идейном наследии и политических заветах.

Рассказывая о Ленине, очень важно (и очень трудно) точно и выразительно воссоздать общественную атмосферу эпохи. Деятельность и личность Владимира Ильича можно по-настоящему раскрыть лишь на фоне сложных и противоречивых переплетений исторических событий его времени.

Эту нелегкую задачу удалось оригинально решить талантливому французскому документалисту Шарлю Фельду. Сотни фотографий и документов, тщательно отобранных им для альбома «Ленин в Париже», складываются в многоликий образ Франции 1908—1912 годов «замечательно живо». Так говорит об альбоме автор предисловия к нему — выдающийся историк-коммунист Жорж Коньо. И перед читателем действительно возникает Париж тех дней, когда там жил, трудился, боролся Ленин. Париж древних памятников и бурных рабочих демонстраций, забастовок, митингов, словом, Париж того времени —

с его людьми, нравами, бытом, социальными контрастами.

Наши французские друзья издали альбом накануне 50-летия Октября. В самом начале 1970 года уточненное и дополненное издание этой книги на русском языке выпустило под заглавием «Когда Ленин жил в Париже» издательство «Изобразительное искусство».

Поэтический и остроумный авторский текст альбома, множество стихов поэтов Франции и сложнейшую по ее стилистической ткани прозу Марселя Пруста отлично перевели Т. Савицкая и М. Ваксмахер. Научный консультант русского издания Р. Каганова дополнила книгу новыми фрагментами статей и писем Владимира Ильича, воспоминаний Н. К. Крупской, С. И. Гопнер, А. В. Луначарского, Т. Ф. Людвиной, Д. З. Мануильского и других. Закладывает издание сжатое и содержательное послесловие Р. Кагановой. Оно напоминает читателям основные вехи жизни и работы Ленина во Франции. Послесловие обобщает подчас причудливый калейдоскоп событий, фактов, «неповторимых примет времени — порой трагических, порой лирических», а то и забавных. На их летучем, динамичном и одновременно строго документальном фоне автор послесловия оттеняет главное: непрестанную ленинскую борьбу за партию пролетариата против всех ее тогдашних противников и справа и «слева», будь то меньшевики-ликвидаторы или «отзовисты», троцкисты или эсеры.

Из послесловия Р. Кагановой читатель немало узнает о Ленине — руководителе Большевицкого Центра и редакторе большевистского «Пролетария». О Пражской конференции, проведенной «вопреки ликвидаторской сволочи», и о партийной школе в Лонжюмо. О встречах и беседах с Горьким и Лафаргом. О том, как изучал Владимир Ильич опыт французского рабочего движения и как хранят память о Ленине французы в наши дни.

Читая альбом, совершаешь увлекательное путешествие и во времени и в пространстве. «Юность» уже обращалась к альбому (в польском издании). Теперь читатели смогут познакомиться с этой интереснейшей книгой на русском языке.



Леонид
Мартынов

Ночь на шхуне

Отстали мы от поезда. И вскоре
Увидели: куда ни повернем,
а путь один остался — только к морю.
И мы решили искупаться в нем.
На берегу стоял прибрежный житель.
Когда к нему мы ближе подошли,
Он показал нам, как небрежный зритель,
на шхуну, что сидела на мели.
Спросили: чья! Ответил он: рыбачья,
и до нее добраться можно вброд.
Мол, рыбаков постигла неудача,
хоть и уверенный они народ.
У них в хозяйстве планы, руководства,
библиотека целая у них.
Чинить кораблик вся артель возьмется.
И он исчез внезапно, как возник.
И я сказал приятелю:

— Давай-ка
На шхуне заночуем мы. Авось,
Она — гостеприимная хозяйка,
не может быть, чтоб места не нашлось!
И перешли мы вброд на эту шхуну...
Сначала солнце жгло и ветер дул,
А к вечеру на море стало лунно,
заснул приятель мой, и я заснул.
Но, вспомнив разговоры человека,
которого увидели мы днем,
Я в темный трюм взглянул. Библиотека,
Как я увидел, находилась в нем.
И были там не только руководства
по ловле твари всяческой морской,
А все, о чем рыбацье сердце бьется,
когда оно охвачено тоской.
Там было все, о чем между собою
беседовать способны рыбаки,
Когда, уйдя в сиянье голубое,
они от побережий далеки.
Там было нечто вроде Кормчей Книги,
написанной уж в наши времена,
Про всякие коряги и булыги, а может быть,
и вовсе не она.

Светало.
Знал я: сдвинуть судно с мели
Артель приедет рано поутру,
Увидят, спросят:
«Всё уразумели!»
Но даже и азов не разберу!

Звонок из юности

Не трогайте меня, не торопите,
Никто — ни человек, ни селенит!
Но вдруг звонок внезапный: — Вы не спите!
Простите! Это юность к Вам звонит!
Нет, вовсе не из «Юности» журнала,
А к Вам из Вашей юности звоню!
И трубку я бросаю и нахала
Из своего спокойствия гоню.
Но все же в трубке не смолкает шорох,
Как будто я ее и не бросал.
Стервец стихи читает мне, которых
Я сорок лет назад не дописал.

Творчество

Когда создаются
Сложнейшие вещи —
Подобия солнц, заменители лун,
Слова об искусстве все чаще и резче
Звучат в мегафоны с высоких трибун.
О том, чтоб таким и оно создавалось,
За сложностью жизни угнаться спеша...

Но надобно знать, что давно стосковалась
Об очень несложном людская душа —
Чтоб творчество, полное внутренней мощи
И многообразное, как никогда,
Дерзало бы стать по возможности проще,
Как попросту солнце,
Как просто звезда!



Ко мне
Привязывались пьяные,
Мечтая, чтоб я их задел,
Но в мутные их, оловянные
Глаза спокойно я глядел.
Отмахивался нелюбезно я
От них, как будто от слепней.

Когда привязывались трезвые,
Вот это было пострашней!

Великодержавность

Время
Великих Держав
Не ушло, но в далекую давность
Канул, блистательно-ржав,
Ореол твой, Великодержавность.
Минуло время Петров, и Моголов,
и Карлов Великих,
Минуло время даров от племен
первобытных и диких.
Все это где-то в былом, а сегодня бы
думать хотелось,
Страсть не идти напролом,
убеждений великая зрелость,
Твердость решений людских и великая
Их достославность —
Вот ты на тронах каких
Восседаешь,
Великодержавность!

Пегас

Пегас
Когда-то был
Величиною с пса,

Как предки всех других
Прекрасных лошадей.
Еще не возносил он ввысь под небеса
Уже ликующих и плачущих людей,
Еще копытцами о камень он не бил,
Чтоб опьяняющий забушевал поток,
Но все ж он и тогда
Почти крылатым был,
И цвет свой набирал
Поэзии цветков.

Сон

Все решено,
И все улажено...

Ты кутаешься в платок.
По-зимнему ты принаряжена.

Над родником замерз цветок,
Мороз жесток, снежок скрипуч,
Иссяк поток, замкнулся ключ,
И больше ничего не важно,
И больше ты меня не мучь,
И так уж в горле снежный ком.

Но корку льда над родником
Ты пробиваешь сапожком,
И брызжет под его носком
Не ключ, не буровая скважина,
А целый гейзер, о каком
Я только грезил взбудораженно.

Сон этот мой
Тебе знаком!

Старый бес

Как взгляну
На все вокруг,
Скушно мне в своем углу.

Я хотел бы сделать лук
И нацеливать стрелу
Для того, чтоб наводить
Сладкий ужас на сердца,
С тетивы ее спустя.

Я хотел бы походить
На опасное дитя,
На крылатого божка,
Ветреного сорванца
С беломраморных небес.
Да! На твоего дружка
Походить издалика,
Древний космос,
Старый бес!

Нетопыри

О эти злобные нетопыри!
Откуда и зачем они берутся!
Друг перед дружкой, черт их побери,
Висят вниз головами и дерутся.
И не поймешь, кто жертва, кто злодей:
Их равно омерзительные рожи
Так яростны, что даже на людей
Они, борясь, становятся похожи.

Прорицатель

О том, что будет, знаю я заране,
И все сбывается, что возглашу,
И столько брани за свое старанье
Переносил я и переносу.

И часто, малодушный, я грешу,
В уныние повергнут этой бранью,
И у Богини Лживости прошу:
— О, дай мне добрый дар перевиранья!

А то клянет меня народ честной,
Они кричат, что я всему виной,
Причиной всяких горестей являюсь!

Но повернулась Ложь ко мне спиной,
И сам в ногах я у себя валяюсь,
Чтоб не сбылось предсказанное мной!

Насильно мил не будешь

Насильно мил не будешь!
И это пустяки, за это не осудишь,
что многие стихи
Томятся, застревая у типографских врат,
И, кажется, бываю я этому и рад.
Еще и интересней услышать не сейчас:
«Зачем ты эти песни утаивал от нас!
Мы только их и ждали!»

И я тогда пойму:
Они не опоздали, и это потому,
Что ни к чьему я горлу
С ножом не пристаю
И не прошу покорно
Услышать песнь мою.

Небесный рокот

Не знаю,
Отчего ты
Приписываешь мне
Все то, что самолеты
Рокочут вышине.
Ведь не другой бы кто-то,
А рассказал бы сам
Я все, что самолеты
Рокочут небесам.
И если я узнаю
И все соображу,
То первой, не скрывая,
Тебе все расскажу.

Закат

Ты, закат мой, угасал.
Ночью я ушел в творенье
Прозы.

Я перо кусал,
Я стихи писать бросал:
Не вернется обострение
Чувств и внутреннего зренья.

Это было постаренье!

Нет! На следующий день я
Рано встал и написал
Новое стихотворенье,
Как закат мой угасал.



Стройная береза на пути,
Как борзая,
Вытянула шею.
Приласкать ее хочу, да не умею.
Нечего сказать,
И мимо не пройти.
Не касаясь белого ствола,
Улыбнусь,
Кивну
И двинусь дальше.
Вот и все,
Чем я могу без фальши
Показать, как мне она мила.



Пленяет сердце ветер первых встреч,
Врачуют душу реки дальних странствий.
Но с чем сравнить
И как в строке сбечь
Все то, что с нами было не в пространстве?
Летели птицы,
И дымил завод,
Брела куда-то
Стайка пионеров,
Прошел худой старик —
Комок перегоревших нервов,
Оранжевый фургон
Катился задом из ворот.
Все ехало куда-то, шло,
А ты...
А ты стоял,
Но был не здесь, а где-то,
И вдруг улыбка,
Ярче солнечного света,
Пронзила заслезившееся лето,
И пред тобой возникли
Все твои мечты.
Они стояли, головы склоня,
Как бы в присутствии друг друга
Чуть смущаясь.
И сердце твое замерло, смещаясь,
И оказалось в полости огня.
Неведомо кому
Ты крикнул: «Отвяжись!»,
Неведомо кого
Простил легко и скромно.
И стало на душе
Так просто и огромно,
Как будто раз и навсегда
Ты понял, что такое жизнь.



Веселой пляскою с притопом
Подхвачен высохший листок.
И бьет от солнца сильным током,
И птицы знают, где восток.
Их струны тянутся по сини
Необычайной новизны.
Что в жизни может быть красивей,
Чем созерцание весны!
Какая прачка постирала
И отутюжила потом
Песчаной отмели начало
Под фиолетовым мостом!
Какой маляр зеленой нитрой
Основу мира освежил
И всех дорог узор нехитрый
Чуть-чуть иначе наложил!



С какой-то странною тоской
Вывозят мусор городской.
Как будто жаль бросать на свалку
Вот эту старую скакалку,
Иль этот чайник без носка,
Велосипедные педали,
Скелет зонта, ключок вуали...
Летит, летит на самосвале
Необъяснимая тоска.
Люблю забытые дворы,
Люблю в железном ломе рыться.
То медный болт найду,
То странное корытце,
И в сердце что-то вдруг
Так звонко зазвенит,
Как будто археолог я
И раскопал случайно
Далекий город неизвестных лет...
А впрочем, вру.
Сравнить мне это не с чем.
Я просто весь в плену
Тончайших тихих дум,
И мысли новые вливаются в меня,
Минуя ум,
И веет вечностью от каждой старой вещи.
Люблю забытые дворы,
Они, как старцы древние, мудры.
Взросший там, где старины немного,
Смотрю на них,
И угасает до поры
Та мелочная, смутная тревога,
Что превращает жизнь
В подобие игры.



Вкушает бабка красоту природы,
Забыв белье на взмыленной доске.
И маленький щенок
Неведомой породы
Облаял отблеск дня,
Плывущий по реке.
Мне хорошо,
Я гражданин весны
С почти необозримыми правами.
И птицы певчие забытыми словами
Опять наполнили
Мои несбывшиеся сны.
Вкушает бабка красоту вещей,
Как будто ждет

Какой-то важной вести.
...Как хорошо,
Что белый свет ничей,
А ты — моя,
И мы с тобою
Вместе!



Портальный кран
Покрашен в желтый цвет.
Горят глаза, и крюк его кокетлив.
...Не потому ли город так приветлив,
Что весь росой умыт
И хорошо одет!
Наверно, потому.
Я знаю по себе:
Бывало, купишь новые ботинки,
И хлынет из тебя,
Как молоко из кринки,
Приязненная страсть
К любой чужой судьбе.
О, как приятно
Вдруг излиться добротой
В каком-то нерасчетливом порыве,
Оставить в жизни дня
Лучеподобный след
И каждому ловцу помочь поймать по рыбе
В таинственной реке
Легко бегущих лет!



Звереныш детства моего,
Сурок,
Стоящий серым столбиком у норки!
Не раз, бывало, я давал зарок,
Что не вернусь к тебе за помощью и лаской
Туда, где старый пруд,
Поросший синей ряской,
И козами обжитый бугорок.
Я пробежал три четверти пути,
Давно растаял в небесах зеленоватых
Холодный дым береговых костров.
Плетней ребристых
Молкнет скрип вечерний,
И медленные молнии очей
Без прежней грусти падают в ручей.
Я пролистал три четверти пути,
И стал мне скучен стиль
Моих блужданий в мире.
И мера новой радости земной,
Как встречный путник,
Вдруг возникла предо мной,—
Она безжалостней былой,
Но радужней и шире.
Кивнуть и разойтись, или пойти за ней?
Иль за собой позвать ее куда-то!
Звереныш детства моего, сурок,
Хочу услышать голос твоего испуга
В тот миг, когда три четверти норы твоей
Шипя сползает с пуга,
А лето кончилось, и нет на свете друга,
Который за тобой пойдет
На риск любых дорог.
Хочу узнать запасы прочности своей,
Могу я или нет
Еще однажды хлопнуть дверью лета
И выйти в ночь на поиски рассвета
За небывалой песнею вослед.

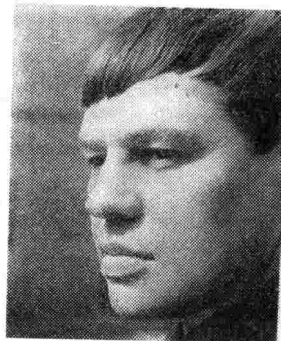
И часто, малодушный, я грешу,
В уныние повергнут этой бранью,
И у Богини Лживости прошу:
— О, дай мне добрый дар перевиранья!

А то клянет меня народ честной,
Они кричат, что я всему виной,
Причиной всяких горестей являюсь!

Но повернулась Ложь ко мне спиной,
И сам в ногах я у себя валяюсь,
Чтоб не сбылось предсказанное мной!

Насильно мил не будешь

Насильно мил не будешь, Лидия, роса
И день грядущий бьет
В литавры медного заката.



Леонид
Терехин

Ищу могилу своего отца.
Читаю имена на обелисках
подолгу от начала до конца —
и не встречаю ни в одном из списков.
Трещат цикады в зарослях овса.
Ищу могилу своего отца.

Здесь 271 могила,
и 30 238
за нашу землю воинов погибло
в ту грозную и огненную осень,
когда на Тульщине краснел не листопад —
кровоточили раны у солдат.

И возле каждой, онемев, стою.
Желтеют желуди в траве, как пули,
и — новобранцами — дубки в строю,
застывшие в почетном карауле.

Все реже след войны... Но неспроста
ждут матери, солдатки и невесты
бойцов, погибших безымянно. Стал
и мой отец солдатом неизвестным.
Последнее письмо: «Вступаем в бой!»
И продолженьем этих строчек — боль.

Оборвалась его дорога здесь.
Теней солдатских изваянья встали,
чтоб каждый шаг наш, каждый час и день
дорог отцовских продолженьем стали.
Стираю слезы с пыльного лица.
Ищу могилу своего отца.



Лев Гурвич

У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

Почти полвека пролежал перевязанный бечевкой пакет за ветхим шкафом в коридоре большой московской коммунальной квартиры. И, возможно, пролежал бы еще неведомо сколько, не наткнись на него случайно одна из нынешних жилищ. Развернув пакет, она обнаружила несколько старых, но хорошо сохранившихся фотографий. Подписей — никаких. Знакомых ей лиц — тоже...

В конце концов пакет попал ко мне. Я решил «расшифровать» фотографии.

На одной — Красная площадь (снимок сверху). Суда по деревьям — ранняя весна. Свежий могильный холмик у Кремлевской стены, неподалеку от Спасских ворот. Среди молодежи, окружившей могилу, несколько военных. Два знамени: Центрального и Московского комитетов РКСМ.

На втором снимке — большая траурная процессия. Солдаты, рабочие... Много молодежи. Отчетливо видны вывески на домах, окружающих то ли площадь, то ли широкую улицу: «Типография Житомирского», «С. М. Огаров», «Гильзовая фабрика Фрей и К^о...». На заднем плане заводские трубы и сливающееся с горизонтом поле. Явно, не Москва...

Третье фото — траурный митинг у какого-то здания. Масса людей. Воинский караул, венки. Транспаранты: «Вечная память славному борцу!», «Ты жертвою пал в борьбе роковой», «На бой, на смертный, вставай, народ!» И снова — знамена ЦК и МК РКСМ. Приглаживаюсь и узнаю фасад здания — старый Курский вокзал в Москве.

На последних снимках — портрет какого-то юноши и группа друзей у гроба с его телом...

Кто-то, видимо, погиб на Южном фронте (поезда на Курский вокзал приходили только с юга), и его торжественно проводили в последний путь на Красной площади.

Кто же он? Случай исключительный: очень редко привозили погибших с фронта, чтобы похоронить у Кремлевской стены. Речь, наверно, идет об очень незаурядном человеке, причем непосредственно связанном с комсомолом.

Пытаюсь определить время похорон. Ясно, что ранняя весна. Но весна 1918 года исключается: знамена РКСМ не могли появиться ранее Первого съезда комсомола. Скорее всего — весна 1919-го, самое крайнее — 1920-го, но не позднее: в этом я уже полагаюсь на собственную память — с 1921 года я работал в Московском комитете комсомола, и такое событие, как похороны комсомольского работника на Красной площади, не могло бесследно выпасть из памяти.

Обзваниваю и обхожу десятки старых друзей по комсомольской юности, показываю снимки, спрашиваю: «Не припомнишь ли что-либо?»

Нет, не припоминают. И узнать никого на фото не могут.

Вооружаюсь лупой и тщательно рассматриваю подписи на лентах венков. На одной удается прочесть: «Инз. рев. див.».

Так появилась первая ниточка для дальнейших поисков: понятно, что найденные фото связаны со знаменитой в годы гражданской войны Инзенской революционной дивизией. Той, что громила белых на Волге, прославилась на Южном фронте.



Генрих Звейнек. Фото 1918 года.

На других лентах я сумел разобрать лишь отдельные буквы и слоги. Но их оказалось достаточно, чтобы после различных сопоставлений предположить, что погибшего звали Генрихом Звейнеком.

Однако в списках захороненных у Кремлевской стены фамилии Звейнека нет. Нет ее и в книгах по истории комсомола. Ни в одной. Обращаюсь в Центральный архив при ЦК ВЛКСМ. Ответ неутешительный: фамилия Звейнека работникам архива неизвестна, как неизвестно и ни об одном случае похорон комсомольского вожака на Красной площади, да еще под знаменами ЦК и МК РКСМ.

«Сведений о Звейнеке не имеется», «Ничего, к сожалению, сообщить не можем», — ложатся на стол однообразные ответы из различных архивных учреждений.

Значит, надо заняться всем, что имеет отношение к Инзенской дивизии. Прежде всего искать тех, кто был или мог быть с ней непосредственно связан.

Задача оказалась очень нелегкой... Но в результате все же нашлись и документы о Звейнеке (в одном архиве — даже пухлая папка воспоминаний и некрологов весны 1919 года); нашлись и люди, хорошо знавшие Генриха Звейника¹ — и по дивизии и в Латвии.

¹ Я хочу выразить самую сердечную благодарность всем, кто помог мне восстановить короткую (всего 21 год!) героическую жизнь Звейнека, прежде всего товарищам Л. П. Креслинь, Я. К. Мергину, Э. Д. Плинке, А. К. Калниню, А. К. Ваненбергу, К. Э. Ключко и многим другим.

Оказалось, что вокруг имени Звейнека успели сложиться и легенды, обнаружилось немало искажений и противоречивых сообщений. В таких изданиях, как «Памятник борцам пролетарской революции», изданном Истпартом в 1925 году и пятой «Истории гражданской войны», Звейнек назван старым большевиком. А на самом деле этому «старому большевику» едва минул двадцать один год, когда оборвалась его жизнь.

...Из вагона он вышел на станции Инза. Инза — важный узел железных дорог на Сызрань, Симбирск и Рузаевку. Именно сюда летом 1918 года стремились бурно наступавшие белые. И именно здесь формировалась тогда 1-я армия Восточного фронта под командованием М. Н. Тухачевского и В. В. Куйбышева.

Сюда его, двадцатилетнего коммуниста Генриха Звейнека, направил Московский комитет партии. А здесь его назначили комиссаром Инзенской дивизии.

Самой дивизии, впрочем, в те дни еще не было. Было постановление V Всероссийского съезда Советов, подчеркнувшего, что комиссарам «вручается судьба армии» и что на этот высокий, чрезвычайно ответственный пост «должны ставиться лишь безупречные революционеры». Это было.

Было сознание того, что здесь, на Волге, нужно остановить белых. Не случайно В. И. Ленин писал в те дни: «Сейчас вся судьба революции стоит на одной карте: быстрая победа... на фронте Казань — Урал — Самара. Все зависит от этого».

И еще: был приказ по 1-й армии, подписанный Тухачевским и Куйбышевым, о назначении комдивом Инзенской Яна Лациса, двадцатилетнего командира Видземского латышского полка, коммуниста с февраля 1917 года.

Дивизию надо было создать в считанные дни. Чуть ли не в бою.

Рассчитывать на большую помощь командования армии молодым комдиву и комиссару не приходилось. Комплектоваться да и вооружаться надо было самим. Переданные инзенцам несколько малочисленных и пока разрозненных отрядов непрерывно находились в бою; вывести их с передовой для необходимой перестройки не было никакой возможности. А в некоторых частях, кроме того, царили расхлябанность и партизанщина в самом худшем смысле этого слова.

«Не раз подступали солдаты, Украинно-Белорусского полка, — рассказывает бывший председатель ЧК 1-й армии К. К. Ратник, — да еще со своими выборными командирами, к штабному вагону с различными требованиями и слухами. Лацис, отличавшийся особенной невозмутимостью, обычно спокойно и односложно отвечал: «Брехня», «Не верьте». Больше из него выжать было невозможно. А экспансивный Звейнек не выдерживал, вступал в споры и обычно уходил вместе с пришедшими, чтобы на месте, в полку, вести разъяснительную работу. Бывало, что этот полк самовольно снимался с позиций и уезжал в своем эшелоне подальше на ночь. А утром, как ни в чем не бывало, возвращался обратно. Конечно, одними разъяснениями тут справиться было невозможно. Приходилось принимать меры и покруче».

А самым убедительным всегда оставался личный пример.

«Что касается работы комиссаров полков и дивизий, то она, — докладывал Звейнек в политотделе армии, — главным образом была направлена на наблю-

дение за воздействием боевых приказов, для чего я и товарищи при всех операциях лично участвовали в боях с полками, ходили в разведку и т. д. Это участие было необходимо, — как бы оправдывался он, — части были необстрелянные, не привыкшие к гражданской войне. Присутствием то в одном, то в другом полку, смотря где было наихудшее положение, под личным руководством и участием в продвижении из деревни в деревню и при боях много раз удавалось достигнуть успеха и провести операции... Мы стали агитаторов приставлять к частям и ротам и как примерных красноармейцев, которые, постоянно находясь в частях, могли бы руководить их жизнью и служить примером в бою».

Сообщив о решении начать организацию ячеек в частях, Звейнек заканчивает донесение так: «Настроение в частях удовлетворительное. Сейчас наши части в Сызрани — измученные. Власть еще не налажена, белые отступают, мост через Волгу взорван, мы выступим завтра или сегодня».

Бои за освобождение Сызрани, Симбирска и Самары показали, что дивизия уже была грозной военной силой. Инзенцы стали надежной опорой 1-й армии. Поэтому много лет спустя и назвал ее В. В. Куйбышев «воистину доблестной». Поэтому и поручались ей самые сложные задачи.

Звейнек всегда был там, где создавалось наиболее опасное положение. В боях он шел обычно в первой цепи или впереди нее. Часто бывал в разведке. Осенью восемнадцатого года Генрих Звейнек был награжден за смелость и мужество Почетным революционным оружием.

Но не только в боях звучало пламенное слово комиссаров. Помогал Звейнек создавать Советы в селах, освобожденных дивизией, нес большевистскую правду людям обманутым, робким и ищущим ответа. И все это в 20 лет!

Кстати, немаловажно напомнить, что в то время комиссарами Красной Армии были такие выдающиеся партийные деятели, как С. Орджоникидзе, С. Киров, В. Куйбышев, К. Ворошилов, Р. Землячка, С. Гусев, И. Межлаук...

Один из самых молодых комиссаров — Генрих Звейнек — был достоин «выкованных и закаленных» старших товарищей. «У него были все задатки крупного вожака», — вспоминают его товарищи по дивизии и Союзу латышской молодежи, одним из организаторов которого был он...

...Союз латышской молодежи... Он создавался в Москве осенью 1917 года...

Но, прежде чем обратиться к его истории, восстановим коротко некоторые факты, связанные с биографией Звейнека до приезда в Москву и, естественно, до политработы в Инзенской революционной дивизии.

Генрих родился 5 декабря 1897 года в Латвии, в Лубане, в семье батрака-лесоруба.

Ему не было и девяти лет, когда по всей Латвии загрели выстрелы рабочих дружин и запылали поджигаемые батраками помещичьи имения. На усмирение революции пятого года царское правительство бросило множество сильных карательных отрядов. На всю жизнь запомнил Генрих ту ночь, когда и в их поселок нагрянул такой отряд.

Так Генрих Звейнек впервые столкнулся с революционной борьбой. Его революционное воспитание продолжилось в школе, в чтении книг, в бесконечных размышлениях о несправедливостях, окружающих простой люд его страны.

Этому способствовала и сама среда лесных рабо-

чих. Надо сказать, что тяжелая, длившаяся от зари до темна работа в лесу обладала одним преимуществом: относительной свободой. Здесь не было, как на хуторах и в барских имениях, следящего за каждым шагом хозяина. Сюда удавалось проникнуть и подпольщикам, осторожно, исподволь ведшим революционную пропаганду.

С ранних лет помогая отцу в лесу, Генрих слышал разговоры лесорубов, обрывки их воспоминаний о пятом годе. Ему нравились эти люди своим независимым поведением, серьезностью, с которой они отвечали пытливому парнишке на его дотошные расспросы о жизни в городах, о вידенном ими и незнакомом ему. И книги... Учитель волостной школы Яков Граубинь прививал своим ученикам любовь не только к Райнису и Вейденбауму, но и к русской литературе, познакомил Генриха с рассказами Горького и сборниками «Знание».

Уже в последний год своей учебы в начальном училище Звейнек вошел в круг революционно настроенных рабочих, посещал нелегальные собрания, знакомился с революционной литературой. А затем в Цесисе он учился в реальном училище и зарабатывал на жилье и хлеб, давая уроки хозяйским детям. Весной 1916 года Звейнек вступил в большевистскую партию. Об этом периоде вспоминает партийный работник Август Каулинь, его товарищ по училищу: «Приехав в Цесис, Генрих с согласия Цесисской партийной организации создал быстро ставший популярным кружок сочувствующих в нашем реальном училище».

А другой из его друзей, также член партии с 1916 года, Ян Мергин, добавляет несколько штрихов к портрету Звейнека:

«Юноша, выше среднего роста, очень подвижный и деятельный, он хорошо рисовал, неплохо играл на скрипке, писал стихи и очень много читал. Открытый и простой в обращении, Генрих легко сближался с людьми...»

Март 1917-го... Едва узнав о революции в Петрограде, Звейнек вместе с кружковцами участвовал в демонстрации и вместе с рабочими освобождал из городской тюрьмы политзаключенных...

Так началась настоящая революционная борьба. Звейнек — член первого в Латвии Совета рабочих депутатов, агитатор, пропагандист, участник организации первого профсоюза и Советов безземельных во всех волостях Цесисского уезда.

Бурное развитие революции выдвигало все новые задачи. Сложные и нередко неожиданные. Решать их приходилось сразу, немедленно, полагаясь зачастую только на революционный инстинкт, учась применять общие задачи партии в местной конкретной обстановке и борьбе. Участники событий мужали вместе с их развитием, обретая в их ходе опыт и закалку. Этого требовало время. Отметая всех, кто не мог шагнуть в ногу с революцией, оно выдвигало на передовые линии тех, для кого делать революцию стало главным делом жизни, кто рос вместе с ней. Таким стал и Генрих Звейнек.

Фронт приближался к Цесису, занятия в училище прекратились. Пала Рига...

Тогда, в августе, Генрих с двумя своими соучениками решил ехать в Москву, где в то время уже была значительная большевистская организация и основной центр работы среди латышских беженцев, которых по всей стране насчитывалось свыше полу-миллиона.

Общение со старшими товарищами быстро «взрослило» Генриха. Вначале он выполнял отдельные партийные поручения, а вскоре стал одним из вожakov латышской молодежи.

Приехав в Москву, он вступил в Красную гвардию, участвовал в октябрьских баррикадных боях. Он очень близко познакомился со многими активистами большевистского Союза рабочей молодежи «III Интернационал», участвовал в его собраниях, был вместе с членами Союза на предоктябрьской демонстрации 15 октября — той, что требовала взятия власти Советами. А когда возникла мысль о создании Союза латышской молодежи, Генрих стал одним из самых деятельных его организаторов.

По примеру того же Союза рабочей молодежи «III Интернационал» молодые латыши решили издавать и свой журнал.

Первый номер журнала «Яунас Циня» открывался статьей Генриха.

«Организуя союзы молодежи, — писал он, — мы должны положить в основу их те же задачи, которые ставит коммунистическая партия, чтобы молодежь с самого начала не блуждала по разным дорогам, а стала бы твердо на единственно правильный путь... Наши организации должны создаваться по всей России — везде, где только есть трудовая латышская молодежь, чтобы она могла достойно включиться в великую интернациональную семью».

В этих словах сказалось еще одно качество Звейнека: интернационализм в самом высоком смысле этого слова. Организацию Союза латышской молодежи он с самого начала рассматривал как один из отрядов общероссийского коммунистического юношеского движения.

В бывшем барском особняке на Старой Басманной, 6, где разместился Союз, кипела жизнь — бурная, стремительная, разнообразная. В большом зале — митинги, диспуты, оживленные споры, доклады, которые готовили и читали молодые латыши (среди докладчиков часто был и Звейнек). На антресолях и в комнатах второго этажа работали кружки: политучеба, русский язык, своеобразный «ликбез», музыка, театральное искусство. Здесь любили слушать и как Звейнек играет на скрипке. Здесь вообще любили Генриха, считались с его мнением.

А вечерами, часто уже после дискуссий или концертов, отправлялись на ночные дежурства в помощь только что создаваемой в те дни московской милиции. Надаживать работу в милиции было поручено большевику — латышу Цирулю, — естественно, что он привлек к этому чрезвычайно серьезному и ответственному делу своих юных собратьев. Среди первых и здесь был Генрих Звейнек, к тому времени секретарь исполнительного комитета Союза.

Одновременно с работой в молодежном Союзе он выполняет очень важные поручения большевистской организации. Так, в начале 1918 года он был направлен в Вологду специальным эмиссаром Народного комиссариата по делам национальностей. «Там, — объяснили ему перед отъездом, — сейчас собрались все послы стран Антанты. Они не хотят признавать Советское правительство и поэтому уехали в Вологду. Несомненно, они будут готовить всякие каверзы, а может быть, и похуже. А в Вологде единственная серьезная опора местного Совета — небольшой латышский отряд. Мы не очень хорошо знаем, как в нем обстоят дела. Свяжись с губкомом партии и решай на месте, как и что...»

Успешно выполнив задание, Генрих вернулся в Москву и узнал, что его собираются послать в Германию для работы в первом советском посольстве... Звейнек немедленно сел за немецкий и английский языки, но... дипломатом ему стать не довелось...

Летом 1918 года он вышел из вагона на станции Инза. Двадцатилетний комиссар будущей Инзенской революционной дивизии...

...Вечером 7 ноября 1918 года открылся VI Всероссийский съезд Советов. Делегат съезда комиссар Генрих Звейнек сидел в переполненном зале Большого театра, взволнованно, как и все, ожидая выступления Ленина.

Сегодня должно было произойти что-то необыкновенное — он чувствовал это, знал. Ведь 7 ноября — первая годовщина победы революции!

Выстояла молодая Советская страна, не спавшая перед трудностями...

Свердлов предоставил слово Ленину. Зал разразился овацией, затем запели «Интернационал»...

Звейнеку не раз доводилось слушать Ленина, видеть его. Но сегодня он впервые видел Ильича счастливым, со светящимся радостью лицом.

«Октябрьские дни первой годовщины были одними из наименее счастливых дней в жизни Ильича», — вспоминала потом Надежда Константиновна Крупская.

А в праздничном зале этим ощущением радости и силы, переполнявшим Владимира Ильича, были охвачены и все делегаты съезда.

И это было главное, о чем рассказывал бойцам Генрих Звейнек, вернувшись в Инзенскую революционную... В особенно трудные для Южного фронта дни конца восемнадцатого года...

По распоряжению Ленина на юг были переброшены сильные части с других фронтов. Инзенская должна была разбить в верховьях Дона войска генерала Гусельщикова, значительно превосходившие инзенцев и вооружением и численностью...

Двухнедельную переброску дивизии на Дон Звейнек решил использовать для интенсивной политической учебы красноармейцев. Обучали неграмотных, создавали библиотеки, драмкружки, регулярно читали газеты, обсуждали положение на всех фронтах — не только на своем.

Закончилась переброска — завязались напряженные, кровопролитные бои.

В январе 1919 года «Правда», рассказывая об одном из сражений инзенцев, писала: «Завязался бой, какие редко бывают. С нашей стороны — три полка, со стороны противника — шесть. Адская канонада, гул, свист, грохот, стоны раненых, трескотня пульметов». Сражение шло в открытой степи, переходило в рукопашные схватки, и газета выделяла огромную роль комиссаров, показывавших образцы героизма в бою.

В сводке, датированной 20 января 1919 года, политотдел Южного фронта отмечал: «Инзенская дивизия. Бои под Коломенской отличались необычайным ожесточением, закончились победой, захватом больших трофеев, стоили больших потерь в комиссарском составе... В трех полках осталось всего 2 комиссара».

На место выбывавших комиссаров немедленно ставились новые, и политотдел фронта в те же дни сообщает, что «почти во всех ротах, батальонах и полках Инзенской дивизии политработа ведется хорошо, организованы ротные и полковые комячейки, есть постоянные агитаторы». Все это самым прямым образом связано с деятельностью комиссара дивизии Звейнека, сумевшего в тяжелых боевых условиях поставить работу лучше, нежели в других, соседних частях.

После разгрома войск Гусельщикова в дивизию пришла телеграмма М. Н. Тухачевского.

«Поздравляю с неожиданными сверхуспехами», — писал командарм-8 и давал новую задачу, «которая решит участь всего фронта... Исполнение стремительное», — подчеркивал он.

Через несколько дней Звейнек читал бойцам при-

Об этом снимке мы уже упоминали в начале статьи. На нем запечатлена похоронная процессия у вокзала в Луганске. Трудно представить, что более десяти тысяч человек пришли сюда в день, когда враг стоял всего в нескольких верстах от города. Но это действительно так: велика была любовь бойцов и командиров к своему молодому комиссару; видимо, хорошо узнали его и рабочие Луганска, если в столь трудную для жизни города минуту пришли проводить его...



каз по армии: «На фронте Инзенской дивизии противник разбит, деморализован и массами сдается в плен».

В эти дни, в урывках между боями, Генрих пишет письмо домой. Единственное уцелевшее. «Милые родные! Когда приеду в Видземе, не знаю, ибо трудно вырваться с фронта. Может быть, скоро отпустят на отдых... Дивизия постоянно в боях. Пишите, как теперь в Лифляндии, что делаете и т. д. Луции (самой младшей сестре, вскоре умершей. — Л. Г.) надо бы учиться дальше. Непременно. Дезюги я буду посылать. Осенью я тоже думаю ехать учиться в Москву... Сейчас такие обстоятельства, что приехать нельзя. С казаками трудно бороться. Забиваем, а в тылу снова восстания. Скоро возьмем Новочеркасск и Ростов». И заканчивал: «Пишите. Жду, ибо ничего не знаю о вас. Много, много добрых дней всем, всем».

Но отдохнуть не довелось. Остались мечтами и мысли об учебе. В центре Донбасса, у Луганска, не устояла перед натиском врага 41-я дивизия. Срочно брошенная ей на помощь Инзенская дивизия, за три дня совершив бросок в 170 километров, прямо с марша, без передышки вступила в бой.

Белые были остановлены.

Началась ожесточеннейшая борьба за Луганск. Здесь решалась судьба Донбасса и во многом судьба всего юга нашей страны. Сюда белые подтянули крупные соединения.

Защита Луганска была поручена Яну Лацису и его дивизии. В подмогу инзенцы получили две бригады и Московскую дивизию. На оборону города встали рабочие луганских заводов, их жены, даже дети — совсем еще подростки. Обстановка осложнялась с каждым днем.

Положение стало критическим, когда 12 апреля белым удалось прорваться вплотную к кургану Острая Могила — последнему оборонительному рубежу у ворот города. Здесь решалась судьба всей Луганской операции...

Приказ начальника Инзенской дивизии:

«12 апреля, в 18 ч. 25 минут, у высоты Острая Могила пал смертью храбрых наш общий товарищ — один из основателей Инзенской революционной дивизии, политический комиссар Генрих Звейнек.

Во все счастливые и трудные дни дивизии он всегда был на славном посту, честно и мужественно исполняя свой долг гражданина — бойца за всемирную революцию и братство трудящихся.

Товарищи красноармейцы, пусть эта свежая жертва будет ярким пламенем гореть в наших сердцах. Сожжем теснее ряды в борьбе за торжество труда и социализма над черными бандами!

Вечная память и слава честно павшим в бою!»

Имя Звейнека неотделимо от истории дивизии. «Своей неутомимой энергией, храбростью и редким организаторским талантом он создал славную страницу в истории революционной дивизии» — так сообщала о гибели Генриха центральная военная газета «Известия Наркомвоена».

«Латышских коммунистов, а особенно коммунистическую молодежь потрясло известие о смерти тов. Генриха Звейнека... Мы потеряли одного из энергичнейших и самоотверженнейших борцов за коммунизм», — писала латышская газета «Красный стрелок» 30 апреля 1919 года.

Весть о гибели Звейнека дошла и до Цесиса: половину первой страницы местной газеты занял некролог, подписанный городским комитетом партии. Последнее слово об одном из лучших своих земляков...

Редко ставились памятники в то время. Истлели ленты венков. И так случилось, что полвека могила у Кремлевской стены оставалась безымянной. В июне 1969 года у стены появилась новая гранитная доска. На ней выправлено имя ГЕНРИХА ЗВЕЙНЕКА.



РАФАЭЛЬ

(К 450-й годовщине
со дня смерти художника)

Незадолго до своей смерти, вероятно, в 1519 году, Рафаэль подготовил письмо к папе Льву X, где писал о разрушении построек Древнего Рима и убеждал принять меры для их сохранения. В этом письме есть примечательные слова: «Усматривая в реликвиях, которые еще можно видеть среди развалин Рима, божественность тех древних умов, я не считаю невероятным убеждение, что многие вещи, кажущиеся нам невыполнимыми, были чрезвычайно легки для них... Познание столь замечательной области приносит мне и величайшее удовольствие и в то же время величайшую боль, когда я созерцаю как бы труп благородного города моей родины... И поскольку почтительное отношение к родителям и родине есть долг каждого, то я считаю себя обязанным напрячь все мои малые силы, чтобы насколько возможно сохранить живым облик или хотя бы тень города».

Эти строки написаны человеком эпохи Возрождения, который видел в античности, в памятниках материальной и духовной культуры Древней Греции и Древнего Рима великое наследие, подлежащее восстановлению и усвоению. Людей эпохи Возрождения влек к античности не столько интерес к своему прошлому, сколько воплощение цели, к какой они и сами стремились, — единство правды и красоты. В античности они нашли мировоззрение с человеком в центре всего, развитым всесторонне — телесно и духовно, прекрасным, свободным, сильным, уверенным, что он может свершить все. Конечно, такое убеждение вступало в противоречие с традиционным учением церкви, господствовавшим в течение долгих Средних веков. Тогда богословие было главной и верховной наукой, учение о боге было в центре всего. Люди Возрождения понимали это. Они даже противопоставили «божественному знанию» (по-латыни *studia divina*) знание человеческое (по-латыни *studia humana*, от *homo* — человек, откуда происходят слова «гуманист», то есть ученый, посвятивший себя этим наукам, и «гуманизм», в широком смысле «человечность»). И хотя редко кто из итальянских гуманистов становился последовательным атеистом, объективно их усилиями «духовная диктатура церкви была сломлена» (Ф. Энгельс).



Возрождение началось в Италии, и здесь оно приняло формы, ставшие классическими. Одной из главных причин была успешная борьба городов с феодалами, вызвавшая появление нового человека, уже не только не связанного с сословными привилегиями и благословлявшими их учениями церкви, но прямо восставшего против них и словом, и мыслями, и делом — с оружием в руках. Рождение этого нового человека было замечено раньше всего художниками — поэтами, живописцами, скульпторами, а также учеными-филологами, занявшимися изучением памятников античной культуры, сначала латинской, а потом и греческой. Вот почему на всем итальянском Возрождении лежит отпечаток художественности, и когда мы произносим слово «Возрождение», мы прежде всего думаем об искусстве того времени.

Каждый из этапов Возрождения имел свое лицо. XIV век — это век литературы, век Данте, Петрарки и Боккаччо, а также великого реформатора живописи Джотто. Петрарка и Боккаччо были первыми «гуманистами», то есть выдающимися знатоками древних языков. В XV столетии знаменательно развитие искусств и появление таких гениальных мастеров, как живописец Мазаччо, скульптор Донателло, архитектор Брунеллеско. Недаром их называют «отцами» Возрождения. Реалистическое по своим устремлениям, их искусство получило тогда же прочные теоретические основы: художники разрабатывали математическое учение о перспективе, учение о пропорциях, анатомию человеческого тела, теорию архитектурных ордеров. Сама жизнь требовала от художников стать учеными.

Последние годы XV и первые десятилетия XVI столетий, время наивысшего расцвета искусств, принято называть Высоким Возрождением. Уже давно, с середины XVI века, тремя его величайшими представителями считают Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэля Санти.

На репродукции сверху: Рафаэль Санти. Галерея Уффици.

Каждый из них по-своему отзывался на свое сложное время. Леонардо да Винчи (1452—1519), самый старший, раздвинул до неизвестных ранее пределов возможности научного обоснования искусства и внес тем самым существенный вклад в развитие таких чисто научных дисциплин, как анатомия, математика, физика, ботаника, геология, метеорология и т. д.

Главная тема творчества Микеланджело (1475—1564) — борьба. Новое мировоззрение завоевывало свое право на существование в борьбе со старым. Италия, разделенная на несколько самостоятельных городов — государств, страдала как от внутренних междоусобиц, так и от нашествия могущественных иностранных держав. И великое благо для человечества, что в Микеланджело было достаточно сил, чтобы рассказать об этих бедах и о борьбе с ними языком неповторимо прекрасного искусства.

В чем же заключается вклад Рафаэля (1483—1520), младшего из трех, умершего всего 37 лет от роду?



Мы мало знаем о личной жизни Рафаэля. Он не делился своими чувствами и переживаниями ни в письмах, ни в разговорах. Такая сдержанность, несомненно, была результатом воспитания при Урбинском дворе, где Рафаэль усвоил правила поведения светского человека, не допускавшие проявлений слишком личного.

Рафаэль родился в Урбино 6 апреля 1483 года в семье Джованни Санти, поэта и живописца. У него, видимо, Рафаэль получил первые уроки живописи и благодаря ему вошел в круг придворного общества, одного из самых блестящих в Италии конца XV века. В этом небольшом государстве был жив глубокий интерес ко всем проблемам гуманизма, здесь была собрана богатейшая библиотека древних рукописей — в подлинниках или хороших копиях, — и в ней наряду с произведениями древних философов, ораторов и историков особое внимание уделялось древним физикам, математикам и строителям. Здесь же был разработан строгий этикет, считавшийся образцовым для всей Италии. С одним из самых выдающихся деятелей этого двора и этого времени, Бальдасаре Кастильоне, Рафаэль сохранил дружбу на всю жизнь. А его земляк и родственник Браманте, крупнейший архитектор Высокого Возрождения, оказывал ему в дальнейшем свое покровительство.

Рафаэлю было 8 лет, когда умерла его мать, а 11 лет он потерял и отца. В возрасте 17 лет он поступил в мастерскую Пьетро Перуджино, известного умбрийского живописца, где Рафаэль мог усвоить все необходимые тогда науки, чтобы в дальнейшем их совершенствовать. Ранние произведения Рафаэля свидетельствуют о несомненном влиянии на него учителя. Но уже в первом его чудесном шедевре — маленьком тondo (круглой картине) «Мадонна Конестабиле» — мы видим уже следы его художественного своеобразия. От Перуджино, конечно, легкие, как бы ажурные деревья, от него же — тип лица миловидной мадонны. Но самому Рафаэлю принадлежит композиционное единство, сделавшее монументальной эту маленькую (диаметр всего 18 см) картину. Ритм контурной линии, очерчивающей фигуру мадонны, удивительно, но ненавязчиво гармонирует с круглым форматом картины. Смело проведенная по диаметру линия горизонта в пейзаже придает устойчивость всей композиции. А лирическая одушевленность целого и человечность делают второстепенным религиозное содержание кар-

тины, написанной восемнадцатилетним или девятнадцатилетним художником. В большом алтарном образе «Обручение Марии», датированном 1504 годом, Рафаэль переработал композицию учителя на ту же тему. Здесь впервые в его творчестве появляется изображение грандиозного центрального сооружения, над разработкой которого трудились тогда Леонардо да Винчи и Браманте. Замысел художника ясен: объединить в картине фигуры и пространство. И здесь сделан первый шаг к этому на основе тщательно продуманной и просчитанной перспективы.

В 1504 году Рафаэль впервые приехал во Флоренцию, эту колыбель искусства Возрождения. В то время здесь было много выдающихся мастеров; важнее всего для Рафаэля было познакомиться с творчеством Леонардо и Микеланджело. У Леонардо его поразила больше всего разработка светотени, ее нежнейшие переходы и мастерство завершенных композиций. И он пишет свою «Мадонну дель Грандука» на темном нейтральном фоне, как советовал Леонардо. Рафаэль изучает «Джоконду» Леонардо и пишет свои поколенные женские портреты — «Маддалена Дони» и «Женщина с единорогом».

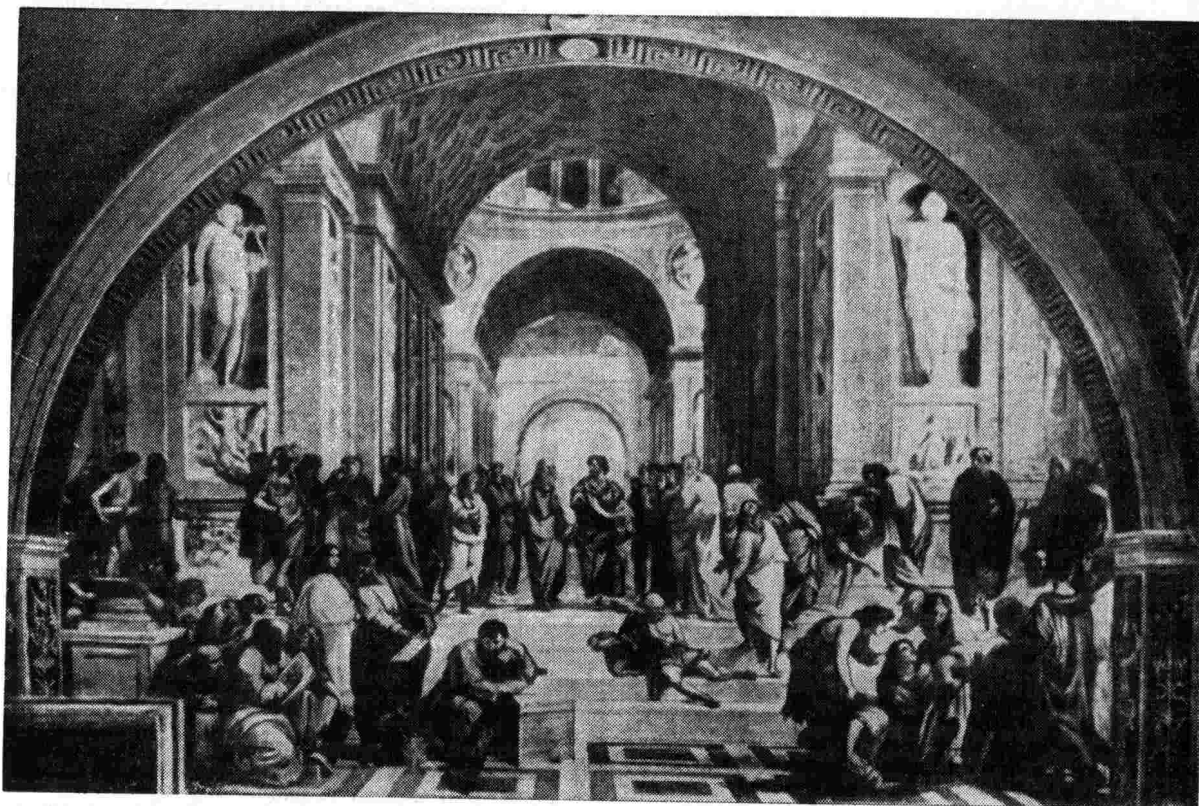
Но в те же годы он нашел и разрабатывал свою собственную тему, группу из трех фигур — Мадонны, младенцев Христа и Иоанна Крестителя — в пейзаже: «Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница», «Мадонна Альдобрандини», «Мадонна Альба». Первые три — четырехугольного формата, последняя — круглая. Удивительно, как этот молодой художник, рано осиротевший, неженатый и бездетный, так хорошо понимал маленьких детишек, их подчас неловкие, но всегда непосредственные и полные младенческого очарования позы и жесты. Пирамидальная композиция, включающая фигуры в трехмерный объем, становится все более естественной и непринужденной. Отношения света и цвета приобретают неизвестную ранее свежесть. Связь фигур с пейзажем становится зримым выражением гармонического единства прекрасных человеческих образов с прекрасной природой, единства человека и мира — этой заветной цели всех устремлений гуманистической культуры.



Одних этих произведений, равно как и нескольких портретов — «Анджело Дони», «Беременная», «Автопортрет», — достаточно, чтобы считать Рафаэля великим художником. Но только после переезда в Рим (в конце 1508 г.) он стал величайшим. Вероятно, Браманте, работая в Риме над проектом нового собора св. Петра, обратил внимание папы Юлия II на молодого художника. Во всяком случае, уже в 1509 году Рафаэль начал расписывать станцы — личные покои папы в Ватикане.

Значение этих фресок огромно, их нельзя переоценить. В них, как в фокусе, сконцентрировались и наивысшие достижения художественной культуры Высокого Возрождения и самые передовые устремления того времени.

Присмотримся поближе к одной из этих фресок, к «Афинской школе», изображающей философию. Под «философами» Рафаэль понимал, как было принято в то время, также математиков, космографов, грамматиков, теоретиков музыки. Середину занимают Платон и Аристотель — старец и муж в расцвете сил, — мерно шествующие из глубины к переднему плану. Все остальные расположены так, что середина фрески остается свободной, она оживлена лишь фигурой лежащего на ступенях ци-



Рафаэль. «Афинская школа».

ника Диогена. Слева на переднем плане — группа философов (Пифагор, Гераклит и другие), за ними, на верхней ступени, — Сократ, излагающий свои доводы ученикам. Справа на переднем плане — группа математиков, разбирающих доказательство геометрической теоремы (в согнувшейся фигуре с циркулем в руке — вероятно, это Евклид — видели портрет Браманте), рядом с ними — космографы и астрономы — Птолемей, Зороастр, — а у самого края картины справа Рафаэль изобразил самого себя и художника Содому, работавшего до него над украшением той же станцы. Здесь достигнуто полное единство пластически выраженных фигур и пространства.

Грандиозная архитектура имеет глубокое значение: она не только служит достойным обрамлением для мыслителей, она приближает их к нам. Реальная арка зримо повторяется в перспективно уходящих сводах, исполненных живописью. Из-под этих сводов и выходят Платон и Аристотель. Философы идут к зрителям. Создается ощущение, что и зритель может подняться на эти ступени и войти в общество философов. Древние мудрость и наука стали здесь близкими и доступными. Возрожденное античное мировоззрение, где центром был человек, воплощено здесь не как идеал, пусть прекрасный, но недостижимый, а как нечто существующее и действительное. Здесь достигнута полная гармония не только человеческих фигур и пространства, не только живописи и архитектуры, но и величественного прошлого и сулящего великое будущее настоящего.

Фрески Рафаэля наводят на дальнейшие размыш-

ления. Он показал, что даже, казалось бы, отвлеченные темы становятся художественными, претворяясь в адекватные зрительные образы, приобретают новую плотность, а вместе с тем и обогащаются новым содержанием.



Работая над росписями станц Ватикана, Рафаэль исполнил много других заказов: он изготовил большие картоны для тканых ковров (шпалер), разработал новый стиль архитектурной орнаментики, идя по следам античных росписей, открытых тогда в гротах (отсюда название таких орнаментальных форм — «гротески»), и применил его в открытых галереях (лоджиях) Ватикана. В вилле Фарнезина по заказу богатого банкира Киджи он исполнил «Триумф Галатеи» и роспись плафона на тему античной сказки о Психее. «Галатея» вызвала восторженный отзыв Бальдасаре Кастильоне. Отвечая ему, Рафаэль под видом светской любезности высказывает очень глубокую мысль. Чтобы написать красавицу, говорит он, мне надо видеть много красавиц. Но так как их мало и выбор труден, а вы не всегда со мной, чтобы помочь добрым советом, «я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на мысль. Имеет ли она в себе какое-либо совершенство искусства, я не знаю, но очень стараюсь его достигнуть». Вдумаемся в эти слова: «надо видеть много красавиц» — значит, в основе всего лежат наблюдения действи-

тельности. А «некоторая идея» — это художественный образ, возникающий из осмысления действительности, переработки ее и поэтического переосмысления. Значит, не отрыв от жизни, а поиски жизненных глубин, прекрасного совершенства, лежащего в основе преходящих жизненных явлений.

Эта же мысль породила и несколько мадонн, исполненных Рафаэлем собственноручно. Одна из них — «Мадонна в кресле». Существует предание, что Рафаэль написал ее, увидев на ступенях одной из римских церквей крестьянку, кормившую грудью ребенка. Пораженный ее красотой, он якобы поднял дно старой бочки, так как ничего другого под руками не было, и сделал набросок, превратив его потом в картину. Конечно, все было не так. Мы знаем, как упорно Рафаэль работал над этой композицией; сохранившиеся рисунки показывают и другие варианты, и не круглые, а прямоугольные. Один из секретов творчества Рафаэля заключается в том, что он умел, как никто, прятать предварительный труд и добиваться окончательного решения, настолько завершенного и естественного, что кажется единственно возможным и потому возникшим легко и внезапно. В этом — правда рассказа. Но есть в нем и другая правда: на мадонне не обычная традиционная одежда, а полосатый платок и кофта из домотканой одежды, какую делали для себя крестьянки, жившие «по ту сторону Тибра», как говорили римляне. И лицо мадонны носит черты типичной римской красоты — строгой и величавой. Все три фигуры — мадонны, младенцев Христа и Иоанна Крестителя — заполняют всю поверхность картины, но расположены они в круглой раме свободно, нет ни в малой мере впечатления, что им тесно.

Едва ли не больше всего прославлена «Сикстинская мадонна». Это большой алтарный образ. Рафаэль написал его для монастыря св. Сикста в Пяченце. Вот почему слева изображен св. Сикст, а справа — св. Варвара, покровительница города. Двухчастный зеленый занавес как бы раздвинулся, и явилась мадонна с младенцем на руках. С поразительной убедительностью передано движение, спуск, почти полет. В чертах лица мадонны — та же величавость римской красоты, что и у «Мадонны в кресле», то есть очень жизненная и, если хотите, народная. Но все это нужно Рафаэлю для передачи главного: ведь мадонна спускается на землю, к людям, и недаром на них, находящихся в церкви, указывает Сикст. Мадонна несет людям самое дорогое, что может быть у матери, — своего ребенка — и, как она знает, на страдания и смерть. Но знает она также, что эта жертва необходима для людей, для их спасения. Так Рафаэль придал евангельской легенде глубокое человеческое содержание, высокую и извечную трагедию материнства. Вот почему так сложно выражение лица мадонны. Кто, поняв это, возьмет на себя смелость говорить о «холодности» классического искусства?



Особо следует остановиться на портретах Рафаэля римского периода. Мы уже видели, что своих современников он нередко включал в многофигурные композиции. Но писал он и самостоятельные портреты. Выдающимися по своим живописным достоинствам являются «Женщина с покрывалом», «Бальдасаре Кастильоне», изумительный по своей серебрянистой гамме, «Портрет папы Юлия II» и «Портрет папы Льва X с двумя кардиналами», а также портрет гуманиста Ингирами. В них всегда выявлены глубокий духовный мир чувств и страстей («Женщина с покрывалом»), сложная интеллектуальная жизнь, мягкая скромность и сдержанность («Кастильоне»), темперамент старца Юлия II, человека неиссякаемой энергии, как бы прислушивающегося к самому себе в ожидании вспышки ярости, столь страшной для современников, что они прозвали его «грозный папа»; широко образованный Лев X — все они даны Рафаэлем как неповторимые в своем своеобразии личности и вместе с тем как глубоко обобщенные образы, как бы символы своей эпохи. Не скрывая даже физические недостатки людей (несогласие Ингирами, тучность Льва X), Рафаэль подчеркивает то, что ценно в данном человеке, и потому Ингирами становится столь привлекательным своей искренней увлеченностью наукой, Лев X — своим тонким вкусом. Так и в области портрета Рафаэль раскрыл новые возможности реалистического классического искусства.



Рафаэль умер в Риме 6 апреля 1520 года, в день своего рождения, после внезапной трехдневной болезни. Его чистое искусство и безупречное мастерство, удивительная работоспособность, совершенное знание всех наук, необходимых для искусства, приветливость и личное обаяние окружили имя его ореолом «божественности» у современников. Он был похоронен в Пантеоне, построенном во времена императорского Рима.

Рафаэль велик тем, что искусство его, как и его великих современников, не только жило передовыми интересами своего времени, но смотрело далеко вперед. Мысль о возможности гармонического единства человека и природы, отдельной личности и общества, решения, найденные им для воплощения этой гармонии в искусстве, оказали самое большое влияние на последующее развитие живописи. Правда, чаще следовали его приемам, чем мысли, сделавшей такие приемы необходимыми. Напрасно было искать в его живописи общеобязательных и неизменных канонов, пригодных на все времена. Но Рафаэль в этом не виноват. Таково свойство великого искусства: передовое для своего времени, оно остается передовым навсегда.

А. ГУБЕР,
заслуженный деятель искусств РСФСР



Александр Егоров



ЦВЕТЫ ЖИВЫЕ

«Сторонник освобождения людей от наемного рабства срывает с цепей фальшивые, украшающие их цветы, чтобы рабы научились сознательнее и сильнее ненавидеть свои цепи, скорее сбросили их и протянули руки за живыми цветами».

В. И. ЛЕНИН.

НЕВА. СОЛНЦЕ.

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.

Строки Бориса Корнилова, пропетые тысячи раз в тридцатые годы. Но нет, не о загородной прогулке пойдет речь. И встреча, обещанная поэтом, состоится не в лесных кущах. В заводской проходной.

Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Завод. Существует он отнюдь не частью гармонического природного целого, а как природа особенная, железная, сделанная. Так стоит ли начинать с такого разбега — цветов, прохлады, ветра? Мне приходилось бывать на предприятиях, о назначении которых не враз и догадаешься: то ли цехи, то ли филиал Сухумского ботанического.

Мой завод жестче. Кирпичные бока его обдувает невским ветерком. И в стекле 11-го цеха дробятся тысячи солнц. И цветник разбит на узком пятачке за центральной проходной.

Но когда страна ждала мощных турбин, а турбины не могли уместиться в прежних цехах, рабочие выкорчевали часть парка Дурново, примыкающего к заводу, и гигантский корпус стоит сейчас на том са-

мом месте, где под шелест лип когда-то сходились к Полюстровскому минеральному источнику. А грузные конструкции заводского пирса, ворвавшегося в Неву, никак не примешь за пристань для прогулочных катеров. Зато лихтер «Лодья» принимает с этого пирса на свою палубу железные цветки весом в сотни тонн, и ленинградские мосты поднимают пролеты вверх, пропуская турбину, провожая ее в дальний путь к ГЭСам и ГРЭСам.

Он поотстал в промышленной эстетике, мой завод.

Даже в самом имени своем несет он вызов стыдливым сегодняшним оговоркам. Не «завод каких-то изделий», не «Светоч», не «Заря».

Металлический.

Ленинградский дважды ордена Ленина Металлический завод имени XXII съезда КПСС.

Когда я думаю о заводе, о том, что называется индустрией, о том процессе, в котором человек создает вторую природу, вторую оболочку планеты, я сразу вспоминаю Металлический. Его турбины работают на десятках рек и в десятках городов «безречных» (там перемальвают топливо, извлеченное из земных недр) и самой природе — первой природе — диктуют законы природы второй, очеловеченной. Диктуют все более властно. Начав с турбинки в 370 киловатт мощностью, металлосты лелеют сейчас в цехах «цветочек» в 650 000 киловатт — самый мощный в мире

(американцы собираются переоборудовать свою станцию Гранд-Кули турбинами по 600 000 киловатт). В лабораториях завода чертежи цветка и на 800 000 и энергетического блока на 1 200 000 киловатт. Каково? Как вам эта космическая кривая, начинающаяся чуть выше нуля и взмывающая к астрономическим высотам? Уже в ней одной — прометеев огонь, клоч боро-ды, вырванный у Бога-Натуры.

Но металлосты отнюдь не одержимы сатанинской, манфредовской гордыней, о природе, о Натуре — первой, единственной, которую нельзя растратить, не восполняя, — они думают больше и глубже, чем иные энтузиасты цветников вокруг цеха.

Завод, тысячами тонн пожирающий, перерабатывающий металл, одним из первых понял таящуюся здесь опасность. Завод экономит на припусках, на точном литье, на замене естественного (выкопанного из недр) искусственным — пластмассами, новыми материала-ми.

Впрочем, это только еще первый слой рачительности. Очевидный. Гораздо интереснее слой второй. Уже в проектных чертежах и макетах уменьшаются габариты, параметры турбин. Большую мощность загоняют во все меньший объем. Какое это умнейшее и гуманнейшее дело!

Наши умы до сих пор ушиблены представлением о том, что делается при распаде ядра, какие бездны энергии раскрепощаются при этом из ничтожного материального объема.

Переверните задачу. Представьте гиганта, набирающего в горсть столь же основательные массы энергии (автор просит здесь прощения у физиков за вольную терминологию) и примеривающего их к уменьшенному объему. Не видится ли в этом закреплении акт столь же великий, как и раскрепощение сил ядра? И не в этом ли Homo Sapiens — Человек Разумный — делает один из самых крупных шагов навстречу Натуре, к решительному и рачительному союзу с ней?

Металлический...

Он стоит в тесном ряду заводов над Невой, за Литейным мостом. И, честно говоря, я не вижу, на каких клочках в этой тесноте (как говорится, исторически сложившейся) могли бы быть разбиты зеленые кущи, взлелеяны каскады тюльпанов или терпких невских табаков. «Красный выборжец», объединение имени Свердлова, Металлический таябуют из-за каждого дециметра площади, с которого можно сделать хоть шаг вперед в индустриальном соревновании.

Он, пожалуй, и останется жестким, завод.

Но, поэты, но, охранители кущ и ручейков! — не забудьте поклониться вот этой угрюмоватой громадине на набережной. Здесь сделали тысячу энергетических сердец для речных электростанций, а станции подарили нам новые моря и миллионы гектаров орошаемых, годных к труду полей. Здесь бросили вызов Натуре и ведут с нею поединок (все-таки поединок), но милосердный, обдуманый в таких отдаленных последствиях, которые нас с вами только начинают тревожить, да и то умозрительно.

И это все по поводу металла и сада, их спора или единства.

Уже без зова гудка спешат металлосты на смены. А все-таки по-прежнему

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.

Нева. Солнце. Завод. Их не разделить в мироощущении, когда, звеза,

Страна встает со славою
На встречу дня.

МУЗЕЙ. ПАСМУРНО.

Все-таки хоть немного, но будет и о доподлинном цветке.

В 1959 году Николай Погодин писал пьесу о первых бригадах коммунистического труда. Приехал и на Металлический — в бригаду Михаила Ромашова.

— Это не было «изучение материала», — рассказывает сейчас Михаил. — По-моему, это Погодин учил нас, учил «материал». Человечности и требовательности. Мы схватывались с ним, как с начальником участка иногда схватимся. А потом пьеса пошла...

Я принимаю это многоточие в разговоре. Я перечитал пьесу и нашел в ней имя Михаила (еще довольно редкий случай, когда реальный рабочий становится лицом в драме).

«Действие второе. Картина первая.
НИКОЛАИ (сидит, положив голову на ладони. Говорит как бы про себя, странно, точно Аллочка нет). Вот видишь... но я не от стихов. Тут сама жизнь, как говорится. Меня, как говорится, покорило. Тебе признаюсь: хочу походить на такого малого, как ихний бригадир. Мишка... Ромашов. Ох, малый... На вид, конечно, ничего особенного... но по глазам, по манерам — такое чувство получается, что жить хочется рядом с таким малым».

Признание в любви... И, пожалуй, не от Николая Бурятова, а от Николая Погодина оно исходит, от стареющего писателя — молодому рабочему-коммунисту. Доведись вам услышать со сцены, на тысячу лиц притихшего зала, вот такое, и что бы вы сделали?

После премьеры «Цветов живых» (так называлась пьеса) Ромашов не находил себе места, стораая румянцем, не зная, как ответить на признание. Помог Коля Мартыненко, токарь из их бригады, виртуоз просто-таки эталонный. (Между прочим, полтора года Коля был живым «рубежом» бригады. Так и договорились: не «достичь таких-то и таких-то показателей», а всем «досягнуть мастерства Мартыненкова». Ради этого ввели жутчайший график, захватывавший и свободное время, и отпуска, и даже... болезни: «Зубри, пока валяешься».)

— Цветок выточим, — как всегда коротко, отрубил Коля.

И не ювелирными какими-нибудь резцами, а на своих станках выточили ребята причудливый цветок, подсмотрев форму его в осеннем ленинградском парке. На московской (в Театре Ленинского комсомола) премьеры Михаил Ромашов вручил его Николаю Погодину.

— Вы там в Москве позвоните наследникам. (Н. Ф. Погодин умер в 1962 году. — А. Е.) Справьтесь, сохранился ли? — просит Ромашов.

Не знаю, может быть, эта история немного и чувствительна. Но что за грех?

Несколько месяцев назад вышел в телеэфир фильм «Завод» В. Лисаквича. О Металлическом. И хотя немалая уже доля похвал досталась режиссеру, и мне и моим знакомым с ЛМЗ хочется спорить с телекартинками. Семьдесят минут бездуховного железа показал экран, а если и обращались авторы к рабочим, то с удивительно однообразным и, простите, несколько глуповатым вопросом: «Как вы относитесь к труду?».

Как они относятся к труду? Не мельче и не проще того, как труд относится к ним. Занимает все существо человеческое или, бывает, раздражает монотонностью и повторяемостью. Озадачивает тем, что, сидячи на одной детали от огромного целого, никак

не охватишь, не почувствуешь этого целого. А стало быть, снова работа мозгу и поиски творческого решения: перейти на другую операцию, приблизиться к универсальности, попробовать руками перебрать всю технологическую цепочку и рационализировать (то есть дать работу Ratio — Разуму!) звенья этой цепочки, в том нуждающиеся. Высыпать всем заводом на набережную и провожать «Лодьму» в рейс. И даже — от затаенного чувства, немного и от озорства своей виртуозностью — выточить обыкновенными резцами цветок-причину.

Как они относятся к труду?

Ничуть не проще и не мельче, как к таким понятиям, как «жизнь», «движение», «коммунизм».

Я возвращаюсь к Ромашову. Круто сложилась его судьба в последние годы. Михаил теряет зрение. Его оформили смотрителем-экскурсоводом заводского музея (еще одна черточка коллективной человечности).

Музей. Пасмурно. Не каждый документ на стенах может прочесть Ромашов. Впрочем, разве сам он не частица живой заводской истории? И при пасмурном, рассеянном освещении не лучше ли видится крупное?

— Значит, железо? — продолжает Михаил прерванный разговор. — А я не знаю жизни более трепетной, чем совместная, бригадная.

Здесь я процитирую отрывок из давней статьи Зинаиды Николаевны Немцовой, старой коммунистки, старшего друга ромашовской бригады.

«Их прочный союз складывался вначале на прочной общечеловеческой основе товарищества, взаимной выручки и помощи. Они просто подружились, полюбили друг друга и свой союз, бригаду.

...Постепенно ребята приходили к идее своеобразного трудового братства в высоком смысле этого слова. Братства, в основе которого лежит равенство в труде, гордость мастера, профессиональный артизм.

В бригаде научились тонко, деликатно, но принципиально касаться вопросов личной жизни своих членов в тех случаях, когда возникали серьезные конфликты. И я не помню, чтобы хоть раз кто-нибудь затаил обиду на своих товарищей. Напротив, для каждого, повторяю, бригада стала братством.

...Разбор личных конфликтов стал своеобразным проникновением в сложную философскую сферу, в область этических принципов и норм. Возникает вопрос: вправе ли была бригада вмешаться в то, что у одного из членов стала вдруг проявляться страстишка к накопительству? Вправе ли были ребята вмешаться в семейный конфликт, происшедший не потому, что люди разлюбили друг друга, а потому, что стали придерживаться противоположных жизненных принципов? Разумеется, да.

В дни ленинского юбилея (90-летие со дня рождения, 1960 год. — А. Е.) ребята решили вместе с членами своих семей дать своеобразную клятву в память Ильича. Я не вправе подробно излагать это обещание: оно очень личное. Скажу только, что главная мысль его заключается в том, что каждый член бригады, как и каждый из членов его семьи — жена, братья, дети, — сделает все, чтобы в конкретных жизненных ситуациях к столетнему ленинскому юбилею быть интеллектуально и нравственно достойными времени. И если они выполняют эту клятву, я, как и другие, смогу назвать каждого из этих простых парней не просто умницей, серьезным, мыслящим человеком, романтиком, но и гордым словом «революционер» — так много хотят они сделать в короткий срок».

Сегодня этот срок истек. Но отодвинем немного перекличку ребят из первой комбригады.

В комнатах музея оживают голоса прошлого, дела тех, кто первыми протянул (смотри эпиграф) «руку за живыми цветами».

ВСТРЕЧНЫЙ. РАССВЕТ.

На одном из стендов — небольшой портрет женщины, гладко и просто причесанной, в высокой, под подбородок блузке. И ее же пропуск на завод: «Наталья Дмитриевна Гончарова. Инженер».

Мы можем, как угорелые, метаться по цехам, тянуть кабели киносъемочных юпитеров вослед быстрым перемещениям сборочных работ и поймать нечто до такой степени аморфное, что не выразит и сотой доли жизни.

А если постоять вот у этого портрета? Подумать о том, какие удивительные силовые линии истории скрестились, сшиблись в цехах, пропахших кислым, саднящим запахом окалины?

«Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы». Это из речи Ленина 6 марта 1922 года на заседании коммунистической фракции съезда металлистов.

Был такой тип русской жизни. Открытием его мы обязаны Ивану Александровичу Гончарову. Роман печатался в «Отечественных записках» за 1859 год. И лишь двумя годами раньше — в 1857-м — предпринимчивые Штольцы основали акционерное общество «для постройки в Петербурге Металлического завода».

Чья возьмет? Перетянет ли Обломов, никак не желающий расстаться с засаленным халатом («своя рубашка ближе к телу»)? Одолеют ли его расторопные акционеры, хапающие подряд за подрядом на охватившем Россию железнодорожном буме?

Был исход поединка весьма гадателен. Десятки ферм для мостов сделали металлисты, вдвинули железные костяки в купола Таврического дворца и московского «Мюра и Мерилиза» (теперешний ЦУМ). Но лили и геральдическую чепуху, выделяли и нелепые сквороды. И когда английская фирма «Метрополитен-Виккерс» уже давно ставила на электростанциях котлы и турбины, петербургские акционеры еще только осваивали их производство. Перетягивал Илья Обломов.

Складывался на Металлическом тип отличного мастерового-умельца, смекалистого, тянувшегося к грамоте. Но, во-первых, опасен этот тип, как профессиональный бунтарь («Шли во главе забастовки и снимали рабочих с других заводов». Из полицейского донесения о металлистах, 1901 год). Во-вторых, безалаберщина чисто «расейского» производства не давала умельцу войти в полную силу. Бывало, и он заражался пресловутым правилом «своей рубашки».

6 марта 1922 года. Ленин продолжает речь перед металлистами:

«С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел».

Надо думать, любая другая аудитория дрогнула бы от резкости этих упреков. Но рабочие-металлисты, коммунисты, стойко, никому не переадресовывая сво-

ей вины, выслушали их. И когда к концу речи Ленин сказал о том, что гвоздь работы и политики теперь в том, чтобы «проверять людей и проверять фактическое исполнение дела», аплодисментами ответил ему зал.

Поняли металлисты, как мало самых раскрепощенных комиссий, самого четкого плана электрификации без этой проверки. И в том же году встряхнулся завод от долгой спячки, оправданием которой была лишь инерция лет разрухи. В конструкторских комнатах зашелестел ватман, в цехах налаживали приводы станков. И в 1924-м Окуловской бумажной фабрике отправили турбину в 370 киловатт мощностью, первую гидравлическую в Советском Союзе.

Наталья Дмитриевна Гончарова, внучка писателя, была одним из создателей первенца. Одной из тех, кто взялся всерьез «чистить, трепать и драть» российский Обломов.

А если уж сошлись Человек и Дело, то не отыщешь примера в истории подобного русскому рабочему. Вчерашний мастеровой, рубаха-гармонист с полюстровских гулянок, токарь, ставивший пятак на вал ротора, набирающего обороты, — куда поддевает он эту простецкость, полумужички ухватки, работку «на глазок» — и, глядишь, вырабатывается в мастера, виртуозного профессионала, листающего чертежи и спецификации фирм-конкурентов с легкостью век этим занимавшегося.

Еще в конце 20-х годов английские спецы, обследовавшие Металлический, писали:

«Развернуть строительство крупных турбин возможно лишь лет через восемь при условии, если руководить этим будут инженеры фирмы «Метрополитен-Виккерс», а основную работу станут выполнять квалифицированные английские рабочие».

Полостровские металлисты приняли и этот вызов. Помните задачку о закреплении новой мощи во все уменьшающийся объем? В тридцатых она имела такой вид: лавина знаний во все более сужающемся времени. Ни десятилетий, ни даже лет не отпустило время новой России, в лучшем случае месяцы. Недаром в резолюциях партийных конференций вспыхнуло энергичное сокращение: ФОН — факультет особого назначения, как прямая переключка с летучими ЧОН гражданской — частями особого назначения.

Металлисты пошли еще дальше и смелее. Сам завод стал факультетом, рабочие — студентами, не выборочно, не десятками; в трех ступенях обучения (от мастера до инженера) были заняты тысячи. Завод-вуз, первый в стране. Вот как передавал корреспондент «Правды» свои впечатления от первых занятий (июнь 1930 года):

«В больших, светлых, просторных коридорах тихо, пусто. Кажется, будто в школе никого нет. Но, заглядывая в стеклянные двери классов, убеждаешься, что школа полна до отказа. Тихо, потому что учатся.

Высокое учебное напряжение ощущается здесь так же, как чувствуется высокое напряжение тока в пустых, безмолвных камерах электростанции...

...Из преподаваемых предметов особым успехом пользуется черчение. Ему отдают с некоторым даже запоем».

«Через восемь лет?» — припоминаем вызов «Виккерса». Уже в 1932-м состоялся первый выпуск инженеров завода-вуза. Но еще раньше — в 1930-м — металлисты, чередуя учебники с рабочими чертежами, приступили к штурму турбин в 50 000 киловатт мощностью.

Трудовое Братство, которое в 50-х открыли заново, для себя, ромашовцы, рождалось в те годы.

Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд, и забота,
И встречный, и жизнь — пополам.

Это песня о Металлическом. Из кинофильма «Встречный», снимавшегося в здешних цехах.

Молодому читателю вряд ли что-нибудь говорит слово «встречный». А между тем без него не поймешь пятилеток, не ощутишь времени энтузиастов, мам наших в красных косынках, отцов в сатиновых фабричных косоворотках, поэзии киловатт и знаменитых станков «ДиП» — «Догнать и перегнать».

Мы впервые «получили возможность работать на себя» (Ленин). Вот откуда напряженная, как на электростанции, тишина втуза, «запой», с которым налегают на черчение. Вот откуда личное ощущение того, что именно ты соревнуешься с заносчивой «Метрополитен-Виккерс» и обязан утереть ей нос. Вот откуда встречный.

В 1930-м правительство утвердило Металлическому большой, напряженный план. Рабочие завода, коммунисты и комсомольцы выдвинули план встречный, от себя, вчетверо превышающий прежние наметки. Никаких выгод не получали от него рабочие, только хлопоты по реконструкции, сверхурочные часы, новые вахты на сборке. Вот что такое был встречный.

В одном из цехов при заливке формы не хватило тряпок для прокладки. Рабочие смены сняли с себя пиджаки и рубашки, пустили их в дело. О, конечно, это не были выходные тройки, но как это просто и органично вышло — вот так разом опровергнуть знаменитое правило насчет своей рубашки, которая всегда ближе к телу.

Прикоснитесь к нашей рабочей истории. Вся она — силовое поле, преодоление, живой и трепетнейший процесс, история судеб и характеров, удивительных сопоставлений. Нет ничего примитивнее, чем представлять ее лишь нарастанием масс железа.

...Мы с Михаилом гасим неоновые светильники в опустевшем музее. По-моему, последний отблеск вспыхивает на стенде с портретом инженера Гончаровой, внучки автора «Обломова».

СКОБЕЛЕВСКИЙ. ВЕЧЕР.

На переключку ромашовцы сходятся сюда. Скобелевский проспект, дом 17.

В одной из газетных корреспонденций, написанных впопыхах, я резвился вокруг немудреного, но, как мне казалось, емкого каламбура. В самом деле: случилось так, что в движении комбрига на Металлическом видными людьми были бригадир Иван Романов, токарь Анатолий Скобелев. Как же не обыграть такого совпадения? Рабочий — однофамилец русских вседержателей, токарь — тезка блистательного генерала (кстати, претендента на шатающийся престол). Царские сравнения!

И как же влетело мне на Скобелевском (который я тоже предлагал возводить к Анатолию, а не к генералу), в доме 17! Живет здесь Зинаида Николаевна Немцова, мой и ромашовцев старший друг, коммунистка с Металлического.

— Разве можно снижаться до таких пошлостей?! «Царь-токарь», «рабочая династия!» Еще немного, и вы станете буквально короновать ударников. Дорогой мой, на кой черт мы тогда «прогнали царя и господина Рябушинского?»

— Зинаида Николаевна...

— Ну, хорошо, хорошо. Вы же новые люди, шало-

паи. Зачем вам этот династический хлам в языке? Учитесь и мыслить, как новые.

Она такая, наша Зинаида Николаевна. До ригоризма нетерпимая к любой политической пошлости, не знающая дня без спора, не обучившаяся сладеньким обинякам. Маленький, сухонький, седой человек с хриплым, прокуреным голосом. Отчего же так легко и быстро я каждый раз снова вижу в ней молодую энтузиастку из «Встречного»?

Не спи, вставай, кудрявая...

Наверное, оттого, что и каждая наша встреча начинается не с квелих «как поживаешь?», а со спора, словно только вчера прерванного.

— Слушай. Что это там нагородили в печати? Свод правил для заводского руководителя. И, оказывается, хамить подчиненным неправильно, нерационально. Вот те открытие для зрелого социализма! Вот уж что бы вдарыз высмеял Мironыч!

— Кто?

— Ну, Сергей же Мironович.

Вот так же, как мы приходим на Скобелевский, она мысленно приходит в Смольный, к Кирову, с которым работала многие годы (секретарь парткома «Светланы», заместитель секретаря на Металлическом). Сергей Мironович для нее — беспокойная совесть, ленинградская молодость, обаяние социализма.

Вот почему не так прост путь на Скобелевский. Не все ромашовцы теперь решаются на него. Помните обещание бригады, очень личное, к ленинскому юбилею? Помните: «...вот тогда я смогу назвать их... гордым словом «революционер»? Срок истек.

— Кто не прибыл, ребята?

— Философа нет. (Назовем его так, с общего молчаливого и шадящего уговора.)

— А как вы писали о нем, Зинаида Николаевна!

Мы тоже, кажется, чему-то обучились в искусстве говорить без обиняков.

— Да, мальчишки, писала...

«...Он больше знал, больше читал, чем другие, многое успел передумать и прояснить для себя.. С ним стоило поговорить. Как с интеллигентом, убежденным человеком, обладателем высокой правды. И когда потом его видели на трибуне, ему верили, им гордились... К нему шли сами и с производственными делами и с «идеями», с «философией».

Так неужели это он, наш философ, наш цельный человек, споткнулся на обыкновеннейшей житейской мути? Трое в комнате, очередь в заводском списке на жилье еще очень не близка. Поторопить бы ее. Нажать там и здесь, обойти на корпус претендентов.

— Ты думаешь, это скачки? Ты знаешь, что эти «претенденты» отдали заводу по тридцать и по сорок лет и живут стесненнее тебя?

— Но, Зинаида Николаевна! «*Suam cuique*» — «Каждому свое», как говорили латиняне.

(Да нет же, он не окончательная скотина и, конечно же, хочет словечками забросать сейчас неловкость, внутренний свой неуют. Но забыл ты, что ли, как не проходили такие номера с нашей светлой ригористкой?)

— Говори прямее.

— Ах, совсем прямо? Так вот, я считаю, что преимущество сегодня надо отдать тем, кто действительно тянет. Тем, у кого мозги еще не спекаются. Тем, которые нужны позарез.

— Пошел вон!

Больше ничего. Больше никогда уже не сойдет он с 23-го на остановке «Скобелевский проспект».

Черт побери, что же нам сказал, что потянуться за живыми цветами, выполоть в своей душе мутор-

ный чертополох, ненавидеть рабство (не только внешнее, но и в тебе копошащееся) — простое дело? Никто этого не говорил, мальчишки...

А 23-м, или автобусами, или электричкой с Финляндского можно добраться на Скобелевский. И идти ватагой от Шувалова, хором скандируя Блока:

Над озером скрипят уключины

(Над тем самым озером, что там, левее).

И раздается женский визг.
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

Ладно, философ. Ты действительно читал больше других, и твоего голоса не хватает сейчас в озорничавшей нашей группе. Но и нам в бригаде тоже открылся Александр Блок, и «Мадонна с цветком» Леонардо из нашего Эрмитажа, и Мышкин — Смоктуновский в нашем БДТ, и ленинские «Философские тетради».

Я, кстати, могу набрать достаточно, как говорят, примет того, как интересно и разное живут заводские, как неотторжимы от цехового энтузиазма искусство, умственные интересы, духовная наполненность. Символы? Если угодно — вот. Не оторвешься, часами можешь стоять у стенда, где доводятся до полного ума рабочие колеса турбин — цветочки по 9 метров в диаметре, по 250 тонн весом. И на том же стенде, дорогой читатель, обработаны поворотные механизмы для сцен Кремлевского Дворца съездов и ленинградского концертного зала «Октябрьский». Мелодии завода перелгал в музыку Шостакович. Под открытым небом около гидротурбинного дал авторский концерт Хачатурян. Делом завода и людьми его вдохновлялись Юткевич и Эрмлер, Погодин, Кетлинская.

Боюсь только одного — поверхностных сближений. Не рядом, не обок, как украшение, а в самом советском заводском труде лежит зерно союза с мыслью и вдохновением. Подчеркнуто: в советском. И здесь стоит остановиться.

Вряд ли усомнитесь вы в высочайшей квалификации американских рабочих. И у них учились наши мастеровые, наши первые красные директора. Восхищает и столь же высокая механизация в Штатах. Заглянем, однако, так сказать, в недра процесса. Что происходит здесь? Свидетельствует социолог.

«Ему (рабочему. — А. Е.) отказано в жизни, для него исчезает надежда самостоятельно контролировать что-либо, надежда проявлять творчество, любопытство и независимость мысли» (Э. Фромм).

«Даже облегчение труда становится средством пытки, потому что машина освобождает не рабочего от труда, а его труд от всякого содержания», — так говорил Маркс.

При мне начальник 11-го цеха Георгий Михайлович Александров с пристрастием допытывал вновь поступающего:

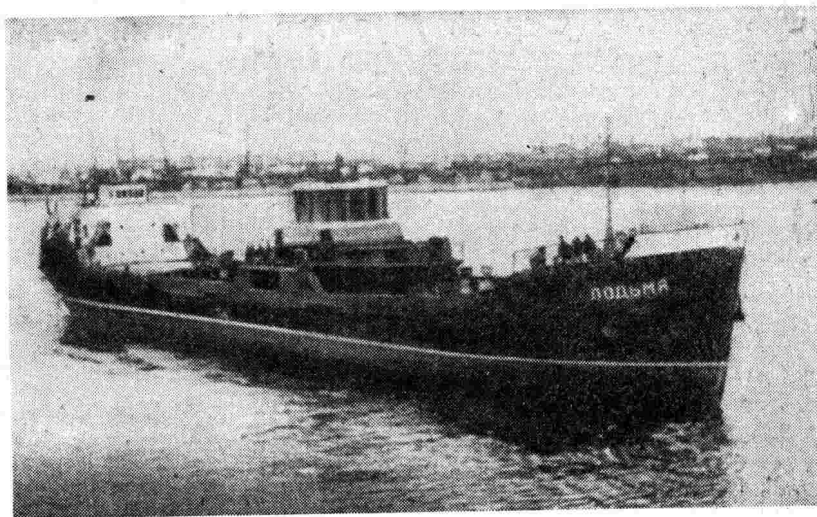
— Представляете ли, какая у нас работа?

— Да вроде знаком.

— И не пугает? Случается, месяц и два торчишь на одной и той же операции. Монотонность. Мозг закисает...

Не так все просто, чтобы можно было залопотать, забыть в ладоши: «У нас все по-другому».

Серьезными проблемами встают для нас пути преодоления монотонности, снижения творческого элемента в труде. Но в том-то и дело, что остаются за нами крупные социальные преимущества, и первое из них — сознание труда как работы на себя. Поражение «Метрополитен-Виккерс» (в 1935-м специалисты фирмы без единого замечания



Лихтер «Лодья» отчалил от заводского пирса. Энергетический цветок ЛМЗ пускается в плавание.

приняли советские турбины, вышедшие на внешний рынок) праздновалось не только заводским митингом, но отмечалось в семьях как личное торжество. И сегодня, за проходной, уже отключившись от цехового ритма, металлисты продолжают толковать о новом заказе, о том, как упирается, туго идет какая-нибудь «тридцать вторая ступень». Цеховая ограниченность? По-моему, прочнейшая социальная связь. В ней реализуется и контроль, и творчество, и любопытство, и независимость мысли.

Недаром так пошли и ромашовцы.

Миша Ромашов — живая и вечно беспокойная артельная душа, участник любого дела, где нужна искра организатора.

Толя Скобелев, его преемник на бригадирском посту, сейчас уже инженер. И, хоть перешел на другую работу, ничего не растерял от Металлического.

Петр Мазия закончил втуз, инженер. Это он сказал на переключке:

— Всему выучило нас движение: работе, учению, жизни.

Николай Мартыненко по-прежнему у станка. Иного и представить нельзя — настолько эталонно рабочее его мастерство, что тут уместно слово «призвание». Только сегодня в цеховой ведомости вписаны два Мартыненковых. Станок сына рядом со станком отца.

Вот и вступает на Металлический новый призыв. Слишком мало еще знаю я их, слишком бегло наше знакомство, чтобы пытаться дать хотя бы штрихи к портрету этого призыва. Будут ли достойны и они гордого звания революционера? Не будем спешить, пока не отмерили они — жизнью и делами — сколько-нибудь серьезного срока.

Во всяком случае, радостно угадать в поступке молодого родовую рабочую черту. Вера Купрейко, комсомолка 11-го цеха, — девушка самых современных ленинградских требований. Из тех, что ночи простаи-

вают за билетами на гастроли «Современника» и освоили Невский на всем его протяжении, из тех, что готовы до первых петухов горячо философствовать в кругу свежеепеченных (и еще выпекающихся) интеллигентов. И эта Вера — отличная фрезеровщица, девчонка, влюбленная в энергостроение. Очень как-то органично в ней стремление «мыслить и любопытствовать», говоря социологическим языком, схватить процесс в целом. Никакой инструкцией не требуется, чтобы рабочий, обрабатывающий лопатки (дело 11-го цеха), представлял себе сборку турбины. А Купрейко изучила не только каждую операцию в цехе, но часами пропадала и на испытательной станции. Черточка. А вот и поступок.

Лопаточный — извечно «узкое место» на заводе. Но уже всего здесь пооперационный контроль. Заманить сюда квалифицированного, точного специалиста не просто: зарплата. Если, скажем, шлифовщики могут выработать до трехсот рублей в месяц, контролер — втрое меньше. А Купрейко перешла со станка в конторку БТК (бюро технического контроля).

— Так надо было цеху.

Не громкий почин, не начало какого-то нового дела, движения. Просто рядовое, естественное на моем Металлическом, как пиджаки в той памятной смене тридцатых годов.

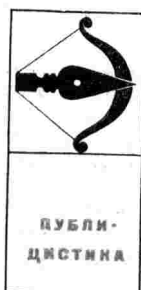
— Нет, они будут лучше...

Кончается вечер на Скобелевском. Вспомним «Встречный», ребята. Не сфальшивим ли в этом привычном обращении — «ребята»? Истек срок беспокойно и творчески прожитой молодости. Уже зрелость, знающая и внутренне собранная, настоящая, никому не вцепляющаяся в горло («Мне предпочтение!» — а если с кем-то было такое, то на Скобелевском его нет). Зрелость, чуть взгрустнувшая с куплетом любимой песни:

И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет вторая —
Навстречу тебе — молодежь...

Сергей Муратов, Георгий Фере

РАЗГОВОР У НОЧНОГО КОСТРА



Виталий Вишневский, комментатор Ленинградского телевидения, хорошо знакомый зрителям по выпускам «Горизонта», взял однажды отпуск за свой счет и вывез 120 отъявленных сорванцов, так называемых трудных подростков, в летний лагерь. «Трудный подросток» — термин не научный, а скорее житейский. В представлении много читателя подросток — это аккуратненький двенадцати—четырнадцатилетний мальчик с челочкой. А если он «трудный», так, наверное, потому, что убежал с урока географии или запустил на физкультуре бумажного голубя.

Не об этих подростках речь. Многие парни из самодеятельного лагеря успели познакомиться с милицией раньше, чем с алгеброй... Ребятам, которых собрал Вишневский, было по 16—20 лет, так что иные из них и сами вполне могли быть отцами. Но что поделаешь — возраст определяется не датой в метрике и даже не новеньким паспортом в хрустящей обложке... Через год Виталий снова стал комиссаром лагеря.

Опыта у него поприбавилось, но, конечно, он не считал себя новоиспеченным педагогическим мэтром. Его успехи уравнивались ошибками. Да и само создание лагеря подобного типа было не только педагогическим экспериментом, а скорее гражданским актом энтузиастов.

Так родилась на телевидении рубрика «Каким ты станешь, парень?». Интервьюеры предпочитают беседовать с человеком не в студии, а, как говорят, в производственных условиях.

И мы поехали с Виталием в его лагерь. Была поздняя осень, и лагерь пуст. На мачте не развевался флаг, деревянные бараки сиротливо темнели в ночи, как декорации после спектакля. Нигде ни огонька. Развели костер, испекли в золе картошку. Уезжать не хотелось, и отъезд отложили на утро.

Мы лежали у костра. Включили магнитофон, но говорили, забыв о нем. Долго. Может быть, час. А может, и всю ночь. И еще — по дороге домой. И еще — в кулуарах студии. Было сделано много записей для будущей книги.

Потом возвратились в Москву. Разъехались в командировки в разные города. Минувло несколько месяцев.

Когда мы поставили на магнитофон полузабытую кассету, нам показалось, что все разговоры и все откровения записаны в ту ночь, у костра...

...Итак, рассказывает Виталий Вишневский.

Фото
В. Арутюнова.

В свое время я был всегдашним танцевальным площадок. И вот прошли годы, попал я по долгу службы на одну заброшенную танцплощадку в пригороде и встретил там парня, с которым когда-то мы были знакомы. Ему 30 лет, здорово постарел, но интересы его за эти годы не изменились: ходит на танцы. И все.

Я понял, что мой долг — сделать телепередачу. Не о нем даже. А о тех, кто себя обокрал, прозевал свою жизнь...

Иными словами, тема молодежи была для меня какой-то личной, я бы даже сказал, «больной».

А интерес возник к ней так.

Приехали к нам ребята из Тулы, отряд подростков, выступили у нас в «Горизонте».

Я понимал, что предоставлять им место в эфире надо бы не просто «информационно»; если они и могут раскрыться, то не в лекциях, а скорее в споре.

Позвонили мы в Дзержинский райотдел милиции, попросили собрать шпану, которая у них на учете.

Откуда «писать» такую передачу? Решили: из райисполкома. Ну, поставили камеры. Пришли туляки со своими знаменами. А где же наши-то?.. Никого. Вдруг смотрим в окно: по улице Чайковского толпа, человек триста, битлы с гитарками. Тетушки из райисполкома только за головы схватились: «Кто это? Да откуда? Да неужто ж у нас в Питере их так много?..»

Разговор состоялся. А ребята такие — словам не больно-то верят. Слушали они, слушали выступления туляков, а потом говорят: «Сказать-то вы многое можете! Только так ли это? Короче, если примете, мы к вам сами приедем». И тут же выделили ударную группу от разных улиц.

Ну, мне в райисполком говорят: «Ты заварил всю кашу, ты и расхлебывай! Поедешь с ними. И баста».

Собрал я своих делегатов с Моховой, с Артиллерийской и с улицы Воинова — их было ровно 11 человек, как в футбольной команде.

На вокзал явились здоровячки-бодрячки, с меня ростом, и все навеселе.

— Ну, вези нас, дядя!

Я понял, что я не Макаренко. Интеллигент с теле студии, с пухлым портфельчиком. Но делать было нечего — надо ехать.

Вот с этой поездки и началось. Потом всю зиму собирались, всякие планы составляли, графики. Ребята оказались неплохие. Но ни черта ведь не знают! Рассказываешь им что-нибудь — сидят, рты разинув, головы подперев. Кончишь — говорят: «Ой, Виталий Владимирович, расскажите еще что-нибудь...» Так иногда целыми вечерами напролет и рассказываешь...

Да, неплохие ребята. Но почему же многие из них уже успели нахватать условные сроки, а кое-кто числился в потенциальных бандюгах? На мой взгляд, все дело в среде, в атмосфере, которая их окружает, в условиях, в которых они живут.

Надо было вырвать их из этих условий. Хотя бы на время. Так возникла идея подросткового летнего лагеря. Место мы нашли роскошное, под Ленинградом, на берегу озера... Вековые ели, трава по пояс...

Пришло лето, и мы поехали в лагерь.

Моя биография до телевидения? Была школа, год учебы в Политехническом институте, на физико-механическом факультете, но я его покинул, потому что в те годы мне не очень-то хотелось учиться. Я предпочитал отдыхать, ходить в лондонке, подметать мостовые модными в то время брюками клеш образца начала пятидесятых годов.

Слонялся я в основном по Невскому туда и сюда, изредка дрался, а если говорить честно, то и довольно часто...

Почему дрался?

Видите ли, когда в сорок пятом семья вернулась в город после эвакуации, я был щупленьким мальчиком, носившим штанишки гольф или бриджи, чулочки в резиночку и аккуратнo зачесанный проборчик. Конечно, питерская ребятня не могла отказать себе в удовольствии поколошматить такую аппетитную размазню.

У маменькиного сынка одна реакция — плакать. И я ревел. Ревел неделю, ревел вторую. А на третью мне все это здорово надоело. Я взял довольно солидный кирпич и двинул самого старшего из моих обидчиков.

Обычно процедура моего «обучения» происходила утром, у ворот школы, так что на первый урок я являлся в весьма помятом виде.

Но в тот день я впервые сидел за партой в чистеньком костюмчике. Признали меня...

А через четыре года я уже верховодил всей школьной шпаной.

Я сам был когда-то «нелегким» подростком. И мне понятны их заботы и нужды и даже, если хотите, весь психологический набор: от слов о модной малокозырьке до заветной мечты о финском ножке...

Я сыт был этими проблемами по горло, изучил их на собственной шкуре.

Итак, я бросил физико-механический факультет. Неудавшийся атомщик пошел работать в Ленинградское экскурсионное бюро. Показывал достопримечательности города туристам, пока сам не ошалел от исторических ценностей. Тогда поступил на завод и четыре года работал слесарем-сборщиком.

А потом мне страстно захотелось учиться.

Окончил английское отделение филологического факультета ЛГУ.

Когда учишься, карманных денег тебе никто не дает. А на заводе я уже привык к тому, что я «получатель зарплаты». Поэтому студентом стал по-настоящему писать для радио, в основном для молодежной редакции.

К тому времени, когда я кончал университет, радиодейцы собирались меня забрать к себе, но у них не оказалось свободной ставки. Так я попал на телевидение.

В Дзержинском отделении милиции работает по «трудным» подросткам очень хороший парень — Игорь Додонов. Мы с ним так рассудили: под лежащий камень и вода не течет. Попытаемся сделать лагерь хоть на самодеятельных началах. Вывезти надо ребят, пожить с ними, пусть хотя бы научатся просто жить в коллективе — уже немало. А «Горизонт» будет нашим шефом, общественным информатором.

Для телевидения это было столь же ново, как и для лагеря. Так что эксперимент проводился как бы сразу с обеих сторон.

Пошли нам навстречу и другие организации. Райисполком выделил энную сумму, в одной больнице простыни дали, еще в одном месте посуду выпросили.

А женщины с телевидения занялись формой. Форма в этом возрасте имеет и психологическое значение.

Знакомый художник Генка Никеев сконструировал романтическую униформу — брюки чуть расклешены, шикарный пояс, — что пацанам еще надо? Все были в восторге.

И вот собрали мы 120 человек в возрасте от 16 до 20 лет.



Трудно сказать, кем все мы были в нашем лагере... (Второй справа — Виталий Вишневский).

Да двое взрослых: Додонов и я.
Доставили спящих в одной военной организации. Выстроили городок.

Профессии комментатора тогда как таковой не существовало. И та должность, на которую я был принят, называлась «выступающий в кадре».

Старший диктор Сергей Тулупников, как мне позднее рассказывали, заходил в редакцию и грустно говорил: «Не пойдет... Во-первых, у него верхняя губа не шевелится, а во-вторых, у него мочки торчат в разные стороны. О чем бы он ни говорил, зритель все равно будет смотреть на его уши...»

— Может быть, вы пишете? — с надеждой спросили меня.

— Да, — ответил я. Написал за ночь рассказ и принес его на студию. Рассказ был плохонький.

Решили попробовать меня на комментатора. Но это предложение руководства вызвало серьезное сопротивление Ирины Смирновой, бывшей в то время главным редактором политического вещания. Всем, что я умею на телевидении, я обязан ей... Она была теоретиком в области телекомментария.

— Комментатор должен быть личностью! А какая он личность?

Ей возражали:

— Ему трудно быть личностью хотя бы потому, что он слишком мало прожил на этой земле. Слишком он еще молод для личности... Но это поправимо...

Смирнова ко мне хорошо относилась. И, говорят, однажды сказала:

— Ну давайте вместе подумаем. Был в блокаде — раз. Перенес тяжелую эвакуацию — два. Работал на заводе — три... Может, все-таки личность?..

И стали мы жить в нашем городке. Легко сказать — жить... Ребят надо было занимать 24 часа в сутки, да так, чтобы всем было интересно, и не допустить чего-нибудь, что могло поставить под сомнение идею лагеря в целом.

Вроде меня тогда на все хватало, хоть спать приходилось по два-три часа. Но не хватало, пожалуй, на одно — на журналистику. Дело, конечно, было не в лени и не в безумной занятости, а в том, что у меня установились такие хорошие отношения с ребятами, что они исключали возможность рассматривать моих мальчишек как некий «телевизионный объект». Ведь они часто делились со мной и тем, чем вряд ли поделились бы с журналистом.

Это все равно, что жениться на девушке и ежедневно вести телерепортаж: «Как себя чувствует моя жена?»

120 человек... А сколько среди них способных ребят! Появились у нас свои художники, и поэты, и музыканты.

Я опасался, что если хоть раз вынесу на экран наши разговоры по душам, то моментально потеряю с ними контакт.

Были и другие трудности. Ведь надо заполучить оператора, аппаратуру, пригнать их на солидное расстояние из Ленинграда в лагерь и вести какие-то систематические кинонаблюдения, потому что метод «наскоков» мог обернуться инсценировкой жизни.

И все-таки каждую субботу 7—8 человек из редакции раздобывали машину и отправлялись к нам. В одну сторону это 5—6 часов по очень неважной дороге.

Цель: отснять в воскресенье ряд кусков. Но увлекшиеся лагерем работники студии тоже на эту цель

смотрели сквозь пальцы. Каждый раз они нам кого-нибудь привозили. То лучшую танцевальную пару города, которая отплясывала в дощатом клубе, и наши мальчишки приходили в полный восторг оттого, что, оказывается, и шейк можно танцевать красиво. То привозили кого-то из героев войны. То Женю Клячкина, который не только пел свои песни, но и разговаривал с ребятами очень запросто.

Конечно, жизнь такого лагеря, как наш, — далеко не танцы и песенки. Лагерь — это и работа, и дисциплина, и будни, и дежурства, и зарядка, и обед, который готовили сами ребята, и разговор у костра. Словом, жизнь в коллективе. Лагерь был организован на началах самообслуживания, так что сама жизнь в нем давалась не без труда.

Сложно сказать, кем мы все были в нашем лагере. Женщины, редакторы телевидения, одновременно перешивали ребятам форму, и пытались организовать какой-то сьемочный план, и отвечали на вопросы, на какие вряд ли ответит с ходу и самый знающий лектор: «Фашизм — это национал-социализм, но почему в этой фразе есть социализм?», «Что такое реактивные джеты?», «Чем Хемингуэй отличается от Ремарка?», «Почему говорят, что одеваться модно нехорошо?».

А однажды мы договорились с базой парашютного спорта, и в День авиации вдруг над лагерем появился настоящий вертолет — представляете, что это такое для наших ребят! — повисел над палатками, а потом открыл люки, и оттуда выпрыгнули три совершенно роскошные девчонки, так что наши парни рты поразинули... Завалили их цветами, и все такое...

Моя первая телевизионная передача стала для меня серьезным экзаменом.

Суть дела вкратце такова. Некий К., фарцовщик, пытался убить другого парня, переводчика. Фарцовщик этот приставал к иностранцам, договаривался с ними о продаже каких-то тряпок, а когда переводчик попытался его задержать, ударил того ножом в живот. Выжить переводчик выжил, но стал инвалидом.

Переводчик был настоящим парнем. Даже истекая кровью, он пытался преследовать бандита, но думал при этом не о себе и кричал бросившимся вслед людям: «Осторожнее, у него нож...»

Мы писали на видеомэгнитофон фрагменты суда. Я из студии их комментировал. Парни оказались одиозными, и мы взяли первое, что лежало на поверхности: мировоззрение одного и другого. Ухватились за этот факт и считали, что делаем грандиозную передачу. Теперь таких хватает. Но тогда трансляция из суда была нсвинкой и казалась важным открытием.

У фарцовщика был великолепный адвокат. Но суд приговорил бандита к расстрелу. Телевидение получило кипу писем, авторы которых требовали высшей меры. Мы переправили эти письма в Верховный суд, когда дело было передано на кассацию. И Верховный суд подтвердил приговор. Преступника расстреляли. Все.

И вот через какое-то время в милиции случайно мне сообщают, что незадолго до своего покушения этот К. спас маленькую девочку, которая тонула в реке; не задумываясь, бросился за ней в ледяную воду...

Конечно, это ничего не меняло в злодейском поступке фарцовщика и вряд ли что-либо изменило в приговоре суда, но на меня это повлияло морально. Это было ударом. Мне стало ясно, что делать

передачи так, как пытался я, недопустимо в принципе. Телевидение не суд в конечной инстанции. Оно по своей природе инструмент исследования. А мы «толкали» на вывод... И эта фраза «Осторожно, у него в руках нож!», и красивое лицо жертвы, и невыразительная внешность преступника подавались нами в таких монтажных сопоставлениях, что вывод мог быть только один: «К стенке!»

Конечно, доведись мне сейчас повторить передачу, я все равно не выступал бы защитником К. Но я попытался бы поглубже разобраться в мотивах преступления и в некоторых факторах, которые толкнули К. на этот путь.

В нашей передаче мы говорили о разных мировоззрениях К. и его жертвы. Но если у одного оно и существовало, то у другого, конечно, и быть не могло. Его «мировоззрение» — это какая-то невообразимая мешанина из полутуманных представлений и прямо противоположных суждений: Говорить об устоявшихся жизненных принципах, а тем более о различных «идеологиях» в этом случае означало наклеивать некий ярлык и формировать общественное мнение не в соответствии с человеком, а в соответствии с ярлыком.

С тех пор прошло уже много лет. Но, вероятно, по счету совести я буду расплачиваться за эту свою «этапную» передачу всю жизнь.

Был у нас в лагере один парнишка, маленький такой, Юра Фунтик, отец у него умер от алкогольного отравления, а мать еще раньше умерла; жил у мачехи, которая его, по сути дела, выгнала из дому. Болтался он по улицам, спал в подвалах, украл что-то где-то, чтобы просто поесть досыта, его забрали в спецприемник, а мы его — к себе в лагерь... А когда вернулись обратно в Ленинград, что с ним делать? Обратно в спецприемник?.. И вот подходит ко мне командир отделения (у нас по палаткам было 10 отделений). Подходит и говорит:

— Фунтика я к себе заберу...

— Как, — говорю, — заберешь?

— А так... усыновлю я его...

Фунтику 16, а этому «папе» 18!

Я говорю:

— Ну, куда ты его усыновишь? Тебе ж в армию надо идти!

— Все равно, — говорит, — должен усыновить, и все. А то ведь пропасть может...

Звонят мне как-то из милиции. Рассказывают: некий Д., пытаюсь овладеть оружием милиционера, чуть не убил его. Отличный молодой милиционер, способный парень, учащийся вечерней школы.

В управлении милиции мне сказали о Д.: «Это такой бандюга, каких свет не видывал».

Статья в нашей молодежной газете «Смена» была написана в соответственном духе. «Когда вошла в камеру, я увидела человека с узким лбом и заплаканными глазками...» и т. д. Портрет готов.

Парня уже осудили. В вещах, которые у него изъяли, были найдены дневники. Я сутки переписывал их. Передачу я не сделал. Но дневники эти меня кое-чему научили. Теперь я не мог уже идти по проторенным тропочкам.

Я теперь понимал: для журналиста восстановление цепочки причинности — самое главное. И увидел, как парень на протяжении почти всей своей жизни шел от личных мелких обид к недовольству всем миром. А надо учитывать, что происходило это в

возрасте, когда формируется основа характера, когда формируется человек.

Тут все слилось в один ком. И родители, которые говорили: «Жить надо умеючи. Вон Вася в магазине ворует и телевизор купил. Не пойман — не вор. Все воруют...» И сестра, которая убеждала: «А чего не обманывать-то? Все друг дружку обманывают». Парень атакует учительницу вопросами. Его интересует все: и почему проводится экономическая реформа, и почему в колхозах нельзя было коров держать, и почему Сталинград стал Волгоградом?.. Преподавательница была не из самых умных, и ему отвечала так: «Виктор, выйди из класса!»

Девушка, которая у него была, уехала в другой город. Сошлась там с одним двадцативосьмилетним, а самой 20. Парню нашему тоже 20, но для него двадцативосьмилетний — дремучий старик. Он так и пишет Марусе: «Ты продавалась тому старику. Тебя купили!» Потом познакомился с другой девчонкой, которая писала ему очень хорошие письма и даже подерживала его во всех этих передерягах. И вот однажды он получает послание: «Ты только больше мне не пиши, потому что я вышла замуж, и муж у меня ревнивый, так что давай это дело кончим». Парень считает, что его предали все, что он вне закона, что он будет мстить. Кому? Всем. Всему обществу, которое изгнало его. Вытолкнуло из своих рядов...

Конечно, эти дневники не оправдывают преступления, но они дают ключ к пониманию преступления. И если бы я делал о нем передачу, я начал бы с разговора о людях, которые вырастили из волчонка волка.

Была еще одна особенность у этих ребят. Видимо, очень недоставало им ласки в семье. Любили они «возиться». И не со своим приятелем, а с тобой, со взрослым человеком. Потому что пацану этой ласки вот так не хватает: ты для него сразу и старший братишка и отец, разве только не мать...

Вот идешь по лагерю, заговоришь с кем-нибудь, положишь руку на плечо, глядишь, а у него даже выражение лица изменилось. И он старается идти с тобой рядом и говорить, говорить, лишь бы ты свою руку не убирал...

Получил я одно письмо, подписанное Александром С. Адреса на конверте не было. В письме поднималась груда вопросов. И проблема отцов и детей, и отдых молодежи, и трудоустройство, и отношение молодежи к обществу в целом и к культуре этого общества.

Стиль письма был примерно такой: «Не нужна нам ваша Уланова. Вот мы собрались в садике, поплясали твист, и нам хорошо!» Тут же, следом, формулировка — парень, видимо, кое-что почитывает: «Искусство должно служить интересам масс!» И так далее.

В общем, это было письмо очень недовольного молодого человека.

Мы подготовили серию передач, которая называлась «Ответ Александру С.».

Прежде всего мы огласили текст письма целиком, без единой вымарки. И уже по одному этому циклу не был игрой в поддавки. На серьезные обвинения надо было серьезно и аргументированно ответить.

В этих передачах я впервые попытался говорить от своего имени, не прячась за широкую спину студии.

Мы получили на эту передачу множество писем. И вот что для меня было важно: писали противники.

Не знаю, можно ли их так назвать со всей ответственностью, но, во всяком случае, это были письма

«без забрала». А мне, как ни странно, стало намного легче: я почувствовал, что говорю не впустую, а кого-то задеваю, кому-то не нравлюсь. Что говоришь и степень убедительности того, что говоришь, — вот это для меня стало решающим!

Обобщив письма, мы подготовили новый цикл, назвав его несколько неожиданно — «Мысли вслух».

Что же касается, как говорят юристы, частных выводов, которые мы для себя извлекли, то вот они: впервые всерьез столкнувшись со своей молодежной аудиторией, мы увидели, что среди тех, кого в друзья не запишешь, есть мыслящие люди и что принципиального спора с ними не решишь слюнявой па-токой общих фраз.

На первых порах были, как говорят, «моменты». Оказалось, например, что кое-кто из ребят привез с собой водку. Затем двое украли кое-какие вещи у своих же друзей. Пришлось сразу же, дабы по-вадно не было, в первые два дня отчислить из лагеря пять человек. И что интересно: трое из этих пяти полмесяца обивали пороги райотдела милиции, упрашивали, чтоб им разрешили вернуться.

Но милиция им не особо содействовала. Знают: раз выгнали — поделом.

И вот однажды переполох в лагере. У нас с холма хорошо долина просматривается. Видят дежурные, что кто-то через долинку с палаткой топает. Идет, покачивается. То ли пьяный, то ли так, от усталости.

Это был один из пяти «изгнанников».

Прямо из Ленинграда. Где на попутке, где как... Чаще — просто пешком.

А от Ленинграда до нас 280 километров.

С темой «трудных» подростков разобраться можно было вроде бы довольно просто: сделать одну-две передачи, призвать малолетних нарушителей к порядку, высмеять их привычки и внешний облик.

Поначалу часть зрителей так и понимала направленность наших выпусков: «Их нужно сажать... выжигать каленым железом... выметать железной метлой...» На одном совещании некий ответственный товарищ прямо заявил: «Нужно бороться с трудными подростками!» Но ему возразили: «Нужно бороться за трудных подростков». И это было правильно.

...Мы ребят возили на работу в совхоз, но вкалывали пацаны далеко не всегда хорошо. Потому что всякие правоучения им уже достаточно поднадоели. И разговоры о необходимости труда и о том, как труд влияет на человека, они уже слышали. И не раз. Грамотные.

Но при всем том ребята они ленинградские, они без города жить не могут. И вот мы сказали: бригада, которая выполнит работу лучше других, получит возможность выехать на два дня в Ленинград.

Было там старинное финское здание, замок какой-то. Так этот полуразрушенный замок мы и должны были разобрать по кирпичику, потому что совхозу нужны были кирпичи. Мы проделали, скажем прямо, адскую работу, ребята старались всюду, перекуры бросили, один подгонял другого.

Скажите: вы вырвали их из привычной среды, вывели в лагерь, а в качестве стимула — все те же родные переулочки?.. Противоречие? Вероятно, да. Но нам никто не подсказывал готовых рецептов.

Важно было то, что ребята здорово поработали, майки к спинам прикипали.

И мы с Игорем Додоновым были счастливы: и день у нас прошел удачно, и ребят удалось увлечь.

Мечтаю о том времени, когда выпускник отделения тележурналистики перед вручением диплома будет, подобно врачам, произносящим клятву Гиппократу, говорить:

— Я, работник телевидения, клянусь быть честным втройне: перед собой, перед зрителем и перед тем, с кем доведется говорить в кадре...

Еще неизвестно, кто из нас кого воспитывал.

Не знаю, можно ли употреблять такое выражение не в духовной, а в светской литературе, но я, ей-богу, «очистился» как-то...

Не боялся я наших бугаев, а были там «ребятишки» будь здоров — бычки, гириями занимались. Даст такой по физиономии — полежишь, и, наверно, долго...

Но я другого боялся: найду ли с ними общий язык?

А это на самом деле не так-то просто.

Вот поехал с нами один парень из районных активистов, завхозом его послали и рекомендовали как человека, незаменимого для нас.

Но получилось так, что к ребятам он сразу отнесся предвзято. Человек он был прямолинейный. И часто нас спрашивал: «Ну, а когда же мы их начнем воспитывать?» Он представлял себе воспитание как линейку, как галочку, как назидательную беседу, но только не как жизнь в коллективе, что исподволь сама формирует личность. И если бы нам пришел приказ: «Начать воспитание в 18.00», — он начал бы воспитание ровно в 18.00!

Между ним и ребятами то и дело стали вспыхивать конфликты, которые нам приходилось улаживать. Так что к нашей основной работе прибавилась еще одна дополнительная нагрузка: воспитание воспитателя...

И что показательно. Он их не любил, боялся, но одновременно он перед ними заискивал. Как-то мы ездили в город с ребятами — что-то нам надо было привезти, — он, я и еще несколько парней. Катим в машине обратно в лагерь, они с ним на блатном жаргоне толкуют, потому что он хочет казаться для них «своим», и тут же один из парней поворачивается ко мне и начинает со мной разговаривать нормальным человеческим языком.

Говорю с ребятами с нашей улицы. Рассказывают: «Ну, на улице я — человек. Мне могут сказать: «Петь, пойдй дай этому Абу пару горячих» — и я в порядке! Меня уважают! А на заводе я шестеренка. Там одно только знают: принеси то, подай это...»

А как иногда мастер рассуждает? Так: «Ну, у Петьки семьи нет, а у Ивана Лаврентьича — семья, детей трое, мать больная. Ну, черт с ним, пусть даже Иван Лаврентьич работает хуже, но ведь не мо-локосос же... Ему труднее». И даст более высокооплачиваемую и интересную работу этому Ивану Лаврентьичу, а не нашему Петьке. Причем если по-человечески рассудить, то мастер в чем-то прав. В чем именно? А в том, что Иван Лаврентьич в возрасте Петьки мыкался куда хуже и таких условий, как нынче Петьке, ему никто не предоставлял! Так что и осуждать-то мастера вроде трудно...

Однако благодаря такой внешне справедливой и даже гуманной точке зрения на производстве рождаются подчас весьма сложные ситуации.

Вот, скажем, заинтересованность в конечных результатах труда.

Мы в лагере всегда старались объяснять ребятам, что они делают и для чего. Может быть, старому человеку на заводе и объяснять ничего не надо, он и так все знает, а может быть, ему и действительно все равно. Интерес человека к окружающему миру не вечен. Приходит время, когда пожилой человек подчас работает и в самом деле только для нормы, для того, чтобы содержать себя и семью. Но молодому парню этого мало. А наши заводские руководители не всегда это учитывают. Они полагают, что в условиях действия экономической реформы рубль сам проложит дорожку к сердцу молодого рабочего, научит его работать. Это — заблуждение. Рубль — одна из опор. Но не исчерпывающая.

Вот ломали у нас ребята кирпичи из старого замка — мы им рассказали, что построят совхоз из этих кирпичей, а не просто пояснили: мол, сколько наломаешь, столько получишь! Так что наши ребята видели перспективу своего на первый взгляд бессмысленного труда. Подумаешь, мол, бей-кроши, кирпичики выворачивай...

А на заводе порой точит-точит парень шестеренку и даже не знает, откуда она, кому нужна... Специально я ходил на один завод, спрашивал (был у нас такой телепорт): «Ну вот точишь ты эту шестеренку, а куда она пойдет, ты знаешь?» Не знает. «И сколько ты уже на этой шестеренке работаешь?» «Семь месяцев». «А как норму держишь, справляешься?» «Бывает, что и перевыполняю...»

Так это же, товарищи, цинизм по отношению к производственному...

Для кого были эти телепередачи?

Для тех, кто жил с нами в лагере? Вряд ли... Для их сверстников, таких же бедолаг, как они? Пожалуй, тоже нет. Прежде всего мы обращались к тем людям, которые могли бы прийти на помощь ребятам, но... не приходят.

Мы хотели объяснить, что к подросткам нужен особый подход. Скажем, приехал к нам один товарищ и говорит: «Почему ваши ребята, когда сдают рапорт, в глаза не смотрят?» Да, не смотрят. Потому что им много стыдно. Им стыдно выходить перед строем. Стыдно участвовать в чем-то парадном. Работать — пожалуйста. А вот рапортовать об этой работе — не для них.

Как раз накануне подходит ко мне паренек — мы его собирались приветствовать перед строем за хорошую работу, — подходит и говорит:

— Отпустите, меня, пожалуйста, в город. У меня мать из тюрьмы вышла, вернется, опять запьет, я должен быть в городе...

Конечно, этому пареню трудно выходить перед строем; трудно, когда на него смотрит пара сотен глаз; трудно, когда на него вообще смотрят. Он хотел бы сквозь землю провалиться. Вот тут в чем дело.

Если этого не понимать, то, конечно, сразу и не ответишь, почему ребята не смотрят в глаза, сдавая рапорт.

Наш цикл назывался «Каким ты станешь, парень?». Важно именно то, каким он станет. Важно и то, что люди прониклись уважением к тем ребятам, за которых я бился.

Это были не лирические зарисовки жизни лагеря, а скорее маленькие телевизионные расследования.

После нас в городе возникло двенадцать лагерей подобного типа. Поддержали нас и руководители города и начальник милиции: они тоже отстаивали идею подростковых лагерей трудового типа.

По ходатайству Ленгорисполкома при жилконторах (это пока только в нашем городе) введена ставка воспитателя по культурно-массовой работе с подростками.

Мы, к сожалению, чаще всего подходим к подростку только с одной точки зрения: как бы его психологию, как бы его точку зрения переломить, и непростительно редко думаем, как бы использовать его романтическую, необузданную, великодушную, добрую и в основе своей остро справедливую натуру.

Ломка всегда очень сложна. Поэтому «поход» взрослого человека на подростка вызывает лишь сопротивление — сознательное или бессознательное. Мы в нашем лагере пытались воспитать у ребят хотя бы приемлемое отношение к взрослым людям, привить ребятам... доброту.

Ведь, в сущности, в чем дело: обстановка постоянных скандалов в семьях, где ребята растут, и столкновения с мастерами на заводе, где они работают, — все это часто вызывает у них озлобление и воспитывает прочное неуважение к взрослому человеку.

У нас не было взрослых командиров, как в обычном лагере. И мы требовали: «Вот у тебя есть бутылка, ты о них и изволь заботиться...» А когда за кого-то отвечаешь, сам воспитываешься не хуже воспитуемого. А может, и лучше! Да, собственно говоря, постоянная жизнь в коллективе — это уже воспитание. Оно незаметно, но действительно формирует личность. И было потом очень трогательно, когда, скажем, старшие доставали для малышей одеяла, штопали одежду, помогали найти чьи-то пуговицы — мелочь какая-нибудь, но как это было важно! А если кто заболел, тут уж бегут сломя голову, спрашивают у нас лекарства. Ребята начинали проявлять доброту — едва ли не самое ценное из человеческих качеств...

А если же кто заподозрит нас в воспитании абстрактного гуманизма, мы просто посоветуем ему пожить с нами в лагере.

...Более далекие планы. Хочется сделать серию — даже не передач. Репортажей. Условно они будут называться «Встреча с врагом».

Последнее время мы стали, мне кажется, слишком мягкотелы и слишком добры. Фраза поэта «добро должно быть с кулаками» потускнела от частого употребления, но от этого она не стала неверной. Мы даже в слове «борьба» начали улавливать совершенно другие оттенки. Боремся за чистоту на улицах, боремся за качество, боремся за переходящее знамя в красном уголке жэка, но нельзя же вечно бороться за что-то, надо бороться и против чего-то. А бороться «против» мы в ряде случаев разучились...

И вот, сталкиваясь с теми же подростками, я понял, что на многих из них повлияли плохие люди. Испортили их, покалечили жизнь некоторым из ребят. Я понял, что мой долг — бороться с ними, делать передачи «против» них.



...А потом пришло время прощания...

Скажем, ходит по разным организациям тетка, рассказывает о своих соседях, знакомых, близких и родных всякие гадости. Я знаю, что такая вот тетечка может отравить сознание своей девочки-племянницы, вселив в нее трудновыветривую веру в ничтожество любой человеческой личности, пропитав ее гаденькой философией.

Знаю я субъекта, который сам в жизни ничего не делал, в том числе не воровал и не употреблял наркотики, но именно он научил ребят своего квартала воровать и употреблять наркотики. Сам он лишь «снял с этих дел пенку», вот «Волгу» себе новую покупает. А многие ребята теперь болтаются по тюрьмам из-за него...

Словом, есть у меня целая картотека типов, за которыми зачастую стоят вполне конкретные и мне известные лица, о коих мне и хотелось бы рассказать.

Причем я не стал бы в этих передачах их «осуждать». Нет, я дал бы им возможность высказаться самим, чтобы они разоблачили самих себя. Такой прием известен в драматургии, когда персонаж не изображается другим персонажем, а в репликах или диалогах обнажает свое существо. Для практики ми-

рового телевидения это не открытие. Но для моей работы, для меня лично это, вероятно, станет новой ступенькой.

Во всяком случае, я хочу попробовать себя и в таком телевизионном жанре.

Как-то в Москве меня пригласили в агентство печати «Новости».

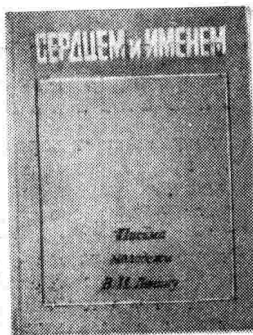
Я приехал, показал пленку, рассказал о ребятах, публика слушала с вниманием. На следующий день я пришел к киномеханику, чтобы забрать пленку. А механики, надо сказать, люди тертые — они все видели, все знают. И любая пленка, которую они гонят, им «до лампочки».

И вот старикан из этой будки, дядя Гриша, мне говорит: «Смотрел я вчера и тебя и пленку твою. Интересно... И судьбы у ребят непростые. Знаешь что: купил я тут маленькую, давай-ка мы ее с тобой уговорим...» А когда мы ее по каким-то площадкам разлили — стаканов не было, — он мне и говорит: «Я ведь сам кто? Бывший беспризорник...»





СЕРДЦЕМ И ИМЕНЕМ



«О» дну только задачу ставит сейчас перед собой вся полумиллионная масса комсомола: сделать весь свой союз действительно ленинским и вывести на путь ленинизма всю рабочую и крестьянскую молодежь Союза Советских Республик — так писал комсомол в своем обращении к ЦК РКП 22 января 1924 года.

Владимир Ильич Ленин был дорог рабочей, крестьянской и учащейся молодежи, он был для молодых своих современников не только вождем революционной России, но и тем старшим товарищем, к которому можно обратиться за помощью, за поддержкой. Это было глубоко личное отношение, потому что и само дело Ленина, Революция, было при всех оттенках существовавших тогда мнений личным, жизненно важным делом каждого сознательного молодого человека.

Летом 1917 года, когда после расстрела июльской демонстрации Временное правительство начало открытые репрессии против большевистской партии, запретило «Правду», отдало приказ об аресте В. И. Ленина, молодые рабочие Петрограда писали в газету «Рабочий и солдат»:

«Посылаем свой привет дорогому нашему учителю по пути к социализму тов. Ленину... Требуем немедленно выпустить всех политических заключенных или предъявить им обвинение, ибо в свободной России не может быть насилия... Заявляем, что мы, юный пролетариат, готовы восстать по первому зову отца-пролетариата и первыми занять баррикады... Долой контрреволюцию!»

Молодой пролетариат России воспринял революцию как свое кровное дело. К Ленину шли не только сотни резолюций молодежных рабочих, крестьянских и студенческих собраний, но и тысячи личных писем, в которых

подростки и молодежь делились с вождем своими мыслями о революции, о текущем, как тогда говорилось, моменте. Двенадцатилетний «гражданин города Муром» пишет Ильичу: «Мы скорей победили бы Деникина, если бы народ был бы сыт. Тогда дезертиров не будет. Когда я ездил за хлебом, то в нашем вагоне ехал дезертир, и он говорил, что «я бы воевал, если бы давали хлеба». Сытый народ пойдет скорее в ряды Красной Армии. Товарищ Ленин, сделай так, будет лучше. Желаю успеха...»

А вернувшийся в деревню красноармеец предлагает, советует: «Если рабочий будет все время идти тесно с крестьянином, просвещать его, посылать литературу сельскохозяйственную и газеты, хотя уже и старые, если рабочий удешевит каждый выпущенный аршин мануфактуры и гвоздь, которые станут доступными для крестьянина, если поможет рабочих в снабжении машинами, то это будет залог победы... С Дружеским приветом...»

Подобные письма, письма трудящихся к В. И. Ленину, вошли во многие сборники, в частности в недавно вышедшую в издательстве «Молодая гвардия» книгу «Сердцем и именем» (составители В. Десятерик, Т. Каменева, редактор А. Холодков). Эту книгу мы и рекомендуем сегодня вниманию наших читателей: это первое специальное издание писем молодежи к В. И. Ленину. В него вошли и перепечатки из старых газет и вновь разысканные в архивах письма, телеграммы, обращения.

Документы эти интересны своей непосредственностью, искренностью. Десятки, сотни писем, например, получал Ленин после ранения на заводе Михельсона:

«Дорогой вождь. Раны, нанесенные тебе рукой контрреволюцион-

ного злодея, жгут нас. Выздоравливай, Мы с тобой».

«Если нужен мой уход за Ильичем немедленно телеграфируйте Липецк...»

Молодежь беспокоится о здоровье Ленина. Может, строчки из писем подростков, детей покажутся и наивными, да ведь идут они от чистого, от любящего сердца: «Берегите себя: зачем ради одного лишнего часа общественной работы рисковать своей жизнью, нужной для великой Коммунистической партии, партии истины всего мира?» «Приезжайте к нам. Наш детский дом стоит на берегу Сенежского озера. Место очень красивое. Можно ловить рыбу и охотиться. Воздух у нас свежий, чистый. Вы отдохнете и поправитесь лучше. У нас есть свежее молоко от своих коров... Летом у нас вырастет много вкусных вещей, и мы Вас всем, всем угостим. Мы будем Вас ждать».

Мы уже писали в «Юности» о письме червоного казачества, где красные кавалеристы просили Ленина не доверять буржуям, не ездить самому на конференцию в Геную. И вот в сборнике «Сердцем и именем» встречаем другой такой документ: «Горячо просим, дорогой товарищ Ленин, воздержаться от поездки на Генуэзскую конференцию, дабы не оставить угнетенный народ, который сейчас чувствует себя свободным, сиротой».

Пишут Ленину и юноша, прошедший добровольцем на царский фронт (в какой-то из газет он, сын бедняка, вычитал тогда, будто добровольцам после войны будут предоставлены льготы по образованию): «Я хотел бы, чтобы меня определили куда-нибудь в училище, и дочь шахтера: «Мое желание — научиться всему, что должна знать каждая сознательная гражданка».

Слова Ленина о необходимости «учиться, учиться и учиться» падают на благодарную почву, находят отклик в молодых сердцах. И вот студенты-первокурсники, вчерашние рабочие и солдаты, сообщают Ленину: «Мы вплотную подошли к последнему оплоту буржуазии — к высшей школе... мы превратим высшую школу в могучее оружие пролетариата, который с помощью науки окончательно укрепит свою победу...»

...В письмах молодежи к Владимиру Ильичу Ленину — своеобразная история первых лет революции, проходящая через человеческие сердца.

В. НОТКИН

ИСТОКИ НАСИЛИЯ

Ежегодно на мировом книжном рынке появляются сотни книг, посвященных Соединенным Штатам Америки. Экономисты и социологи, историки и публицисты, ученые-исследователи и путешественники пытаются разобраться в сложной внутренней обстановке в этой стране, понять ее внешнюю политику, которая своей заносчивой воинственностью, а порою и авантюризмом затрагивает безопасность многих стран и народов, мешает их мирному развитию, создает атмосферу неустойчивости, нервозности и беспокойства во всем нашем большом, но взаимно связанном мире.

Книга доктора исторических наук А. Н. Яковлева «Рак Америки». Имперская идеология: истоки, доктрины», изданная недавно «Молодой гвардией», знаменательна тем, что она дает объяснение не отдельным явлениям или проблемам, а главному направлению в жизни и политике США — устремлению их правящих кругов, подчинив творческие силы американского народа и мощь страны, добиться осуществления своих претензий на установление мирового господства, за которым должен последовать «Американский век», подобно «Римскому веку» и «Британскому веку». Это главное направление определяет как реакционную сущность внутренней политики США, так и крайнюю агрессивность американского империализма.

История, как и недавние события, блестяще доказывает тесную связь внутренней реакции с внешней агрессивностью, и автор книги убедительно свидетельствует, что физическое и духовное подавление своего народа есть важнейшая предпосылка сумасбродных планов мирового господства, с которыми носится правящая верхушка США. На пути их осуществления стоят прогрессивные силы во главе с коммунистическими партиями, страны социализма, опирающиеся на мощь Советского Союза. Поэтому антикоммунизм стал главной идеологической и моральной платформой американского империализма. «Антикоммунизм, — говорит автор, — лежит ныне в основе буржуазной идеологии, является наиболее ярким выражением ее чело-веконенавистнической сущности».

Различными ловкими и не всегда явными путями правящая вер-

хушка разобщает народ, разделяет его, противопоставляя личность коллективу, одиночек обществу, натравливая одного человека на другого. Эти ядовитые семена, которые сеют школа с ее фальсифицированной историей, печать, кино, театр, дают такие кровавые всходы, что весь мир содрогается от ужаса, узнавая о преступлениях, подобных описанному в книге бессмысленному убийству 15 и ранению 35 случайных прохожих в Остине, штат Техас, совершенному двадцатипятилетним Уитменом. Убийца не был помешанным, он возненавидел людей. «Пропа-



ганда жестокости, садизма, насилия, сексуальности в конечном счете формирует солдат войны, готовых убивать, не задумываясь», — говорит автор.

На тех же, кто не поддается этой «обработке», обрушивается разветвленный аппарат государственного насилия, подкрепленный обильно финансируемыми и безнаказанно действующими фашистскими организациями.

Всевластие денег, позволяющее «удерживать массы народа в русле политики монополий», вдохновляет американскую капиталистическую верхушку на мечты о мировом господстве, о пришествии «Американского века». Услужливые политические деятели и пропагандисты, дипломаты и философы попытались воплотить эти мечты в «доктрины», стараясь придать им наукоподобное звучание. Они доказывают, что мировое господство американского капитала закономерно и даже неизбежно, маскируя его грубую империалистическую сущность фальшивой словесностью о «свободе» и «демократии» и оправдывая его «бре-

менем», которое якобы легло на плечи США после заката Британии, Франции и других западных стран. Однако под этой словесностью, как ярко показывает автор, прячется лишь желание навязать волю американских монополий всему миру, утвердить их безграничное господство.

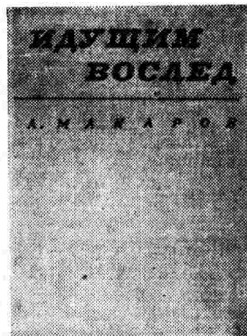
Их планы попутало одно не зависящее от них обстоятельство — существование Советского Союза и возникновение социалистического содружества. А. Н. Яковлев показывает своеобразную, хотя и вынужденную «эволюцию» американских взглядов, теорий и доктрин в отношении Советского Союза — от «политики сдерживания», сформулированной Дж. Кеннаном, через «политику отбрасывания» покойного Джона Фостера Даллеса до признания — молчаливого и стыдливого — необходимости мирного сосуществования. Политика Вашингтона менялась по мере роста могущества Советского Союза, всего социалистического лагеря. Времена, когда в США призывали к замене «холодной войны» горячей войной, прошли.

И все же верхушка США не отказалась от планов американского господства во всем несоциалистическом мире. Притязания американского империализма на мировое господство, нашедшие свое воплощение в создании огромной сети военных баз, в гонке вооружений, в «холодной войне», привели к сохранению международной напряженности, к отсутствию подлинного мирного сотрудничества между народами, в котором так нуждается человечество. Тем не менее реальности нынешнего мира — и это убедительно показывается в книге «Рак Americana. Имперская идеология: истоки, доктрины» — вносят существенные поправки в планы и расчеты правящей верхушки США. Сопротивление курсу на установление американского господства растет повсеместно. Позорная война против героического вьетнамского народа восстановила против американского империализма народы всего мира. В самих Соединенных Штатах недовольство этой войной достигло колоссальных размеров. Народы мира не хотят и не допустят «Американского века».

Богатая фактическим материалом книга А. Н. Яковлева написана интересно, живо, остро, и она, несомненно, будет с большим вниманием прочитана молодым читателем.

Д. КРАМИНОВ

СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО



Александр Николаевич Макаров был наделен редким талантом доброжелательности. Все, кто сталкивался с ним на поприще литературной работы, непременно отмечали в нем эту нечастую, хотя и естественную человеческую черту. Она придавала его облику, жесту и, конечно же, его статьям и книгам характер подлинности, рыцарства, даже некоторой старомодности. Впрочем, слово «старомодность» я тут же заменил бы другим, более точным — воспитанностью, понимая под ним развитую культуру нравственности и мировоззрения.

Выходец из русской деревни, литературный критик Александр Макаров представлял собой тип интеллигента новой, советской формации, в душе которого сплелось чувство прочности и глубины народной духовной жизни (лучше всего выраженное гениями Пушкина, Толстого и Чехова) с историческим оптимизмом и коммунистической народностью, свойственными новым поколениям русских литераторов, перенявших из щедрых рук эстафету культуры и гуманизма. В его доброжелательности и внимании к малейшим, пусть еще слабым росткам литературной одаренности не было снисходительности или прощения; здесь наличествовала безусловная искренность и вера, что доброе, только доброе, хотя вместе и требовательное, нетерпимое к фальши и спекуляции, но и неторопливое, тщательно аргументированное слово критика способно внести действительно весомый вклад в развитие общего писательского дела. У Макарова был хозяйский и бережный взгляд на вещи, не терпящий лазанья поверху; тут сказалась крестьянская закваска, которая в сочетании с воспитанным

историзмом мышления дала плоды отличной пробы.

Он умер, едва перешагнув пятидесятилетний рубеж, оставив после себя след глубокий и чистый. В «Советском писателе» вышел том его избранных работ, почти тысяча страниц размышлений о нашей послевоенной прозе и поэзии. Книга так и называется — «Идущим вослед». О ней уже немало писали, мне же хочется обратить внимание читателей «Юности» главным образом на одну очень важную и благородную сторону деятельности критика.

Макарову принадлежит бесспорная заслуга в создании точных и перспективных литературных репутаций. Конечно, время — лучший аналитик, но ведь первыми судят современники, и если им посчастливилось быть объективными, то время лишь уточнит их оценки. Макарова можно по праву назвать одним из самых проникновенных читателей первых повестей и романов Василия Аксенова, Виктора Астафьева, Вилия Липатова, Виталия Семина, Александра Рекемчука. Пристрастное и внимательное отношение писателя к новым талантам проявлялось и в статьях, и в руководстве журналом «Молодая гвардия», и в большом докладе о поэзии на Третьем Всесоюзном совещании молодых литераторов, и в многочисленных «внутренних» издательских рецензиях на рукописи начинающих авторов. У Макарова было высокое призвание не просто критика, но и селекционера; его труд в этой области забыт не будет.

Главной страстью, любовью была поэзия. Его перу принадлежат прекрасные разборы Твардовского, Смелякова, Слуцкого, Межирова, Межелайтиса, Евтушенко.

Анализ Макарова всегда эмоционален, духовно окрашен, но не в ущерб точности оценок; язык свеж и внятен, многие страницы книги читаются, как хорошая русская проза.

Не могу удержаться и не привести отрывок из работы о Викторе Астафьеве, очень характерный для стиля и нравственной атмосферы макаровских статей:

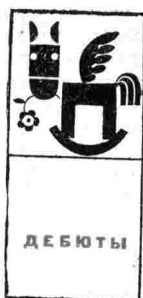
«О рассказе «Старая лошадь» писали немало. И о том, с каким проникновенным лиризмом изнутри передана здесь извечная история лошадиной жизни, и о том, какую борьбу между разумом и чувством выдержал Ванягин, прежде чем решил прекратить ее муки, и как, должно быть, яростно вел себя в последующем бою этот человек, смысл жизни которого был в мирной работе, в любви к живому. Но почему-то никто не обратил внимания на очень существенную в рассказе деталь, не на то, что сделал Ванягин, а на то, как он это сделал. В конце концов не было особого труда для ловкого солдата, прицелясь из окопа, снять лошадь выстрелом. А Ванягин, рискуя жизнью, дошел до коняги. Почему? Не легче ли было бы ему самому, если бы он стрелял издалека? Зачем же подвергал он себя опасности и шел на излишние муки? Да только затем, чтобы, неся лошади избавительную смерть, согреть ее последнее мгновение жалостью, участием, человеческим теплом. «Ей хотелось к людям», и человек, рискуя собой, принес ей последний дар дружбы».

Предисловие к книге написал Константин Симонов, хорошо знавший Макарова еще с довоенного литинститута. «В критике, так же как и в поэзии и в прозе, бывают люди самовлюбленные, любящие блеснуть показною дерзостью суждений и готовые уложить на прокрустово ложе живое тело литературы, принеся ее в жертву эффектной концепции.

Макарову на протяжении трех десятилетий его работы была чужда и показная смелость и пристрастие к дешевым эффектам. Он действительно любил литературу и умел отличать в ней подлинное от мнимого и преходящего...»

Этим мне и хочется закончить рецензию.

Е. СИДОРОВ



Владимир Спиваков: «Лирическая исповедь души...»

Владимир Спиваков, двадцатипятилетний аспирант Московской консерватории (класс профессора Ю. И. Янкелевича) с большим успехом выступил летом 1969 года в Монреале, где проходил конкурс молодых скрипачей. Спиваков был удостоен в Монреале золотой медали. Он гастролитировал во Франции, Италии, Канаде.

...Прежде чем начать беседу, мы слушали музыку. Квнтет Шуберта «Фореллен». Великолепная запись с фестиваля в Марлборо... Но мне интересно услышать, нет, почувствовать реакцию Володи, и я слежу за лицом скрипача. Оно меняется непрерывно, да и сам Спиваков ни секунды не сидит спокойно. То невольно, незаметно для самого себя, начинает дирижировать, то еле слышно подпевает мелодии медленной второй части, то глаза его веселеют, то шубертовское размышление погружает его в задумчивость...

Шуберта сменяет Арво Пярт — молодой эстонский композитор. «Перпетуум мобиле», Вторая симфония...

— Что вам ближе, Володя, — классика или современная музыка?

— Настоящая музыка. А она — везде. И в четырнадцатом веке, и в шестнадцатом, девятнадцатом и сегодня, разумеется... И классика и самая современная. Не модерни, понятий как узкое, сугубо технологическое экспериментирование, а как путь к музыке новой, поиск новых выразительных средств... Вот мы только что слушали Арво Пярта. Это музыка! К сожалению, Пярта, да и не только его, знают недостаточно хорошо. Почему? Может быть, от некоторого



Фото С. Фурмана.

предубеждения, снобизма, может, из-за лени (я имею в виду и молодых слушателей и молодых музыкантов), может, есть и еще какие-либо причины. Но основная — обидное равнодушие, нежелание играть «неапробированное», стремление показывать вещи, заранее «обреченные» на успех и проверенные временем.

Спиваков продолжает:

— Новая музыка всерьез увлекла меня в студенческие консерваторские годы. Но я ее больше слушал, нежели исполнял. Нет, не только из опасений, что не справлюсь с ней, не проникну в ее суть. Все и проще и сложнее — времени не хватало, да и сама школа, освоение техники отнимали много сил. Однако, я думаю, это был своеобразный подготовительный период. Но я не был совсем уж бездейственным. Увлёкся Бартоком, много играл его, в том числе и в Монреале — его сонату, рапсодию... Барток — музыкант огромный, и без его музыки двадцатый век в искусстве представить не только трудно, но, я уверен, и невозможно. Как без Прокофьева, Шостаковича... С Бартоком и Прокофьевым я не раз (но всегда волнуясь) выходил на концертную эстраду. С сочинениями Шостаковича пока не рискнул. Учю его в классе, мечтаю о его сонате для скрипки и фортепьяно, хочу сыграть когда-нибудь вместе с женой — пианисткой Викторией Постниковой...

— А еще что хотите сыграть?

— Сонатные циклы Бетховена, Брамса... Довольно много из классики. И назову сейчас несколько имен современных композиторов, которые интересуют ме-

ня и как скрипача и как слушателя: Борис Чайковский, Борис Тищенко, Родион Щедрин, Валерий Гаврилин, Кшиштоф Пендерецкий, Эдиссон Денисов... У нас до обидного редко исполнительская молодежь обращается, скажем, к творчеству Бориса Тищенко, а это большой музыкант, талантливый композитор. Или Альфред Шнитке, тоже молодой композитор, автор очень интересных сочинений, в частности и для скрипки. Или Сергей Слонимский. Ему, правда, «повезло» на эстраде чуть больше, чем Шнитке, но ведь ласточка не делает весны. И еще, — это имеет самое непосредственное отношение к теме нашего разговора, — я убежден, что мы часто обкрадываем себя и слушателей, чужаясь камерной музыки. И классической и новой. А камерные жанры — это, мне кажется, очень тонкое, драгоценное в музыке. Это лирическая исповедь души. И композитора и того, кто стремится донести его музыку до миллионов людей...

— Но Петр Ильич Чайковский называл музыкальной, лирической исповедью души большие музыкальные полотна, прежде всего симфонии.

— Это так. Но обратитесь к камерным произведениям самого Чайковского, и увидите, что в них не меньшая, чем в симфонии, лирическая исповедь... То же самое у Баха, Бетховена, Моцарта, Брамса. Да всех и не назовешь. И так хочется найти себя в изумительном мире музыки, исполнить свою собственную «миссию», и не просто играть красивые мелодии, а выражать сложные мысли, раздумья, конфликты. Здесь самое трудное и самое ценное в творчестве музыканта. Но на это, увы, часто не хватает и целой жизни.

— Как же вы представляете свою «миссию»?

— Для меня сейчас основное не выступления с симфоническим оркестром (хотя и они, разумеется, очень меня интересуют), а камерное музицирование — и соло и в инструментальных ансамблях. Простите мне это несколько старомодное слово «музицирование», но оно, поверьте, очень точное, емкое и обязывающее. Вот только что мы с вами слушали «Фореллен» в записи с Марлборо. Этот фестиваль, куда съезжаются крупнейшие музыканты мира, называют часто не фестивалем, а встречей для совместного музицирования коллег-музыкантов. А поле для музицирования, прежде всего камерного, — огромное. Я не устану повторять, что душа музыки — и в сольных сонатах, квартетах, трио, дуэтах, квинтетах, и в сочинениях для камерных оркестров. Не случайно ведь и Шостакович написал свою 14-ю симфонию для камерного оркестра. И те камерные произведения, что исполняются редко или несправедливо забыты, мы, музыканты, обязаны вернуть в концертные залы, на радио, на грампластинки...

— А вы знаете, что среди первых документов Советской власти об искусстве было специальное постановление Наркомпроса о создании камерных музыкальных коллективов и о массовой пропаганде классической и современной камерной музыки по всей стране — и на фронтах гражданской войны, и в концертных залах, и в сельских клубах. Везде... И еще — первый струнный квартет, носивший имя Вла-

димира Ильича, был создан уже в канун первой годовщины Октября, а зимой девятнадцатого года Ленин слушал в исполнении этого квартета произведения Бородина и Грига, встречался с его участниками, беседовал с ними...

— Вот видите, специальное постановление. Не случайно же...

Мы говорим о камерной музыке, вспоминаем наиболее интересные произведения этого жанра. Разговор заходит и о молодом Мендельсоне, авторе не только больших симфонических сочинений, но и написанных в камерных формах.

Спиваков вспоминает любопытный факт из истории музыки: когда семнадцатилетний Мендельсон написал свой первый струнный октет, пресса писала, что он предвещает нового Моцарта.

— Но октет забыт, как и прекрасные вокальные дуэты Мендельсона, как забыта музыка Торелли и Альбиниони, — продолжает Владимир. — Я собираюсь в ближайшее время подготовить и показать программу из произведений этих интереснейших итальянцев. Это, разумеется, всего лишь два примера несправедливо забытой музыки. Их можно было бы продолжить. Но лучше не заниматься перечнем имен, а играть эту музыку.

— Но не уведет ли вас увлечение камерной музыкой слишком далеко от симфонической?

— Нет, конечно. Ведь, в сущности, симфоническая и камерная музыка неразделимы, дополняют одна другую. Главное же, чтобы ты знал, что хочешь сказать. Нравится тебе музыка, убежден, что она нужна и твоим слушателям, — так борись за нее, утверждай ее, отстаивай...

После выступлений Спивакова на международных конкурсах и особенно после Монреаля много писали о его сходстве со знаменитыми скрипачами — Яшей Хейфецем, Мироном Полякиным...

— Кто же из скрипачей вам ближе по стилю, интонации, характеру? — спрашиваю я Володю. — На кого вам хотелось бы походить?

— Откровенно говоря, я не задумывался над этим. Мне очень дорого искусство Менухина, Стерна, Сигети, Ойстраха. Из молодых — Ляны Исакадзе, Ланцмана, Третьякова, Олега Кагана. Но я, поверьте, никогда не стремился подражать кому-то, походить на кого-либо. Тем более что замечал, да и история исполнительства говорит о том же: бывает, слушая большого музыканта и пытаюсь копировать его в чем-то, часто выбираешь то, что несет поверхностный, случайный характер, не имеющий ничего общего с душой и талантом этого мастера. Но все-таки, на определенном этапе, в учебе, думается, ориентация на какой-то образец имеет и определенный благотворный смысл. Кажется, Лев Толстой, называя такого рода «подражательность» «заражением», говорил: если я заразился тифом от Иванова, то тиф у меня все-таки не Иванова, а мой... То есть, даже стремясь в чем-то подражать мастеру, в результате все же ищешь самого себя, свой «тиф», свой стиль, свое ощущение мира... Ну, а теперь давайте еще раз послушаем «Фореллен». Согласны?

Беседу вела Наталья ЛАГИНА.



«Твои заветы исполним»

В украинском селе Витавы, что в Винницкой области, стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. На граните высечены слова:

«На память от ячейки Союза строительных рабочих с Витавы Владимиру Ильичу тов. Ленину Ты умер, но твое ученье для нас свято.

Через союз рабочих и крестьян твои заветы исполним.

1924 года 8 ноября».

Историю возведения этого обелиска мне рассказал Трофим Иванович Ищук.

Ищук один из тех, кто в 1924 году возводил обелиск Ильичу. Вместе с ним работали Валериан Мысловский, Леонид Окульский, Павел Окульский, Викентий Радзиховский, помогали и другие каменотесы. В живых ныне остался один Трофим Иванович.

Ищук отхлебывает горячий чай, окрашенный вишневым вареньем, и вспоминает:

— В годы революции хозяин нашего гранитного карьера Ярошинский бежал. Карьер затопила вода. Мы, каменотесы, попрятали свои бучарды по сараям. После гражданской войны разруха была страшная. Мы понимали, что не сразу государство до нашего карьера доберется. Были заботы поважнее. А у самих кошки на душе скребли. По вечерам сойдемся на завалинке — только про карьер и толкуем. Однажды Иван Червинский говорит: «Вот что я надумал, хлопцы. Нынешний Октябрь мы впервые встретим без Ленина. По всей стране сейчас Ленину клятвы дают, как, мол, работать будут, что сделают. Давайте и мы свою

клятву на граните высечем. И карьер пустим, не дожидаясь помощи. Своими руками».

Трофим Иванович рассказывает, как объединились каменотесы. Председателем избрали Ивана Червинского. Кузнец Кордун дал двух быков. Поехали на карьер.

Стояла осень. Холода грянули ранние. В карьере воду ледком схватило. Вымокли как черти. Потом разогрелись, когда гранитные глыбы по доскам перетаскивали.

Четыре ходки сделали из Витавы в карьер. Гранит вывалили возле бывшего помещичьего дома. Работали по вечерам.

8 ноября 1924 года над Витавой поднялся постамент, укрытый простынями. А в Витаву двинулись колонны крестьян из Гнивани, из Сутисок, из Грыженцев, из других сел. Шли со знаменами, с плакатами, с оркестром.

И первое слово на митинге взял Иван Червинский. Это была клятва Ильичу. Выступали посланцы и окрестных сел. И все, что они говорили, в чем клялись вождю, уместилось в трех словах, высеченных на граните: «Твои заветы исполним».

Над Витавой гремел «Интернационал». Над Витавой поднялся обелиск...

Трофим Иванович встал из-за стола и торжественно положил на стол тяжелый пакет, завернутый в мешковину. В нем оказались острые скarpели и бучарда.

— Ими я тесал обелиск Ленину, — пояснил Ищук.

.. На граните обелиска сохранились следы боевых ран.

С председателем Витавского сельсовета мы переходим из хаты в хату и постепенно восстанавливаем события лета 1941 года.

Немецкая колонна двигалась через Витаву. На головной машине сидел офицер. Он остановил машину перед монументом, приказал переводчику прочитать надпись, взял автомат и дал очередь. Пули цокали по граниту и беспомощно ricochetили.

Офицер что-то прокричал солдатам. Гранит обвязали тросами, концы прикрепили к машине. Застонал мотор, натянулись тросы, лопнули, оборвались.

Колонна тронулась дальше. Но о монументе гитлеровцы не забыли. Ночью, видимо, свалили его танком.

— Утром выглянула в окно, — рассказывает Полина Евдокимовна Содканюк, — памятник наш повален. А на земле следы гусениц.

А следующей ночью совершилось чудо: звенья обелиска весом в тонну и более исчезли. Унесли

их недалеко, правда, но спрятали в ямы соседнего пустыря, присыпали землей, бурьяном.

Это могла сделать большая группа сильных и опытных людей. Кто они? Кто руководил ими? Кто, рискуя жизнью, прятал обелиск?

— Думаю, что руководил этими людьми Василий Кириллович Ковальчук, — сказал председатель сельсовета. — Ковальчук возглавлял колхоз, был коммунистом с 1932 года и в оккупации не сидел сложа руки.

Беседуем с дочерью Ковальчука Софьей.

— В ту ночь отец дома не ночевал. Что он ночью делал, не знаю. С нами, детьми, об этом речи не вел. Через сутки окружили гестаповцы дом наш, скрутили отцу руки, увели его... Больше отца я не видела.

Вновь иду к обелиску и в мелькании снежинок читаю гордые слова, обращенные к Ленину и высеченные на граните витавскими каменотесами:

«... твои заветы исполним»

Юрий ЧЕРНОВ

Тайны Меншиковского дворца

На Университетской набережной реставрируется Меншиковский дворец — первый каменный дворец Петербурга. Здесь будет филиал Эрмитажа, в котором откроется постоянная выставка «Культура России первой трети XVIII века».

В процессе реставрации дворца сделаны открытия, которые позволяют сказать, что этот дворец — отправная точка, от которой началось развитие Петербурга.

Петр I, создавая столицу на берегах Невы, лично довольствовался довольно скромным жилищем. Но в то же время он поручил Готфриду Шедло (Ивану Ивановичу Шейдену), приехавшему в Россию в 1713 году, построить палаты для князя Меншикова. Они были задуманы как правительственные. Не случайно рядом с ними вырос архитектурный ансамбль, в котором разместилось 12 Коллегий. Впоследствии дворец Меншикова передали Коммерц-

коллегии, а затем в нем основали первое в России закрытое высшее учебное заведение, выпускавшее офицеров. Позже сухопутный шляхетский корпус превратился в кадетский.

— Видите эту траншею, что тянется вдоль южного фасада? — говорит мне автор проекта реставрации Александр Эрнестович Гессен. — Стоит в нее спуститься, чтобы увидеть белокаменное основание пилястров. Теперь появляется возможность возобновить архитектурное убранство первого этажа, столько лет скрывавшееся в земле. За двести с лишним лет на первом и втором этажах накопилось столько перегородок, что, казалось, исчезли и своды. Потерялось представление об их характере. Но когда мы уничтожили перегородки, нашим глазам открылась анфиладная планировка палат. Несомненно, своды строили лучшие мастера Пскова и Новгорода, Ростова, Владимира и Суздаля, Ярославля и Москвы... По некоторым сводам можно определить, из каких мест приезжали артели строителей. Пожалуй, нет в нашей стране другого гражданского сооружения, где можно увидеть почти все типы древних сводов.

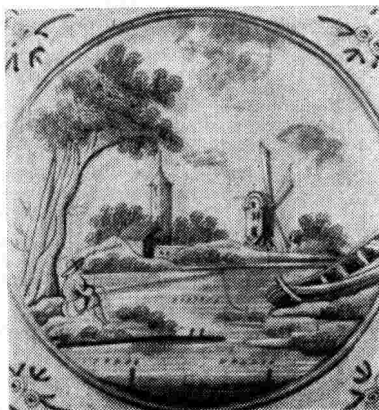
...Однажды Александр Эрнестович пришел в Русский музей, где собирались члены клуба «Россия», и рассказал молодежи о петровской архитектуре, о недавно реставрированных им Монплезире и Летнем дворце. Рассказал и о Меншиковском дворце. На следующий день члены клуба явились во дворец.

— Вначале, — признался Гессен, — я думал, что ребята посмотрят и уйдут. Картина была жуткая: падали перегородки, валились пласты штукатурки, осыпалась побелка. Пыли было невпроворот. Но наши молодые помощники во главе с географом Любой Андреевой охотно брались за самую черную работу. Поднимали полы, мыли паркет, протирали окна, разбирали кирпичную кладку, выносили мусор... Сколько было радости, когда в промытые стекла влились потоки света! Молодежь вошла во вкус реставрационных работ. Добровольные наши помощники зондировали стены, рассчитывали раскрываемые архитектурные формы. В конце концов нас заела совесть: работала молодежь так профессионально, что... В общем, в мастерской решили оплатить их труд. Хотели обрадовать, а вышло, что обидели. Вот какие у нас помощники!

Гессен ведет нас на верхний этаж, где раскрыты аллегориче-

ские изображения нимф воздуха, света, воды.

Вслед за нами в покои родственницы Меншикова — Варвары Арсеньевой — вносят узкие ящики с изразцами. (Один из этих изразцов — на нашем снимке.)



— Копии делфтских изразцов, — пояснил архитектор-реставратор. — Их раскрашивает и обжигает художник-керамист нашей мастерской Борис Александрович Мицкевич, который вместе с инженером Глебом Борисовичем Алексеевым открыл секрет изготовления этих изразцов.

— Делфтские изразцы?

— Да, эти изразцы носят название голландского города Делфт. Каждый изразец вручную расписывали художники. Затем изразцы обжигали. Так же поступает и Мицкевич. Теперь подлинные произведения делфтских гончаров и художников — большая редкость. Их поштучно скупают все музеи мира. В XVIII веке эти изразцы стоили довольно дорого. В основном ими облицовывали печи. В этом дворце делфтскими изразцами сплошь покрыты стены некоторых покоев и даже потолки. Конечно, это абсурд. Стоя на полу, нельзя разглядеть библейские и мифологические сюжеты, жанровые сценки. Но причуда Меншикова очень нам даже на руку: во дворце оказалась самая крупная в мире коллекция древних голландских изразцов. Изразцы не везде сохранились, но тут нас выручает Мицкевич. Теперь прошу в кабинет Меншикова.

Из литературных источников известно, что плафон в кабинете (площадью в шестнадцать квадратных метров) в начале двадцатых годов XVIII столетия был расписан по коже знаменитым ху-

дожником Ф. Пильманом. На сверкающем фоне извивались крылатые драконы, из переплетений ветвей, цветов и плодов выглядывали маски. В углах плафона художник изобразил женские головки. Такой эту роспись увидел художник-реставратор Борис Николаевич Косенков. И ему, когда он стоял на полу, казалось, что потолок затянут кожей. Однако стоило взобраться на стелюгу, вознесшую Косенкова под потолок, как выяснилось, что плафон состоял из пяти холстов, натянутых на подрамники. А под ними оказалась размытая роспись. В углу, над изразцовой печью, художник заметил что-то «живое». Решил раскрыть невидимое. Работал с предельной осторожностью. И вдруг из-под скальпеля, которым снимал все лишнее, выступила физиономия златокудрого малыша, типичного «путти», хитро поглядывавшего на своего освободителя. «Путти» оказался и в другом углу. Тогда Косенков решил раскрыть небольшой участок в центре, где мог сохранился нижележащий слой.

Всякое приходилось видеть художнику, но такого еще не бывало. Выступили фрагменты развешивающегося алого знамени, жерло пушки и сложенные возле нее ядра. В другом месте художник раскрыл изображение воина в шлеме, с копьем в одной руке и щитом — в другой.

— Работа только начата, — сказал Гессен, когда мы налюбовались увиденным. — Живопись в духе московской школы XVII столетия. Еще неизвестно, что тут, фреска или роспись по сухой штукатурке. Ясно только, что темпера. Но обратите внимание на лицо воина: такие усики можно увидеть на ломоносовском портрете Петра I. А пушка! Ведь царь был бомбардиром Преображенского полка. Свое последнее слово скажут искусствоведы, однако неоспоримо, что перед нами образец русской монументальной живописи в гражданском сооружении. Да, будущие посетители музея увидят и покои с подлинными делфтскими плитками, и окна с вставленными в них «лунными» стеклами, и восстановленную роспись плафона, о существовании которой никто и не подозревал. Но история дворца — это не только далекое прошлое. Здесь проходил Первый Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. И именно здесь прозвучали знаменитые слова Ленина: «Есть такая партия!».

Генриетта АЛОВА



ГОД ИЗ ЖИЗНИ

Прошлой зимой, встретив Анзора Кавазашвили, я его не узнал. Он осунулся, по-мрачнел. Оказывается, он расстался с командой автозавода, ворота которой столь успешно защищал восемь лет. Что же дальше?

«Когда Анзор подал заявление в «Спартак», мы с Николаем Петровичем Старостиным решили посоветоваться с ветеранами: Хусайновым, Логофетом, Амбарцумяном, — рассказывает старший тренер спартаковцев Никита Павлович Симонян.

— Что там решать? — сказали они в один голос. — Брать надо скорее. А что, собственно говоря, смущает?

— Вратарь он отличный. Споры нет. Но как человека мы его слишком мало знаем. Но ребята были в нем уверены. И мы согласились с ними. С тех пор об этом ни разу не пожалели. Меня часто спрашивают, почему и новички и сложившиеся игроки, перешедшие к нам перед началом прошлого сезона, так быстро нашли свое место в команде, почувствовали себя спартаковцами. Это заслуга ветеранов команды. И новые игроки, ощущая их дружелюбие, в свою очередь, старались и в быту и на поле завоевать доверие старожилов. «Один за всех, все за одного» — таков принцип «Спартака». Мы не изменим этому принципу и в наступающем сезоне».

Весной прошлого года «Спартак» отправлялся в Иран. Перед отъездом я попросил Анзора делать записи в блокноте, чтобы опубликовать их в «Московском комсомольце». И тут узнал, что Кавазашвили уже несколько лет ведет дневник.

Иранские заметки Кавазашвили были напечатаны в нашей газете, а в конце сезона, самого яркого в его вратарской жизни, Анзор доверил мне все свои дневники и разрешил их публиковать. Я принес страницы его прошлогоднего дневника в «Юность». Вот и вся история.

Леонид ТРАХТЕНБЕРГ

10 января

Опять не спал почти всю ночь. С утра собираюсь на первую тренировку «Спартака». Даже странно как-то. Полтора месяца просидел дома, и не верится, что наступит конец всем моим страданиям. А что если ребята не примут? Во-первых, всю жизнь был их соперником, лишал счастливых минут. Во-вторых, спартаковцы привыкли к Маслаченко. Он не раз вручал команду, и в него верили. Да мало ли найдется причин.

Когда шел по улице Воровского, старался сам поднять себе настроение. Вспоминал какие-то забавные эпизоды. Но чем ближе подходил к спортивному залу, тем больше волновался. Вошел в раздевалку и удивился: приходиться на эту тренировку было не обязательно, а команда вся в сборе. Сколько старых знакомых: Хусайнов, Осянин, Логофет, Амбарцумян, Петров! Встретили меня так, словно всю жизнь мы играли в одной команде.

— Вот он пришел, наш «золотой» вратарь, — громко сказал Слава Амбарцумян.

Ребята засмеялись, а мое волнение как рукой сняло.

Тренировка началась, как обычно, с разминки. Потом играли в баскетбол. У меня в тбилисском «Динамо» много друзей-баскетболистов: Инцкирвели, Лежава, Мосешвили. Но вот с правилами игры я не особенно знаком. Стремился действовать цепко и жестко. Поначалу чувствовал: никому не хотелось вступать со мной в единоборство. Но затем ребята стали толкаться похлестче, чем я сам.

Закончили двусторонней игрой в маленькие ворота. Что меня больше всего поразило на первой тренировке? Все старались что было сил. Нет, не для того, чтобы показать: вот, мол, как я могу. Просто каждый очень серьезно подходит к тренировке, будь то ветеран или новичок.

Домой возвращался чуть ли не именинником. Открываю дверь, захожу в комнату — гости. Болельщики «Торпедо». Они и раньше ко мне часто приходили. А как узнали, что ушел с автозавода, стали навещать почти каждый вечер.

Разговор начинается с каких-то общих вопросов

типа: «Как живешь, Анзор?» Ну, а потом гости перешли к делу:

— Мы не знаем, почему ты ушел, но надо вернуться.

Они ничего не знают, а говорят «надо». А кто-то, видимо, самый решительный, даже спрашивает:

— Скажи, почему ушел из «Торпедо»?

Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Но задан он от души. Людей, проходящих ко мне, действительно волнует судьба «Торпедо» и моя тоже. Отвечаю односложно:

— Не сошлись характерами с Ивановым.

Собеседники чувствуют, что большего от меня не добьются, извиняются за назойливость и прощаются.

Но прежде чем окончательно закрыть дверь, кто-то непременно спрашивает:

— А может быть, все-таки вернешься?

— Не знаю, может быть, — отвечал я.

То ли потому, что мне не хотелось огорчать их категорическим отказом, то ли оттого, что сам отчасти верил в свое возвращение.

«Не сошлись характерами...» А вдруг я просто погорячился с заявлением об уходе? Надо было переждать, и все бы успокоилось. Да, но разве можно оставаться в команде, если тренер в тебя не верит? Несколько неудачных игр, проведенных мной в сезоне шестьдесят восьмого года, и Иванов решил, что пора мне искать замену.

Ушел из «Торпедо», значит, с футболом надо кончать вообще, подумал тогда я. Завершу учебу в университете, а там будет видно. Но неделю назад узнал, что меня хотят взять в «Спартак». В двадцать девять лет начинать все заново? К тому же поговаривали о том, что торпедовцы не прочь взять меня обратно в команду...

Вот почему я обычно отвечал: «Не знаю, может быть...» Точно так же я сказал бы вчера, сегодня утром. Но час назад я впервые твердо сказал верным торпедовским болельщикам:

— Нет. В «Торпедо» я не вернусь.

И откуда такая убежденность? Наверное, после тренировки в «Спартаке». Одной-единственной тренировки...

ВРАТАРЯ

Анзор Кавазашвили

8 апреля

Вчера, накануне первого календарного матча сезона с ташкентским «Пахтакором», состоялось собрание команды. Выбирали капитана. Голосование было тайным, но я чувствовал: должен победить Хусанов. Так и есть. Капитан — Хусанов (четырнадцать голосов). Вице-капитан — Амбарцумян.

Выходит, во главе «Спартака» «на лихом коне» будет Хусанов. Галимзян — имя сложное. Хусанов для нас — Гиля. Его отличает великая работоспособность, жажда гола. Он всегда готов прийти на выручку тому, кто в беде. Гиля находит какие-то нужные слова, знает, кому что посоветовать. Ему известно, с кем надо поговорить серьезно, а кого подбодрить шуткой. Я сам люблю музыку, но Хусанов — почти музыковед.

У нашего капитана бойцовский характер. Это я точно знаю. На футболистов уход из сборной страны действует магически. Один приходит в себя лишь спустя год, другой теряет веру в свои силы навсегда. Хусанов давно играет в сборной страны. Но иной раз тренеры отказываются от его услуг. А Галимзян остается таким же жизнерадостным, каким был прежде. Как будто ничего не произошло. Только на поле становится чуть-чуть злей, чем обычно.

Выступил Сальников и рассказал о команде «Пахтакор». Он смотрел игру ташкентцев с минским «Ди-

намо». Сальников не в восторге от «Пахтакора». Сегодня утром наш «разведчик» улетел в Алма-Ату. Следующий матч мы играем с «Кайратом».

После завтрака предложил ребятам прогуляться по городу. Вчера, когда играл наш дубль (2:0), погода была отличная. А с утра, как назло, пошел дождь. Правда, поговаривают, что дождливая погода — спартаковская. Но это не всегда верно. Если было бы сухо, нам только лучше. Играли бы за счет держания мяча и распасовки. А так многое решает физическая подготовка. Она у нас пока слабовата.

В 12 часов установка на игру с «Пахтакором». Ее проводил Симонян. Особое внимание он уделил опеке Красницкого. Объявил состав и тут же добавил:

— Сейчас в команде 21 человек. И тем, кто не выйдет на поле сегодня, не огорчаться. Готовьтесь, и все будете играть. Как в прошлом году.

И еще сказал: играть с желанием, собранно. И, главное, с душой. На одном классе далеко не уедешь.

Хусанов будет играть свой трехсотый матч.

Вместо обеда, как обычно в день игры, съел плитку шоколада с кофе. Ребята разошлись по номерам. Но я привык перед игрой ходить в кино. Посмотрел еще раз «Человека с ружьем». Когда возвратился в гостиницу, сменил шипы на игровых бутсах. Поспал полтора часика. Проснулся — дождя уже нет. Взглянул на термометр — 15 градусов. Благодать.



В автобусе разгорелся спор: кто лучший артист зарубежного кино? Претендентов много. Старостину, например, больше других нравится Антони Куин («Грек Зорба»). Котировался и Спенсер Треси. И все же «сильнейшего» не выявили.

Игра началась совсем не так, как я думал. Со слов Сальникова решил, что «Пахтакор» будет выглядеть беспомощно. Но хозяева поля действовали широким фронтом. В атаку подключались полузащитники и обстреливали ворота издали. Навесы с флангов на высокорослых Бекташева и Красницкого ввели бы в страх многих защитников. Но наши Логофет, Иванов, Рожков и Ловчев были молодцами. Теперь уже Хусайнов пытается нанести удар по воротам Любарцева. Но в последнюю секунду вмешивается ташкентец Петухов. И после его удара мяч... опустился за спину вратаря, в сетку. Ведем 1:0. Таков наш первый гол!

Во втором тайме пахтакоровцы наступают всей командой. Стараются в поте лица. Но мяч влетел опять в их ворота. Контратака с правого края, и Осянин, «украдя» мяч из-под носа вратаря, забил второй гол. После этого «Пахтакор» сник, и наши доминируют на поле. Ничего не скажешь, ребята играли красиво. И вдруг... Красницкий головой перебрасывает мяч Бекташеву. Последний удачно прикрывает корпусом мяч, опережает защитника и выходит один на один со мной. Прыгаю в ноги, но не спасаю ворота, 2:1. В наших задних рядах замешательство. Финальный свисток застает «Пахтакор» в атаке. Но победа! Все возбуждены. Симонян признается, что не ожидал такого исхода, так как последние два года «Спартак» в открытые сезоны или проигрывал, или с трудом делал ничью. Мы с Вадиком Ивановым поздравили друг друга особо. Для нас это первый успех в составе знаменитого «Спартак».

После игры у меня в номере собрались Амбарцумян, Рожков, Логофет, Иванов. Поговорили. Кто о своих ошибках, кто о чужих. Амбарцумян признался, что в первом тайме никак не мог совладать с мячом. Поле неровное, и мяч этот пятнистый слишком легкий. Он прав. Недаром потом мяч поменяли.

Настроение отменное, не хуже, чем когда в последний раз играл против «Пахтакора», за «Торпедо», в финале Кубка. В воротах чувствовал себя уверенно. Это — главное. Тем более по весне. Значит, и дальше все должно быть в порядке.

Лучшим на поле, мне кажется, был Коля Осянин.

19 июня

В команде все считают: самый трудный матч с киевским «Динамо». Для меня самый трудный матч сегодня. С «Торпедо». Волновался, как первоклассник первого сентября. Предстояло играть против клуба, который тебя воспитал. Правда, я готов был выйти на поле еще 2 мая, в день матча «Торпедо» — «Спартак» первого круга. Но не играл по договоренности руководителей обеих команд. Тогда забрался под самый козырек к журналистам. Сыграли вничью. 0:0. Лисицын хорошо стоял.

С утра телефонные звонки. Доброжелатели, знакомые и незнакомые, советуют отказаться от игры. Аргументы те же самые, что и у тех людей, которые встречали меня на улице: торпедовцы не пощадят. Не забьют, так...

Я не был уверен в победном исходе матча. Но точно знал одно: мои бывшие партнеры по команде никогда не станут мстить. Да и мстить мне не за что.

А в общем-то за восемь лет мы очень привыкли друг к другу: «Торпедо» и я. И когда ушел из коман-

ды, хорошо помню, как переживал неудачи автозаводцев в Уругвае. Переживал, наверное, больше, чем если бы пропускал мячи сам. Жалко Лайзана. У него задатки хорошего вратаря, но нельзя человека, едва научившегося плавать, бросать в море во время семибального шторма, а потом смотреть со стороны: выплывет или нет? Встретил недавно вечно второго Мишу Скокова. Не унывает. Надеется...

Тренеров, да и нас, конечно, прежде всего интересует: будет ли играть Стрельцов? Если да, то держать его должен Вадик Иванов. Но когда Исаев принес в раздевалку выписку из протокола, фамилия Стрельцова отсутствовала. Ребята облегченно вздохнули. Приближаемся к туннелю. Думаю: пора затыкать уши. Нет, если на свист и реплики обращать внимание, надо бросать футбол. Идут торпедовцы. Поздоровались очень приветливо. Как добрые знакомые, не встречавшиеся долгое время.

На трибунах такой шум, что отдельные выкрики не долетают до ворот. Больше всего удивлялся самому себе. Куда-то исчезло волнение, и нервы совсем не напряжены. Матч почему-то напоминает тренировочную двустороннюю игру. Играю за «красных». Кругом знакомые лица старых и новых друзей. Не представляю себе, что всерьез играю против «Торпедо». И очень хорошо.

Все шло к ничьей. Но за две минуты до конца Киселев перекинул мяч через выбежавшего из ворот Ищерского. Победили 1:0.

Заболел Амбарцумян. Уехал вчера в Диспансер. Врачи обнаружили переутомление. Большая потеря для команды. Славу я знаю давно. С пятидесяти седьмого года. Тогда мы вместе играли в Бельгии за юношескую сборную страны. Заняли первое место. Местные журналисты сразу же выделили его и окрестили самым талантливым и техничным. Даже специально приезжала киностемочная группа и снимала Амбарцумяна во время тренировки.

С тех пор мы здорово подружились. Не раз выходили на поле как соперники. Из нападающего Амбарцумян переквалифицировался в полузащитника и уже несколько лет прочно занимает это место. Его осмысленная и точная игра приводит меня в восхищение. И в жизни он тоже рассудительный и спокойный. Дружит Слава с Рожковым. Но бывали случаи, когда во время игры два друга «ссорились вслух». В конце концов Слава бежит ко мне:

— Анзор! Успокой, пожалуйста, Серегу, пусть не кричит.

И убегает. Вратарю сзади как-то виднее. И на мои замечания Рожков никогда не обижается. Это, наверное, самый самоотверженный игрок у нас в команде. Таких, как он, характеризуют одним словом — «боец». В предыдущем матче с минчанами ребята унесли Серегу на руках: Малофеев угодил бутсой в лицо.

Вместо Рожкова с «Торпедо» играл Абрамов. Еще один новичок. Не растерялся. Честное слово, я смотрю на этих двадцатилетних, Женю Ловчева, Васю Калинова, Колю Абрамова, и не понимаю, как они сумели так быстро освоиться в основном составе. Они, конечно, перспективные футболисты, но им повезло. Ведь играют-то в «Спартаке». А здесь, я понял, нет деления на именитых и перворазрядников, на ветеранов и молодых. Есть только «спартаковцы». Здесь все строится на взаимоуважении. А дисциплина какая! Тренировка в 11-00 — значит, без десяти все в сборе. Как правило, администраторы гостиниц, куда приезжают футболисты, встречают их далеко не с распростертыми руками. Мол, прощай, тишина и покой. Но спартаковцев встречают везде необычайно

радушно. Ребята сами завоевали себе такую репутацию.

Чего там говорить: мне повезло ничуть не меньше, чем двадцатилетним!

23 августа

Приятно, что тренеры нам во всем доверяют. Перед таким ответственным матчем собрались в Тарасовке лишь позавчера. Но два дня говорили только о киевском «Динамо». Опережали чемпиона на одно очко. А если бы не странная система розыгрыша, то разрыв был бы солиднее. И мы чувствовали бы себя куда увереннее. Как бы то ни было, а если сегодня выигрываем, шансы «Спартак» значительно увеличиваются. Старостина и Симонян пытаются газетчики. А вчера мы, пятеро, не выдержали напряжения и решили отвлечься. Нелегально отправились на реку и искупались (читай: нарушили режим).

С утра думаю о предстоящей встрече. Киевское «Динамо» — великолепная команда. Очень современная. Наверняка Маслов готовит нам какой-нибудь сюрприз. За каждым из киевлян нужен глаз да глаз. Начиная от Медвидя и кончая Хмельницким. А чего стоят крученые удары Серебряникова!

В 12 часов — установка. Делали ее Симонян и Старостин. Каждый получил персональное задание. Кроме того, было сказано, чтобы крайние защитники играли свободно, с подключениями. Киселеву поручено нейтрализовать Мунтяна, то есть навязать сопернику свою игру. Словом, Мунтян пусть бежит за Киселевым, а не наоборот.

До Комсомольской площади поедет по традиции на электричке, а там уже пересаживаемся в автобус. На платформе все ставим сумки на нашу «спартаковскую» лавочку. Кажется, все жители Тарасовки и даже дачники пришли нас провожать. Ощущение такое, словно по крайней мере едем играть в полуфинале Кубка европейских чемпионов.

В первом тайме киевляне играли лучше. Но защитники справились. За несколько минут до перерыва судья назначает пенальти в киевские ворота за снос Хусаинова. Бить готовится Осянин. Но переволновался, и удар получился неточным. Мяч полетел на самой удобной для вратаря высоте. Рудаков среагировал и парировал мяч. Обидно! Но никто не посмел упрекнуть Колю. Да и за что? И в раздевалке ребята старались добрым словом успокоить его. Впереди еще сорок пять минут, и есть возможность исправить ситуацию.

Начался второй тайм. Наши тренеры решили усилить линию атаки. Вместо Рожкова вышел Князев. Он в команде несколько дней. До этого играл в Красноярске. Совсем еще молодой, но играет и никого не боится. Осянин взял себя в руки. То и дело опасно проходит по правому краю. И вот наконец-то его пушечный удар с 25 метров застаёт Рудакова врасплох. Гол!

Мы с Осяниным в Тарасовке жили в одной комнате. Отличный парень. И футболист отменный. Ребята его уважают. Правда, ему не везло в течение нескольких лет. Никогда не мог найти свое «я» на поле. И удар не шел. Зато в этом сезоне дело идет на лад. Не зря Осянин — лучший бомбардир. Играл центральным нападающим, он часто отходит назад к центру поля и сам завязывает очередную комбинацию. Никогда не брезгает черновой работой. В одном матче сыграл даже центральным защитником. По необходимости, разумеется. Но играл так, как будто всю жизнь исполнял эту роль. После той встречи я в шутку заметил:

— Ну, Коля, начинаю тебя опасаться. Как бы в

следующую игру ты в ворота вместо меня не встал. Ты, как выяснилось, мастер на все руки.

Заметил у него только один «недостаток» — интервью давать не любит.

После пропущенного мяча киевляне больше думают об обороне. Киселев полностью выключил Мунтяна. Да и Калинов с Папаевым действуют безупречно. Середина поля вопреки обыкновению не принадлежит маститым полузащитникам чемпиона. И впереди у «Динамо» что-то не клеится. Лучше других понимает это Маслов. Замена, которую он производит, оказывается для меня роковой. После подачи углового вышедший на поле Кашей головой переправляет мяч в сетку. 1:1. Неужели упустили победу?

Остаюсь почти в одиночестве. Защитники тоже пошли вперед добывать гол. Рад бы пойти с ними и я. Нас спасает Логофет: ворвавшись в штрафную киевлян, он бьет мимо Рудакова. Мяч в воротах.

Ребята, счастливые, садятся в автобус. Кто-то вспоминает, что накануне один из столичных журналистов беседовал сначала с Осяниным, затем с Логофетом. И оба забили по голу киевлянам. Причем в том же порядке. Интересное совпадение.

Друзья приглашают в гости. Но идти никуда не хочется. Еду домой. Усталый и недовольный. Как я мог пропустить в такой игре? Хорошо, что ребята выиграли.

Весь вечер занимаюсь со своим шестилетним сынишкой Роландом.

— Папа! — вдруг говорит он. — Почему у тебя плохое настроение? «Спартак» же победил. Я все видел с бабушкой по телевизору. А... понимаю. Ты ведь болеешь за «Торпедо»...

3 октября

Проснулся. Выглянул в окно. Трава побелела. Заморозки. Ужасно не хочется вставать с теплой постели. Да еще тут же надо бежать на зарядку. Чувствую, у остальных ребят такое же настроение.

Действительно, морозно. Придется сегодня играть в рейтузах. На зарядке все кажутся какими-то сонными. Еле-еле двигают руками. Никто слова не проронит. Вспоминаю предыдущие дни. Вроде бы ничего серьезного не произошло. Видно, погода виновата.

Да и Осянин на зарядку не вышел. У него растяжение мышцы. До последнего момента надеялись, что будет играть. Но нога так и не зажила. Очень плохо. Динамовцы об этом даже и не подозревают. Когда узнают, обрадуются.

Сначала хотели играть в три нападающих. Потом тренеры сошлись на двух. В конце концов Калинов — полузащитник или форвард? А Киселев с Папаевым? А Хусаинов? Универсалы, и все тут.

Во всех газетах под рубрикой «Футбол» почти одно и то же: «Встреча давних соперников спартаковцев и динамовцев столицы вызывает огромный интерес. Мы не беремся строить какие-либо прогнозы по поводу результата предстоящего поединка. Но ясно одно: матч должен быть на редкость увлекательным и напряженным. Так случалось всегда, независимо от турнирного положения той или иной команды...»

«Независимо от турнирного положения...» Нам-то победа нужна, как воздух. А динамовцам? Нет, им все-таки не так. Но они все делают для того, чтобы забыть на первых же минутах. У них в последних играх в первом тайме здорово получается. И забивают помногу. Лишний раз напоминаю ребятам, чтобы не давали бить Ларину.

В раздевалке я, как обычно, сажусь рядом с Логофетом. Он внимательно оглядывает меня с ног до го-

ловы и советует играть не в рейтузах, а в трусах. Как раньше. Но я убежден, что в рейтузах мне будет лучше. Теплее. Вообще холод терпеть не могу.

Не успели как следует разогреться, а наши повели. Калинов проскочил трех динамовцев, уперся в лцевую, но успел прострелить вдоль ворот. Гиля забил бы этот мяч с завязанными глазами.

На девятнадцатой минуте пропускаю гол. Киселев не перехватил пас, и Ларин выстрелил в дальний угол. Но тут же Логофет ответил мощным ударом. Гол! Браво, Геша! В который раз выручает.

Сегодня мне определено не везло. Сколько раз в этом сезоне Евржохин промахивался с восьми — десяти метров! А здесь ударил, будто его на пленку для учебного фильма снимают, — с лета в дальний верхний угол. А мяч к нему случайно от Папаева отскочил. Скорей бы тайм кончался. Опять упустил Ларина. Бросаюсь за мячом. Поздно. Вот ужас-то!

В перерыве Логофет говорит мне:

— Я же предупреждал: не надевай рейтузы. До этого за все игры только семь мячей пропустил. А тут за сорок пять минут — три.

Улыбается. Значит, подшучивает. Завидую я всегда Гешкиной уверенности. Вот и сейчас проигрываем, а у него в мыслях нет, что не сумеем отыграться.

А должны были. Но Силагадзе «простил» — не попал в пустые ворота!

Против нас динамовцы играли, как черти. С киевлянами они еле-еле передвигали ногами. Играли без всякой злости. А с нами сражались не на жизнь, а на смерть... Вот тебе и землячки!

И я не выручил. Правда, все мячи влетели в «девятки». Оправдываюсь перед самим собой. Но от этого ничуть не легче. Друзья звонят. Успокаивают. Уверяют, что не виноват. Нет, мне в эти минуты даже легендарный доктор Гослинг не помог бы.

У «Спартак» остался один шанс: обыграть киевлян у них дома. В Ростове обязаны выиграть. Иначе прощай, последняя надежда.

30 октября

В день приезда в Киев в гостинице встретил Качалина. Он сказал мне:

— Анзор, готовься. Будешь играть в Стамбуле.

Приятное известие. Целый год я ждал этих слов от старшего тренера сборной. За это время понял, насколько мучительна участь запасного, даже в сборной. Особенно в моем возрасте. Я вообще болезненно переношу, когда команда играет, а я наблюдаю со стороны. Нет. Не всегда. Если в сборной играл Яшин, я готов был часами сидеть за «партой». Как самый прилежный ученик. Ну, а когда наступал мой черед...

Буду играть в Стамбуле. Но до шестнадцатого, как говорится, надо еще дожить. Это я в том смысле, что сегодня играем с киевлянами.

После проигрыша московскому «Динамо» на нас, кажется, поставили крест. Мало кто верит, что выиграем у чемпиона на его же поле. К тому же на очко отстаем.

Установка. Иванов держит Бышовца. У Киселева прежние задание — следить за Мунтяном, заставить его играть в защите. Но Коле надо быть внимательным и на своей половине поля. Особенно у линии штрафной. Потому что Мунтян бьет с обеих ног одинаково точно и неожиданно. Калинов у радиуса штрафной площадки должен присматривать за Сабо. Папаев на месте левого полузащитника играет с Серебряниковым. А впереди тройка: Осянин, Князев, Хусаинов. Учитывая, что Осянин в первом кру-

ге удачно играл на правом краю против Левченко, Симонян снова командировал его на фланг.

— Ребята, выиграете — честь вам и хвала! Проиграете — никто не упрекнет. Вы и так добились многого. Обеспечили «серебро» командой с шестью дебютантами. Короче, мы, тренеры, ждем от вас атакующего футбола. Вот и все.

Услыхали мы эти слова — гора с плеч. Собрались к отъезду на стадион. Куда-то исчез Калинов. Нашли его в номере. Что-то ищет.

— В чем дело, Вася? — интересуемся мы.

— Носок потерял, — отвечает Калинов.

— Возьми другую пару.

— Не могу. Носок тот игровой. Счастливый.

Все бросаемся на поиски. Находим злополучный носок на балконе. Только этажом ниже.

Мы все немного суеверны. Сегодня старался не забыть ни одной из своих примет. Сначала надел левую бутсу, но шнуровать не стал. Первой зашнуровал правую. Перчатки натянул не в раздевалке, а у самой кромки поля. Так оно вернее. Надежнее.

Логофет играет с травмированным голеноостопом. Об этом знаем лишь мы. А зрители даже не догадываются. Видят, что Хмельницкий ничего не может с ним поделаться. И Вадик Иванов, как тень, ходит за Бышовцем. И не просто ходит, а совсем выключил его из игры. У Киселева с Мунтяном прежние отношения. Только однажды Мунтян остался без присмотра и нанес сильнейший удар. Левченко, занятый опекой Осянина, за первый тайм ни разу не подключился в атаку.

Шла двадцатая минута. Осянин стремительно обыграл четверых киевлян. Рудаков выскочил навстречу. Но тщетно... Гол!!!

Динамовцы обескуражены. То и дело беседуют с судьей Хярмсом. Вроде бы он в чем-то виноват. Штрафной. Будет бить Серебряников. Но он не знает, что я специально готовился к этому удару. На тренировке. Только роль капитана киевлян исполнял наш капитан. Еще мы придумали одну уловку. Строится стенка так, чтобы я стоял посередине ворот и мог видеть Хусаинова (то есть Серебряникова). Потому что если встанешь у штанги, то мяча, закрученного в противоположный угол, никогда не достанешь.

Серебряников бил дважды. Оба раза я парировал. Папаев обводит по два, по три соперника. Киевляне нервничают. Князева сменяет Рожков. У нас в нападении двое: Осянин и Хусаинов. Левченко почему-то остается без присмотра. Пошли его коронные рейды по левому краю. Навесные передачи на наши ворота следуют одна за другой. Но к «навалу» легко приспособиться. И мне и защитникам. Верховые мячи — добыча Иванова (кстати, до сих пор удивляюсь, как его отпустили из московского «Динамо»). Умудренные опытом трехкратные чемпионы ничего не могут поделать даже с нашими новобранцами.

Хярмс поднимает вверх руки. Конец!!!

Сразу же после игры на вокзал. В поезде заснул. Но укачало только на час. Встал. Умылся. Пошел в соседнее купе. Там Старостин и Симонян наверняка бодрствуют. Они действительно не спали — по памяти восстанавливали каждую минуту игры. А когда истекла девяностая, Старостин сказал:

— Помолодел за сегодняшний вечер на десять лет.

А я сидел и думал: как хорошо, когда классные спортсмены становятся классными тренерами...

Когда вышел в коридор, вижу: Папаев с Ловчевым гоняют спичечный коробок. Я мгновенно встал в привычную позицию:

— Беру!!!



Юрий Леонов

ДВЕ ЮМОРЕСКИ

Рисунки И. Оффенгендена.

-3автра 8-е Марта, — подумал некий, в данном случае обезличенный супруг. — Какой бы подарок приготовить моей дорогой труженице?

(Как видите, пока все идет в рамках классического рассказа.)

...И он вспомнил о том, что нет для женщин ничего приятнее, чем если мужчина хотя бы на один день освободит ее от тяжелых домашних дел. Решено! За дело! Муж засучил рукава и...

(Дальнейшее описание его действий: стирка, штопка, уборка, мытье полов, посуды и т. д. и т. п. — смотри в юмористических рассказах, посвященных 8-му Марта. Мы же сразу перейдем к финалу.)

...Отбросив половину тряпок в сторону и вытерев со лба обильный пот, усталый, но довольный собой муж с чувством выполненного долга стал ждать прихода своей лучшей половины.

Наконец хлопнула входная дверь. Пришла жена. Окинув взглядом квартиру, она...

I вариант концовки. Для рассеянных женщин

...Окинув взглядом квартиру, она поцеловала его в лоб и привычно вздохнула:

— Хотя бы в этот день ты помог мне по хозяйству. Сидишь ведь, ничего не делаешь, а мог бы хоть пол помыть...

И муж, чьих трудов попросту не заметили, падает в обморок!

1. ОБРАТИТЕ НА НАС ВНИМАНИЕ!

Универсальный рассказ
для женщин



II вариант концовки. Для недоверчивых женщин

...Окинув взглядом квартиру, она нахмурилась и задумчиво произнесла:

— Странно, когда же я успела прибраться?

И муж, жена которого и мысли не допустила, что это мог сделать он, падает в обморок.

III вариант концовки. Для работающих женщин

Окинув взглядом квартиру, она не преминула сделать мужу выговор:

— Опять ты влез не в свои дела! Испортил мне весь вечер: чем мне теперь заниматься?..

И муж, чей подвиг истолковали как подвох, падает в обморок.

IV вариант концовки. Для консервативных женщин

...Окинув взглядом квартиру, она в ужасе всплеснула руками:

— Боже мой! Весь день наводила порядок, отлучилась всего на несколько часов — и вот, пожалуйста, все снова перевернуто вверх дном!

И муж, который первый раз в жизни рискнул проявить инициативу, падает в обморок!

Милые наши женщины! Хотя бы один раз в году, в день 8 Марта, обратите внимание на своих супругов и не забудьте поздравить их с этим чудесным праздником!



2. МЫ— ВУНДЕРКИНДЫ

Митя Масов был чистокровный вундеркинд. В три года он начал читать. В четыре — писать. В пять взялся за мемуары и получил гонорар натурой, так как с неосторожной откровенностью высказал несколько критических замечаний по поводу папы, мамы и некоторых ближайших родственников с точки зрения их молодого современника.

— Кто знает, чего можно ожидать от этих вундеркиндов! — жаловался папа.

В шесть лет Митя закончил второй класс. В семь — третий, в восемь — четвертый... Без преувеличения можно сказать, что обучение в школе для Мити происходило так же просто, как и небезызвестная детская игра в «классики»...

В четырнадцать лет Митя закончил среднюю школу с золотой медалью. Один из членов комиссии настаивал на том, чтобы молодому Масову дали аттестат с обязательным дополнением об его «умственной зрелости», поскольку опасался, как бы Митя ненароком не вздумал жениться.

— Кто знает, чего можно ожидать от этих вундеркиндов! — говорил осторожный член комиссии.

Но Митя жениться не захотел, а захотел, как это все и ожидали, учиться. Митя стал студентом и начал по собственной инициативе брить бороду.

К шестнадцати годам он имел вполне солидное количество волос над верхней губой, которые, как и подобает вундеркинду, каждый вечер подсчитывал в уме, игнорируя помощь логарифмической линейки.

К этому времени относится и перемена в его взглядах на существа, которых в школе дергают за косички, а в институте уже не дергают, поскольку ко второму семестру косичек не остается.

Очень просто можно понять несколько легкомысленное поведение Мити, когда, спеша однажды на экзамен, он заметил у окна взволнованную девочку с короткими милыми косичками, увенчанными большими бантами. Вме-



— У меня тоже! — вздохнула девочка.

— А что вы делаете здесь? — удивился Митя.

— Дрожу от страха, — честно призналась косички. — А вы?

— Ну вот еще! — пренебрежительно сказал Митя. — Я вот ни капельки не боюсь, хотя не успел еще основательно проштудировать принципы действия кибернетических машин. Но это так просто, что я уверен, меня (Митя опять невольно сделал ударение на слове «меня»), меня не спросят об этом!

...Через десять минут, еще не совсем разобравшись — нет ли в кибернетике! — а в своем отношении к столь внезапно появившимся косичкам на его пути, Митя переступил порог аудитории.

Первое, что он увидел за столом экзаменатора, — это знакомые косички, увенчанные белыми бантами.

— Профессор Деревянский на некоторое время отлучился и попросил меня пока принимать экзамены без него, — застенчиво объяснила девочка. — Я только недавно окончила аспирантуру... Но нет, вам можно не брать билет! Расскажите мне о принципах действия кибернетических устройств.

Изрядно попотевший Митя Масов вышел из аудитории с первой за всю свою жизнь тройкой и пожаловался неизвестно кому:

— Кто знает, чего можно ожидать от этих вундеркиндов!

Ростов-на-Дону.

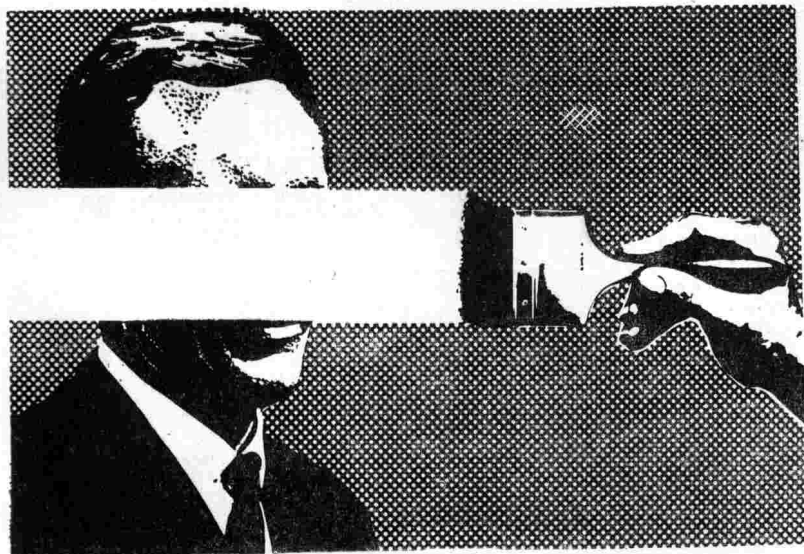
сто того чтобы использовать оставшиеся минуты на размышление о принципах действия кибернетических машин, Митя солидно представился косичкам под взрослым псевдонимом Дмитрия и попытался выяснить у косичек, как зовут их обладательницу.

— Вы не можете задать вопрос полегче? — смущенно сказала девочка.

— Вы учитесь в нашем институте? — чуть высокомерно спросил Митя, невольно сделав ударение на слове «нашем».

— Нет, — улыбнулась девочка. — А вы уже учитесь? Я думала, что вы из соседней школы.

— Еще чего! — гордо сказал Митя. — Я уже на третьем курсе. Сейчас у меня сложный экзамен!



С. Комиссаренко

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Фучкин как-то стал невыносим. Он и раньше в основном мешал работать... Только сядем за рабочие столы, Фучкин: — Как, думаете, сегодня сыг-
рает «Динамо»?

Или:

— Снился мне сон, братцы: деньги возвращают за невыигравшие лотерейные билеты!

А то предложит шепотом (на производственном совещании):

— Давайте нагружать пароход, товарищи! На букву «Б». И так, начали! Бессмертные, бесстрашные...

— Блондинки! — отзывается кто-то справа.

— Бездельники! — отзываются слева, не то вступая в игру, не то с намеком...

В конце концов начальник отдела предъявляет ультиматум — одно из двух: либо сейчас же утопить пароход, либо Фучкина утопить...

Но в общем-то оставляли в живых... А тут какая-то нетерпимость появилась! Мешает человек — и все...

Обратились к Лешке (самый талантливый у нас!).

— Нельзя ли, — спрашиваем, — используя современные достиже-

ния физики, что-то такое изобре-сти, чтобы, с одной стороны, хоть и говорил Фучкин, а с другой — чтоб совсем его не слышно было...

Подумал Лешка и отвечает:

— Можно! Специальный синхро-фазоглушитель надо создать... Как раз под тембр фучкинского голоса: определенной, значит, длины волны, частоты колебаний...

Создали синхрофазоглушитель... Ну, прямо чудо получилось! Говорит Фучкин, а мы голоса его не слышим...

А потом Лешка еще кое-что изобрел — и шагов не слышим! Дальше — больше. Придумал уже такое — и вовсе не видно Фучки-на! Следы есть — а не видно... Совсем как снежный человек!

И тут наш начальник отдела (надо же, до чего додумался!).

— А нельзя ли так сделать, — спрашивает, — чтобы ему еще и зарплату не платили?

— Да вы что думаете, — рас-кричался Лешка, — бездонная эта физика? Совесть надо иметь... И так уж на грани фантастики!

Начальник сразу на попятную:

— Выходит, что же, и помеч-тать уж нельзя?..

Рисунок В. Бахчаняна.



КАКОВ ВОПРОС— ТАКОВ ОТВЕТ

Гюли З-ан, г. Душанбе.

Милая Галя-джан!

Мы сфотографировались с одним парнем. И мне на рабо-те сказали, что счастья нам не будет: рано или поздно разо-дутся наши пути из-за этой фо-тографии. Такая примета. Неужели это так?

ОТВЕТ. Милая Гюли-джан!

Неужели ты веришь в при-меты? Какая ерунда! И все у тебя с твоим парнем будет хо-рошо. Если, конечно, вы фото-графировались не тринадцатого числа.

☆

Пафел Щ-ов, Игорь С-ин, Борис О-ов, г. Горь-кий.

Дорогая Галочка!

Мы хотим выйти из школы образованными людьми, но не хотим учить алгебру, геомет-рию, химию. Посоветуй, что нам делать?

ОТВЕТ. Учить русский язык.

☆

Таня М-на, г. Ленин-град.

Галка Галкина!

У меня есть подруга, ко-торая учится вместе со мной. Когда она догадывается, что нравится какому-нибудь маль-чику, то начинает веревки из него вить. Хорошо это или пло-хо?

ОТВЕТ. Зависит от качества веревок.

☆

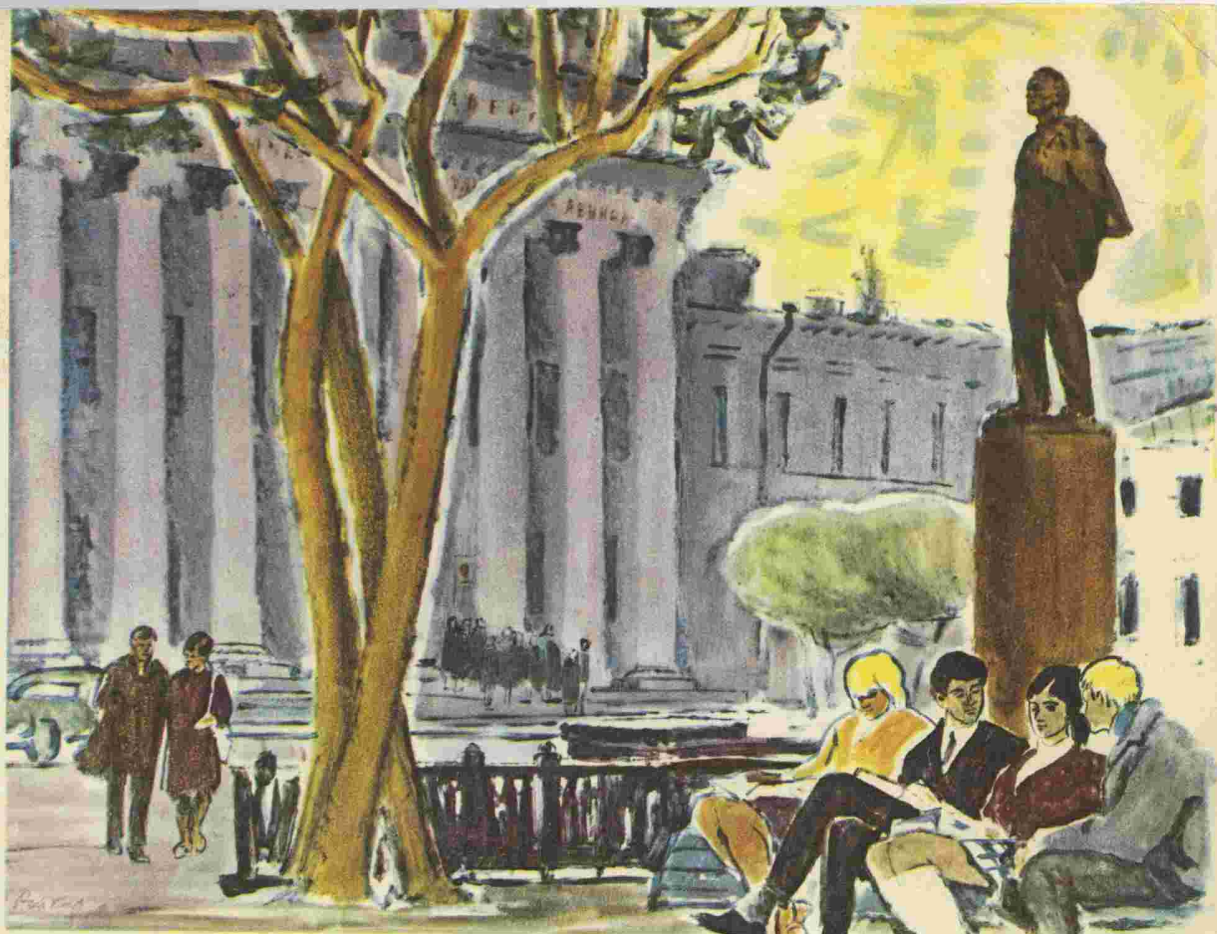
Наиль С-ов, Гарик Е-де, г. Ленинабад.

Товарищ Галкина!

Мы два друга из 8-го класса. Мы оба влюбились в девочку, которые учатся в 9-м классе. Нам очень неудобно им при-знаться, потому что они старше нас на класс. Что бы ты посоветовала?

ОТВЕТ. Товарищи С-ов и Е-де!

Тут ничего не получится, ес-ли ваши девочки не согласят-ся остаться на второй год.



Здесь учился В. И. Ленин (Казанский государственный университет).

У Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске.



М. РОЙТЕР. По ленинским местам (монотипии).



Цена 40 коп.

Индекс
71120